

- ПОВЕСТЬ О СОРЕ-РОХЛ
- "КУКЛОВОД – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!"
- ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗНАКОМСТВА: НИНА ВОРОНЕЛЬ
- МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА – ЛИВАНСКИЕ ИНТЕРВЬЮ
- ИЗРАИЛЬ-82:  
НАЛЕВО С ЛЮБОВЬЮ, НАПРАВО С НАДЕЖДОЙ
- МАХНО И ЕВРЕИ
- ВПЕРЕД, К МАТРИАРХАТУ!

28

22

№ 28

1983

МИЛАНДЖУРНИ И ПЕРУСАМИ

МОСКВА - АУКНЮМ

---

# ДВАДЦАТЬ ДВА

---

общественно-политический и литературный журнал  
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

---

Год издания VI

№ 28

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИТЕРАТУРА

БОРИС ПОЛЯКОВ. Жизнь и смерть Соры-Рохл (повесть-быль) . . . . .	3
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА. Стихи. . . . .	54
ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ. "Кукловод – это звучит гордо!" (театрально-литературные материалы) . . . . .	58
ОЛЕГ КУСТАРЕВ. Я читаю лекции населению . . . . .	76
НОЭМИ АЛЬТ. Стихи. . . . .	96
Литературные знакомства: НИНА ВОРОНЕЛЬ Ночь на Волге (пьеса) . . . . .	98
Мой вариант жизни в искусстве . . . . .	120

### РЕПОРТАЖ

Моя первая война (интервью из одноименной книги В. Лазариса) . . . . .	123
---	-----

### ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

АМОС ОЗ. О мягком и нежном . . . . .	138
МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ. Ложь и идеология. . . . .	148
ЙОАШ ЦИДОН. Письмо сыну. . . . .	156
НЕЛЛИ ГУТИНА. Налево с любовью, направо – с надеждой. . . . .	158

### ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ЕВГЕНИЙ НАКЛЕУШЕВ. Вперед, к матриархату! . . . . .	175
---	-----

### ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

В. ЛИТВИНОВ. Махно и евреи . . . . .	191
ИЕРУХАМ АБРАМОВ. Проклятой воровской дорогой . . . . .	207

## ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва—Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

**главный редактор — Рафаил Нудельман**

Редакционная коллегия:

<b>В. Богуславский</b>	<b>Ю. Меклер</b>
<b>А. Воронель</b>	<b>Н. Рубинштейн</b>
<b>Н. Воронель</b>	<b>Я. Цигельман</b>
<b>Э. Кузнецов</b>	<b>И. Чаплина</b>

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор  
ответственный секретарь — Лариса Герштейн  
технический редактор — Наталья Рубина  
корректор — Нина Островская

**Всю корреспонденцию направлять по адресу:**  
"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

**Телефон редакции — 03/394525**

**Заказы на подписку за рубежом можно направлять в адрес представителей журнала:**

### **Соединенные Штаты**

L. Khotin, 235 17 Mile Dr, Pacific Grove, Ca, 93950, USA

Y. Levin, VOA Russian, 330 Yndependence Ave, Washington, DC, 20547, USA

### **Западная Германия**

L. Roitman, 67 Oetinger str., am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR

### **Великобритания**

I. Golomstock, 61 Aston str., Oxford OX4 1EW, England.

**Типография "Дерби"**  
**Тель-Авив**

## ЛИТЕРАТУРА

1.

В начале июня я отвез бабушку на дачу. Верная Антонина Николаевна согласилась жить с бабушкой все лето, с условием, что я буду приезжать два раза в неделю и делать покупки. Я стал приезжать к ним по средам и воскресеньям, покупал картошку и прочие овощи. Каждый раз, когда я уезжал, бабушка, держась за локоть Антонины Николаевны, доходила до калитки и смотрела мне вслед, пока я не сворачивал за угол. На углу я оглядывался и махал им; а потом бежал к поезду. Времени всегда было в обрез: бабушка не отпускала меня до последней минуты...

28 июля, в среду, мне на работу позвонила Антонина Николаевна:

— Витя, приезжай быстрее, бабушке очень плохо!

Я не стал отпрашиваться с работы, а просто закрыл архив на замок, ключ забрал с собой и поехал на дачу.

Бабушка лежала на кровати. Антонина Николаевна сидела возле стола, бросив руки на колени.

— Что? — спросил я.

— Кровоизлияние...

И она рассказала, как утром они встали и бабушка, умывшись, собиралась сесть завтракать и говорила, что сегодня

*Борис Поляков*

**ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ  
САРЫ-РОХЛ**  
(повесть-быль)

я должен приехать, а потом вдруг упала. И как пришлось поднимать ее на постель, и это было для нее — Антонины Николаевны — невообразимо трудно (“ведь у меня был инфаркт”), но она все-таки положила бабушку на кровать, позвала хозяйку, а сама побежала на станцию, вызывать “скорую” и звонить мне. “Скорая” приехала через сорок минут. Врач и сестра ушли совсем недавно и сказали, что бабушку нельзя трогать. Но как же быть? Не может она — Антонина Николаевна — быть здесь одна с бабушкой, а мы все работаем, и она прекрасно понимает, что трудно организовать дежурство и дача — совсем неподходящее место для больного с инсультом, но, главное, она не потянет, потому что у нее был инфаркт и никаких сил нет, а за бабушкой нужно ухаживать.

Да, добрая и верная Антонина Николаевна, да, конечно, я все понимаю, я сейчас что-нибудь предприму.

Я еду в город, в Горздравотдел. Он помещается в том же здании, где и мой архив. Я бегаю от одного начальника к другому. Я очень прошу, я умоляю.

— Что-то мне лицо ваше знакомо, — говорит заместитель.

Я объясняю, что работаю в этом же здании.

И он мне обещает, что все будет сделано. “Там подпишете бумагу, что под вашу ответственность”.

Снова еду на дачу. Как раз вовремя. Два человека (один из них, кажется, хозяин дачи) уже поднесли носилки с лежащей на них бабушкой к откинутой задней двери санитарной “Волги”.

Тут же врач — высокий мужчина а халате с закатанными рукавами. Мы вчетвером ставим носилки на полозья и вдвигаем их внутрь машины.

— Кто из родственников будет сопровождать? — спрашивает врач.

— Я.

Я сажусь рядом с бабушкой, врач — возле водителя. Едем. В больнице Красина бабушку кладут в коридоре. Больные проходят мимо и смотрят на бабушку, на ее закрытые глаза, на запавшую верхнюю губу (зубной протез остался на столике, в стакане, на даче, далеко), на белые руки — кожа на них тонкая и нежная, с синими прожилками, — на ее руки, сложенные на груди. Бабушка дышит очень тяжело.

Санитарка приносит доску, и мы вместе привязываем ее к спинке кровати, чтобы бабушка не упала.

Потом меня зовет дежурный врач и записывает бабушкины паспортные данные.

– Что будет доктор? – спрашиваю я.

– Не знаю... Это надолго...

Когда я уже собираюсь уходить, врач говорит мне:

– Извините, но мы всех предупреждаем: у вашей родственницы, я заметила, на руке кольца, так вы их снимите, чтобы не было претензий...

## 2.

Бабушка родилась в 1880 году в Бобруйске. И вот к этому сообщению – другие, сделанные самой бабушкой в ее последней записной книжке: “Дни смерти в моей семье. Мой папа – 22 декабря 1894, моя мама – 17 октября 1942, моя дочь – 9 января 1945, мой внук – 15 сентября 1945, мой муж – 15 февраля 1951”, И бабушкино рассуждение, сразу записанное мною в дневник в 1956 году: “Веха – смерть. Не рождение. Понимаешь? Люди рождаются, приходят к нам, это естественно, но становятся **нашими** не тогда, когда рождаются, а незаметно, постепенно, не в определенный день. И главным оказывается тот день, когда они от нас уходят и уносят с собой нашу жизнь, прожитую вместе с ними. Понимаешь?”

Семья была богата. Бабушкин отец брал подряды на строительство железных дорог, дело весьма прибыльное. Но бабушка об этих дорогах упоминала вскользь, а рассказывать любила о благотворительных начинаниях отца. Когда он умер, за его гробом шел, как она говорила, “весь Витебск” (а они к тому времени переехали в Витебск), шла еврейская беднота, громко сожалея о добром человеке, неустанно помогавшем беднякам.

В другой раз бабушка вспоминала:

– А у меня была такая маленькая лошадка, пони, я на нем ездила.

– Вот видишь, – говорил я, юный пионер-марксист, – вы были очень богаты, а в городе было полно бедняков. Это – неравенство. Вы были капиталистами?

Бабушка смеялась:

– Капиталисты, конечно, большое зло. Но мой папа был организатором производства, он давал работу этим беднякам. И главное,

его заботами появились железные дороги на Украине. Железные дороги нужны пролетариату?

Она ездила на пони и ходила в белых платьицах. Что случилось с пони, я не знаю. Белые платьица сменились гимназической формой. Наряду с гимназией были уроки музыки и древнееврейского языка. Из бабушкиных рассказов получалось, что гимназическое образование было не хуже нынешнего институтского.

— Но ведь не все имели возможность учиться в гимназии? — продолжал допросы юный пионер.

— Да, конечно.

— Ну вот! — торжествовал юный марксист.

— А зачем всем нужно учиться в гимназии? — огорошивала бабушка.

— Ну, знаешь! — у меня не было слов от возмущения.

— Всеобщее образование — плод идси, а не реальной необходимости. Будет необходимость, будет и образование, — говорила бабушка и развивала эту мысль: — Если бы Жанна д'Арк была бы грамотной и образованной, ей, наверно, не являлись бы видения и она не смогла бы убедить всю Францию и поднять ее на борьбу против англичан.

Я чувствовал шаткость ее позиции, но не умел тогда убедительно возражать.

Бабушка в юности много читала, хорошо знала литературу и прекрасно владела немецким языком, что очень скоро и пригодилось.

— У нас бывали очень интересные вечеринки с чтением стихов и обсуждением произведений Михайловского. Теперь это все проклято, Михайловский изображается страшным реакционером, а тогда он был популярен и очень воздействовал на наши юные умы и чувства.

— А Ленин? Он ведь уже в 93-м году начал писать! — возмущался пылкий комсомолец.

— Нет, — спокойно отвечала бабушка, — Ленина мы не знали. А вот стихи все очень любили. Некрасова и Надсона, Мережковского и Брюсова. Была игра: кто-нибудь говорил любое слово. Надо как можно скорее найти к нему стихотворную строчку. У меня неплохо выходило...

Я ловлю бабушку на этом, меня не стесняет прошедшее с тех пор шестидесятилетие:

— Ну, давай, прочти мне стихотворение, начинающееся со слова “сегодня”. Можешь?

Бабушка смеется до слез. Вытирает глаза и говорит:

— Пожалуйста! “Сегодня как-то я особенно устал. Блеск радостного дня мне жег и резал очи. Веселый шум толпы мне уши раздражал...”. Надсон!

Мы оба смеемся. Я — огорченно: попал на слово, которое она знала первым в стихотворении. Не унимаюсь:

— Ну, давай еще!

Бабушка не хочет.

Я:

— Ну, пожалуйста, в последний раз!

Бабушка поднимает руку, чтобы я замолчал:

— “В последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать, будить мечту сердечной силой и с негой робкой и унылой твою любовь вспоминать...”.

Поучительная история:

— В наш кружок попал как-то один очень красивый парень. Такое у него было одухотворенное лицо с тонкими и нервными чертами. И вот в чей-то день рождения этот грек прочел стихи и сказал, что он сам их написал и посвящает хозяйке дома. А хозяйка дома ответила, что как ни прискорбно, но стихи написал не он. Это были чьи-то чужие стихи, напечатанные раньше в каком-то провинциальном журнале... Больше этот парень не приходил. Он на лето приехал из Петербурга и думал, что у нас в Витебске можно подурачиться...

— А политика?

— О-о! Все вокруг были “бундовцы”. В 91-м году приходит как-то полицейский пристав к папе и говорит, что против моей троюродной сестры возбуждается преследование за активную социалистическую работу. И, мол, есть еще время отправить ее за границу, и мой папа должен на нее воздействовать... И папа дал ей деньги, и она уехала в Вену, а там вышла замуж за одного социал-демократа...

Мне эта история не нравится: полицейский пристав приходит к “папе”. Сотрудничество полиции с крупной буржуазией! Бабушка иначе смотрит: хороший был полицейский (“таких, разумеется, было немного”), хороший и добрый папа, а жизнь у сестры сложилась прекрасно, и “нам с твоим дедушкой уже легче было ехать за границу, потому что там давно жила его сестра...”.

Бабушка вышла замуж за своего троюродного брата. У нее была часть отцовского наследства, на которую молодая пара десять лет прожила и проучилась за границей — в Вене, в Дармштадте и в Берлине.

Дедушка в Дармштадте поступил в Высшее техническое училище, а бабушка — в Венский университет на отделение романской филологии.

3.

Но тут пошли дети.

Сначала, в 1902 году, родился Соля (Соломон, Соломон Давидович, СД), потом в 1904, — моя мама и наконец в 1906 — Моня (Моисей, МД).

Дедушка закончил Высшее техническое и стал дипломированным инженером-электриком (почему-то бабушка всегда подчеркивала это слово: "дипломированным"), а бабушка курса закончить не смогла — все время отнимали дети. Дети, бонны, хозяйство, дом.

— У нас был очень шумный дом. Трое детей — это, конечно, хорошо, но много.

Все-таки ей удавалось выкраивать минуты и изучать Песталоцци, читать книги, писать рассказы, слушать разговоры людей, собиравшихся по вечерам, впрочем, Песталоцци был забракован, потому что ничего из его советов не получалось, а дети и так росли неплохо; рассказы "не выдержали испытания временем", — говорила бабушка, и точно, когда я начал беспардонно рыться в старых бумагах, я этих рассказов не нашел, но зато люди, собиравшиеся по вечерам, или встреченные случайно, или жившие в доме, — все эти люди были замечательные: Анский, Цюрупа, Ленин, Троцкий, Дзержинский, Крупская...

Анский выпадает из списка. Бабушка любила о нем рассказывать, потому что это был единственный среди многих знакомых профессиональный писатель. Я читал один том его сочинений: очень строго, сжато, точно написана статья о белгородском погроме. В других вещах любопытно описаны быт и взаимоотношения в местечковых семьях, причем один из героев обязательно революционер. О том же его повесть "В новом русле". (Смешно: бабушка иногда говорила "Анский", а иногда "Рапопорт", и я очень долго думал, что это разные люди. Оказалось, что это один

и тот же человек — Семен Акимович Рапопорт, писавший под псевдонимом “Анский”.)

Бабушка рассказывала:

— Вот как-то в Женеве. Приходит Анский. Они с дедушкой твоим постоянно играли в шахматы. Я в соседней комнате собирала для прачки постельное белье. Набралось шестьдесят штук белья — ведь не только наше, но и детское. Потом Анский мне говорит: “Хотите увидеть одного из самых замечательных социал-демократов нашего времени?” Я, наверно, сказала “хочу”, потому что он (очень хорошо это помню!) : “Вот постирайте сами эти шестьдесят штук белья. Право на такую встречу надо заработать”. Я, конечно, постирала. Я тогда очень крепкой была. И вот мы с Анским пошли в какое-то кафе (дедушка в это время в Берлин уехал по каким-то своим делам) . Приходим. Русское кафе. Со всех сторон только русская речь слышна. Анский мне говорит: “Вон за тем столиком сидит, видите?” Я, как сейчас, помню: сидят двое. Оба с бородами. У одного — черная, у другого — рыжая. Анский мне на этого второго показывает. Человек как человек. Лысый. Роста маленького (он потом встал) . Они с чернобородым поговорили, и тот ушел. А второй — рыжий — остался, огляделся вокруг. Анского заметил и меня (а я там была единственная женщина) и подошел к нам. Они поздоровались, и Анский мне его фамилию назвал. Мне эта фамилия в то время ничего не говорила. Я только в 17-м году вдруг обнаружила, что Ленин — тот человек. Он мне руку пожал и сказал: “Очень рад”. И еще сказал, что весьма приятно видеть, что я, здороваясь, не подпрыгиваю по-детски, как теперь вошло в моду во всей Европе и в России. Вот и все наше знакомство. Потом кто-то сказал: “Уже все собрались. Можно начинать”. И он начал говорить. Вот это — было интересно. Я, конечно, не помню, о чем он говорил, да меня это и не интересовало. Но другое: он начал говорить и как будто вырос. Хорошо говорил. Его все слушали молча, и он собою и своим голосом будто все кафе заполнил. Я бы сказала: азартно говорил. Да. Почти как Троцкий...

Это — другая история. Рассказывается она так:

— В один прекрасный день приходит к нам Цюрупа. Он был старостой русской колонии... И мне кажется почему-то, что он ходил в сапогах. Может, я ошибаюсь. Да, так вот: приходит он однажды... А у нас была большая квартира, мы впятером и бонна, восемь комнат. Очень хорошая квартира и довольно деше-

вая. И одна комната всегда была для гостей приготовлена... И Цюрупа говорит: "Сегодня вечером приезжает из России один социал-демократ". И он, Цюрупа, как староста колонии, просит нас, чтобы мы позволили приезжающему товарищу пожить в нашей свободной комнате дня три-четыре. Мы с дедушкой, конечно, согласились. И вот, уже ночь была, приходят несколько человек. Один из них, тот, которому комната нужна — небольшого роста, прекрасная черная шевелюра, острая бородка, глаза, кажется, черные, движения быстрые — извиняется, знакомится, проходит в свою комнату. И началось! Когда он спал — не знаю. С утра до вечера и с вечера до утра непременно приходили и уходили какие-то люди. Сидели часами и слушали его. А он — говорил. Знаешь, Витя, он так говорил, что даже я — очень от всего революционного далекая — слушала его и слушала. И очень расстраивалась, когда меня отрывали для домашних дел... Это был Троцкий...

Тут я не выдержал. Я видел ясные противоречия в бабушкиных рассказах.

— Разве мог Троцкий говорить лучше Ленина?

— Мог, а почему нет? Я, конечно, не стану с уверенностью утверждать, но мне так показалось.

(Пожалуй, бабушка тогда была — во всяком случае, в моем окружении — единственным человеком, который не боялся сравнивать Ленина и Троцкого и даже в чем-то отдавать предпочтение Троцкому. Конечно, дома и вполголоса.)

Я возмущался.

— Разве мог Цюрупа?.. Он ведь большевиком был?

— Большевиком.

— Разве мог он Троцкого назвать "товарищем"? Кого? Меньшевика Троцкого. Ярого контрреволюционера!

Бабушка смеялась.

— Конечно мог. И называл. Они и были все товарищами. А контрреволюционером Троцкий потом стал. Когда появилась необходимость...

(Эти наши бабушкины беседы происходили году в 52-м. Помню, будто это было вчера: МД, слушая бабушкины рассказы, рассерженно говорил:

— Что ты болтаешь, мама! Забиваешь ему голову всякой ерундой, а он потом где-нибудь сболтнет. Только этого нам не хватало!

Но я нигде ничего не болтал, я уже многое понимал.)

4.

В 1908 году семья переехала в Берлин. Дедушка работал в какой-то электрической компании. По бабушкиным воспоминаниям — жили прекрасно.

— Берлин — очень красивый город. Мы жили на Унтер ден Линден — хорошее место. А зоопарк! Детей оттуда не вытащишь. В универмаге — все что хочешь. Когда входили в универмаг, там в проходе стояли такие металлические лотки, наполненные игрушками. И каждый ребенок мог взять одну игрушку, какая ему понравится.

— Бесплатно?

— Бесплатно.

— Только одну?

— За этим никто не следил, но немцы были очень хорошо дисциплинированы. Думаю, редко кто брал больше одной.

— Не следили? Я бы весь лоток с собой унес!

— К сожалению, — вздыхает бабушка, — мне тебя воспитать не удалось... Там в витрине была выставлена большая кукла. И твоя мама всегда останавливалась перед этой витриной и могла смотреть на эту куклу часами. Но никогда не просила купить ее... Это ты непрерывно: купи, купи! А мама — никогда. И мы ей эту куклу подарили, когда ей исполнилось пять лет. Как она была счастлива!.. Вот ты — куплю я тебе игрушку, так ты с ней день-два поиграл, а потом она валяется. И дарить-то противно... А вот мамина кукла до 41-го года дожила. Только в эвакуацию мы ее с собой не взяли...

Трое детей. Бабушка любила рассказывать о них.

Мама могла часами смотреть на куклу, но ни разу не просила купить. Характерно.

СД отличился иначе.

— Однажды мы с ним гуляли в парке. Я сидела в тени, а он играл на площадке с другими детьми.. И вдруг я услышала, что там затевается скандал... Немцы — ужасные националисты. И в детях немецких это качество мерзостно обнажено... И вот я вижу, что дети обступили моего сына и кричат ему: "Русский, русский!" Тут он гордо поднял голову и сказал: "Я — не русский. Я — еврей". Нехарактерно.

Теперь, прожив длинную жизнь, СД протестует совсем не так гордо и громко. (Я его не виню.) В 48-м году его — в порядке

борьбы с космополитизмом — сослали из Ленинграда в Пермь (не посадили! Как был преподавателем истории, так им и остался. Потом — вернулся).

МД прославился тем, что однажды выбросил в окно золотое кольцо. Дело было зимой, уже в России. Перелопатили весь снег под окном, но кольца не нашли. Тоже нехарактерно. Теперь МД не то что золотое кольцо не выбросит, какое там! Теперь он все — в дом.

Вот: как дяди, так — “нехарактерно”, а мама — “характерно”! Мама умерла в сорок лет. Может быть, доживи она до семидесяти, она бы тоже переменялась, как все.

Трое детей. “Моя жизнь — мои дети”, — часто повторяла бабушка. И вздыхала горько. Но я думаю, что в этом вздохе выражалось не столько сознание старой истины о неблагодарности детей, сколько сожаление о том, что эта истина — увы, истина. Бабушка все понимала. Но только ли дети — жизнь? А муж, а сестра? А внуки? А страны, города, люди? А война? А несбывшиеся возможности? А пережитые страхи? А царизм? А революция? А нэп? А процессы, тюрьмы, лагеря? Ведь все это пережито. Жизнь перекатилась, прошла через это, не **над**, а **сквозь**. И пусть не всего досталось (слава Богу!), но все было рядом, и во всем — так или иначе — пришлось участвовать.

Сэмюэль Беккет в одном из своих романов вскрикнул однажды, из самого сердца исторг: “Боже, как это все выносимо?” Да, тысячу раз — да. Думаю о прожитой всеми жизни (и о бабушкиной тоже) и поражаюсь: как можно было это вынести?! Откуда силы брались? Почему не сходили с ума, а продолжали есть, и пить, и спать, и чувствовать, и думать? Что же это есть в человеке такое, чтобы жить, жить и жить?

Наивный, конечно, вопрос. И бесчисленно количество ответов на него. Тоже наивных.

Удовольствуемся сейчас одним: все, что пережито, случилось не одновременно.

В 1910 году какая-то парижская электрическая компания предложила дедушке поехать в Калькутту начальником строящейся там электростанции.

— Почему же вы не поехали? — спросил я.

— Мне сказали, что в Калькутте — змеи. Я не хотела волноваться за детей... И вообще, надо было ехать в Россию. Я так и заявила твоему деду: надо ехать в Россию. Без России жить невозможно.

Хватит скитаться по заграницам. Дети совершенно не знают русского языка... А я хотела воспитывать их в русской культуре.

— Совсем не знали русского? — удивился я.

— Нет, знали, конечно, но, по моему мнению, плохо. И я настояла на своем: поехали в Россию.

— Мда, — говорил я в шестидесятых годах, — какого черта тебя принесло обратно? Что ты здесь забыла? Жили бы спокойно где-нибудь в Париже или в Швейцарии. И никаких тебе колхозов, никакого Сталина...

(Как же изменился бывший строгий пионер и пламенный комсомолец! Как изменились, повернулись, сдвинулись мои мысли! Большую роль в этом сыграл Силин, Семен Львович, еще довоенный приятель МД, вернувшийся летом 56-го года из Воркутинского лагеря.)

— Кто же мог знать, что все обернется таким образом? Хотелось домой. Здесь была моя родная русская культура, а там ее не было. Здесь была мама. Здесь была сестра, которую я очень любила... И ведь никому не могло прийти в голову, что через несколько лет уже невозможно станет поехать куда бы то ни было.

— Но как же? Надвигалась война, готовилась революция. А вы ничего не понимали?

— Это теперь видно, что там надвигалось и готовилось. А тогда — до войны было почти четыре года, до революции — семь лет. И пойми, тогда мы жили так же, как сейчас: от сегодня до завтра. Как сейчас мы не знаем, что будет завтра с нами и со всем на свете, так и тогда не знали. Мне просто удивительно, что я должна объяснять тебе такие простые вещи.

(Я очень благодарен бабушке за то, что она никогда не говорила: "Ах, если б можно было вернуться назад и все сделать правильно!" И за то, что она не повторяла скучных глупостей: "Если б мне снова нужно было выбирать жизнь, я выбрала бы такую же точно, как прожила!" Это — ложь. Я уверен. Или же — самодовольная тупость. Бабушка никогда так не говорила...)

5.

И они поехали — сначала в Харьков (где МД и выбросил в окно кольцо), а потом в Петербург. Наследство бабушкино уже почти истаяло. Но жизнь в Петербурге была дешевая, дедушка работал, получал 120 рублей в месяц, дети учились и росли, квартиру нани-

мали на Васильевском острове, семикомнатную, "очень хорошую". Дети вот где учились: СД был принят в Тенишевское училище, мама — в гимназию, а МД — в реальное училище. (Я сейчас написал, что СД был принят в Тенишевское училище, и подумал; как удивительно! В этом же училище был на десять лет раньше СД — Осип Мандельштам, и там же, но на три класса старше СД — учился Владимир Набоков. Наверное, они даже случайно встречались в коридорах или на лестницах!)

— Дети были разные, — говорила бабушка.

СД, поступив в привилегированное училище, не пожелал ходить на занятия по субботам. (За границей он учился в еврейской гимназии, где суббота была днем отдыха.) И весь первый год учебы в Тенишевском СД имел два выходных, потому что бабушка упросила директора сделать СД поблажку.

(Правда, к следующему учебному году СД уже отстал от привычки соблюдать субботу.)

Моя мама все годы была примерной ученицей и "очень хорошей и послушной девочкой, мягкой, тихой и трудолюбивой", — говорила бабушка, глядя на меня укоризненно, потому что ни один из этих эпитетов не был ко мне приложим.

А МД учился в реальном училище (что-то вроде наших математических школ), проявлял большой интерес к технике и был самым беспокойным из всех.

— Вот смотри, бабушка: все воспитывались одинаково, а были такими разными...

— Ну, не совсем одинаково воспитывались: СД не терпел никакого давления, твоей матери ничего не нужно было повторять дважды, а за МД нужен был глаз да глаз.

— А ты кого больше любила?

— Я всех любила.

— А больше?

— Наверно, СД.

— А дедушка?

— Он любил МД — это был его баловень.

— А кто же маму любил?

— Маму все любили. Она была милая, и нежная, и добрая. Ее нельзя было не любить!..

... — И все, в общем-то, было неплохо, а потом вдруг началось: сначала Бейлис, а потом война, — так сказала однажды бабушка,

рассказывая Силину и мне о тех годах. Силин вдруг вскочил и начал ходить по комнате, заложив руки за спину.

— Это любопытно, — сказал он, — я уже который раз слышу об этой цепочке событий: сначала Бейлис, а потом война. В первый раз (хотите, расскажу?) услышал от одного заключенного. Фамилия его была Федоров. И был он священником. Мы с ним рядом в Воркуте на нарах лежали и постоянно спорили. Я его не мог марксистом сделать, он меня в свою веру не мог обратить. Но он очень интересно судил обо всем, что не касалось религии и атеизма. Вот стало нам с некоторым опозданием известно о деле врачей. Пятьдесят третий год. Январь. Прогуливаемся мы вечером после работы по “как-стрит” (протоптанная в снегу дорожка между двумя уборными, там только и можно было поговорить без посторонних), и Федоров мне говорит: “Все, Семен Львович, помните мое слово: папашке нашему крышка!” “Почему? — спрашиваю. — Почему вы так думаете? На это уже тридцать лет все надеются”. “Нет, — говорит, — теперь уже все! Потому что он на евреев замахнулся. А евреи — богоизбранный народ. Евреев трогать нельзя. Их Бог — строгий, внимательный, народ свой любит”. Я, конечно, очень приблизительно его слова передаю: “Смотрите, чему история учит: где евреев бьют, там вскоре и расплачиваются. Иудея и Рим, испанские евреи, немецкие евреи, русские евреи. Всюду — сходно. Испания в 15-м веке изгнала евреев и перестала существовать как государство. Гитлер обрушился на евреев — и нет его. Русский царь обвинил Бейлиса в ритуальном убийстве. Бейлиса суд оправдал, но признал, что ритуальное убийство вообще-то у евреев есть. И кара пришла незамедлительно: война и революция. Теперь вождь пролетариата взялся за евреев. Ждите, ему капут”. Ну, я, конечно, посмеялся, говорю: “Похоже, наоборот: не антисемиты расплачиваются за преследования евреев, а евреев бьют при любых осложнениях”. Проходит два месяца. Март. Опять гуляем с Федором по “как-стрит”, и он мне говорит: “Ну, что, Семен Львович, прав я? “Прав, — говорю, — в том, что евреев всегда били на изломе”. Занятная концепция...

— Началось дело Бейлиса, — продолжала бабушка, — и дедушка впал в отчаяние. Лежал целыми днями на диване и курил, на работу перестал ходить. “Если его осудят, нельзя будет жить”, — повторял. Вообще у него был такой характер: он быстро приходил в отчаяние и тогда уже ничего не мог делать. Он каждый день ходил утром за газетами, прочитывал все сообщения о процессе, а потом лежал

на диване и повторял: “Так жить нельзя”. Потом Бейлиса оправдали, но дедушка очень медленно приходил в себя. Наши сбережения подходили к концу, и я уговорила его опять пойти работать. Но вскоре началась война. Дед опять решил было залечь на диван, но уж тут я так на него нажала, что он ложиться раздумал и продолжал работать.

Потом наступил семнадцатый год.

— Мама твоя прибежала как-то из гимназии, села на стул и горько заплакала. “В чем дело? Что случилось?” А она мне: “Только бы не Милюков!”

— А я вышивала знамя “Бунда”, — сказала бабушка. (На этом ее вклад в февральскую революцию исчерпался.)

— Все шумели, непрерывно толкалась у нас дома молодежь: друзья СД и подружки твоей мамы. МД целыми днями где-то пропадали. Все радовались, что премьер-министром стал не Милюков, а Львов. А мне тогда казалось, что Милюков был не так уж плох. Во всяком случае, мне очень нравились его книги по истории русской культуры... Тогда все так быстро менялось. Летом — уже Керенский. Осенью — большевики. Проснулись при новой власти. Первые декреты производили сильное впечатление. Но, конечно, никто не представлял себе будущего. И никто — из наших, конечно, друзей — не мог себе представить, что вскоре начнутся гражданская война, разруха и голод.

— Значит, ты считаешь, что гражданская война, разруха и голод не были следствием гниения царизма? — спрашивал ее отличник по истории СССР.

— Нет, — мягко отвечала бабушка, — я, конечно, не великий специалист по новейшей истории, но мне кажется, что гражданская война, разруха и голод — прямое следствие прихода к власти большевиков.

— Но как же! — негодовал я. — Ведь это не большевики устроили, а потому получилось, что на борьбу с большевиками встали помещики, кулаки и белогвардейцы. Все из-за них! Потому что они не хотели отдать народу накопленных богатств.

— Ты умница, Витя, но скажи, пожалуйста, почему они должны были отдать народу свои богатства?

И вот я думаю: а почему она должна была рассуждать иначе? У нее были прекрасные детство и молодость, у нее были воспоминания о добром и хорошем папе (и она не была, скажем, Софьей Перовской). Этот папа оставил ей наследство, которое позволило

прожить без особых забот почти двадцать лет. Она была далека от политики и, как и большинство людей на земле, любила устоявшийся спокойный быт и не любила перемен, несущих бедность, и бедствия, и постоянный страх. И она больше думала о жизни своей и своих детей, чем о мировых проблемах и о страданиях миллионов. (Более поздние события убедили нас в том, что все мы предпочитаем больше думать о своих бедах и радостях, чем о страданиях посторонних нам миллионов. И даже сознание того, что огромная беда миллионов может стать и нашей бедой, вовсе не распрямляет нас и не зовет на борьбу, а заставляет скукоживаться, и прятаться, и холодеть от каждого стука в дверь.)

6.

Тридцать семь лет прожила бабушка до революции. А в 1920 году ей было 40 лет.

Что это за 1920 год? А это год, когда бабушка по доносу какой-то сволочи сутки просидела в тюрьме. Искали золото. Произвели в квартире обыск и ничего не нашли. А так как бабушка шумно против обыска протестовала, то ее и упекли. И хоть на сутки только, но воспоминаний об этих сутках ей хватило на всю последующую жизнь. В моем дневнике в один из дней 63-го года сделана такая запись: "Сегодня с бабушкой похихикали немного. Она сказала, что в ее жизни было все, кроме одного. Не было чуда. Но, подумав, добавила: "Нет, чудо тоже было. Даже — два: первое — то, что в 1919 году освободили СД, а второе — что в 20-м году из тюрьмы выпустили меня..." (Как-то уж очень однообразны советские чудеса!)

Бабушка рассказывала, какая жуткая жизнь началась в 1918 году. Работы не было, потому что электрическая контора, в которой служил дедушка, закрылась. Жили по карточкам. Еды не хватало. Дети, конечно, страдали больше всех. СД до того отощал, что на него страшно было смотреть. Он очень мало ел и большую часть пайки отдавал младшим. (Моя мама полученный по карточкам хлеб выменивала на конфеты.) С тех пор он всю жизнь страдает язвой желудка. В 19-м году он закончил учебу, но ходил еле-еле. И бабушка решила на лето отправить его на Волгу, в Саратов, где дедушкин брат работал в каком-то учреждении, занимавшемся заготовкой хлеба. Работников этой конторы лучше кормили. СД приехал и устроился счетоводом. Он проработал ровно две неде-

ли — и тут всю контору арестовали. Оказалось, что начальство занималось какими-то незаконными сделками. Бабушка в тот же день поехала в Москву, в ВЧК, к Дзержинскому.

— Ну, пришла. Там таких, как я, пруд пруди. Все просят. Кто за мужа, кто за сына, кто за жену. Представляешь? Я записалась на прием к Дзержинскому. И что ты думаешь? Попала. Дня через два, но попала. Он, знаешь, из-за стола встал, подошел к окну и, пока я говорила, что СД не может быть ни в чем виноват, потому что он совсем еще мальчик, приехал в Саратов за две недели до ареста и никоим образом не мог быть вовлечен в дела этой конторы, все смотрел в окно. Потом я замолчала. Он повернулся ко мне и говорит: “Вы все сказали?” “Да, — говорю, — вот”. И кладу ему на стол мое заявление, в котором все было точно так написано, как я рассказывала. “Хорошо, — говорит, — вашим делом займется. Если все так, как вы говорите, то вашего сына освободят”. Я его поблагодарила и вышла. И ровно через три дня звоню, а мне говорят, что СД выпущен и завтра вечером будет в Москве саратовским поездом... Действительно приехал.

Второе чудо бабушка описывала так:

— Вот, в 20-м году пришли однажды ночью с обыском человек шесть. Морды у всех — ужас... К этому “золотому поиску”, проводившемуся по всей стране, прибились такие личности — ни в сказке сказать, ни пером описать!.. Явились они, весь дом подняли, все вверх дном перевернули. “Что вы ищете?” — спрашиваю одного. “Золото”. Я говорю: “Помилуй Бог, какое золото? Что было, давно уж на хлеб выменяли!” — “Вы, гражданка, не крутите, у нас есть точные сведения, что золотишко имеете”. — “От кого сведения?” — “Не ваше дело...”. В общем, такое устроили, что вспоминать страшно. Сейчас в кино любят показывать обыски, которые устраивала царская охранка. Так это детский лепет по сравнению с тем, что эти brave чекисты учинили в нашей квартире. У ребят и у деда глаза вот такие, круглые, и все молчат. А я, как увидела, что они начинают мебель ломать, завопила, заголосила и начала их обзывать. И кончилось тем, что потащили меня в тюрьму. Запили в камеру. Невозможно представить. Маленькая комнатка, и там стояли, тесно прижавшись друг к другу. Мужчины и женщины вместе. Духота и вонь. В уборную не выпускали. А люди все интеллигентные. Ты не можешь себе представить, что там было. Я не могу рассказать. Потому что этот ужас нельзя словами передать... И все время кого-то забирали и кого-то всовывали. И тот,

кто должен был выйти, с трудом протискивался... А одна пожилая женщина умерла стоя. Так плотно стояли, что не сразу поняли, что она умерла... Знаешь, когда люди умирают, у них перестают действовать... задерживающие механизмы... и вот возле ног этой женщины образовалась лужа... и тогда кто-то посмотрел ей в лицо, а она — мертвая... Я когда вспоминаю об этом, у меня волосы дыбом встают... А потом, на следующее утро, меня вызвали, привели к следователю. Он мне говорит: "Почему мы у вас ничего не нашли?" "Потому, — говорю, — что ничего нет". "Допустим. Но вы вели себя очень странно". — "Конечно, у меня дети, а ваши товарищи начали мебель ломать и нижнее белье моей дочери на куски рвать..." "Ну, ладно. Они и ваши товарищи, и вы должны понять, что у них много тяжелой работы, а они тоже люди. Они устают, поэтому возможны срывы". Потом он мне сказал, что решено меня выпустить. И меня выпустили. И я от Крестов домой пешком пошла... Этой радости освобождения тоже нельзя передать... — бабушка засмеялась и махнула рукой, — давно это было...

Да, люди на многое способны. Бабушка смогла отсечь от своего быта, от всей жизни первые 37 лет, как ящерица отрывается от хвоста, попавшего в зажим, потому что она может погибнуть из-за этого хвоста. И бабушка перестроила себя и свою жизнь, исходя из опыта последних трех лет: "сиди тихо — и, может быть, пронесет". А как иначе? Есть ли для большинства людей выбор, если они хотят жить? И не хотят умереть стоя?

7.

Бабушка пошла работать. Неточно. Бабушка переменяла место работы. Раньше она воспитывала детей, а теперь стала работать в государственном учреждении. Какой-то знакомый из Петросовета предложил ей "организовать лечебницу". "Я организовала лечебницу", — говорила бабушка. Из ее рассказов выходило, что на организацию лечебницы ей дали "конт-бланш" и больше ничего. Денег у Петросовета было мало. Предоставили под лечебницу брошенный хозяевами особнячок и велели "собрать" у частных оборудование для медицинских кабинетов. "Лечебница" — это стационар и поликлиническое отделение под одной крышей. Бабушка была директором, начхозом и снабженцем одновременно. Помощником по медицинской части была врач, княжна Уварова, —

“высокая красивая дама лет шестидесяти”. И вот две дамы бежали по всему Питеру в поисках хирургического, стоматологического, гинекологического кабинетов, в поисках лабораторного оборудования, в поисках коек, столов, тумбочек, постельного и столового белья. Был разработан простой метод обзаведения всеми нужными вещами: владельцы кабинетов приглашались на работу в лечебницу в качестве начальников соответствующих отделений. План простой, но осуществить его было нелегко. Этим частников нужно было найти и уговорить. Все-таки это сделали — и без помощи Чрезвычайной комиссии.

— Чего-то не могли достать. И тогда я поехала в Москву к Крупской. Она возглавляла женский отдел. Приехала. Прихожу. Секретарша говорит, что у Крупской совещание. Сижу. Жду. Наконец начинают выходить из ее кабинета люди. И Крупская вышла. Тогда все носили дурацкие бесформенные кофты и длинные юбки. И на Крупской все это ужасно выглядело. И вид у нее был больной: под глазами мешки, глаза навывкате и слезятся. У нее были больные почки. Всех она проводила и ко мне оборачивается. Я ей сказала, по какому я поводу. Она меня в свой кабинет пригласила и поговорила со мной. Внимательно слушала. Был в ней демократизм, не было чванства. Обещала помочь и помогла.

— А было по ней видно, что она жена Ленина?

— Нет, не было. Она этого не показывала. В общем, думаю, хороший и добрый человек. Но очень уж была некрасива...

(Меня всегда сместили и трогали эти чисто женские бабушкины замечания. Ну, какое имеет значение — красива или некрасива была Крупская? Но бабушка, конечно, обратила на это внимание.)

Когда лечебницу открыли, возглавлять ее пришел другой человек, а бабушка осталась в ней работать бухгалтером. Дедушка после очередного приступа отчаяния постепенно ожил и поступил на службу в частную электрическую компанию. Жизнь семьи наладилась. Дети отъелись. СД поступил в Петроградский университет на исторический факультет. Моя мама после школы пошла работать курьером в домоуправление. МД заканчивал школу, а потом стал работать на заводе токарем. Все они имели возможность забыть, что родились в Германии. И забыли. И выучились говорить на отличном русском языке. И хотя моя мама не выговаривала букву “р”, это не было связано с ее заграничным рождением.

1924-й год. Кстати:

– Бабушка, а как вы все восприняли смерть Ленина?

– Ну, не знаю, как все, наверно. Он же все-таки был главой правительства. А когда глава умирает, о чем все думают? Кто будет новой метлой и как она будет мести?

– А ты плакала, когда Ленин умер? – юный пионер ждал, наверно, положительного ответа.

– Нет, – сказала бабушка.

– А мама?

– Мама, возможно, плакала. Не помню. Но мама часто плакала вообще.

Ну, плакала – не плакала, кто знает? Если и была расстроена, то недолго. В том году она вышла замуж за “очень красивого парня, – говорила бабушка. – Он пел”.

– Что значит “пел”?

– В опере. Он был оперным певцом.

– Знаменитым?

– Не очень. Когда мама с ним разошлась, мы о нем больше ничего не знали и не слышали. Он в Киев переехал.

(А на другом конце света незадолго до этого один мальчик – внешне тихий и послушный, а внутри твердый и упорный – на следующий день после “бар-мицва” вечером, положил на стол записку на идише: “Я уехал к Мане” – и навсегда ушел из своего родного дома. А дом этот помещался в Харбине, куда родители мальчика бежали от белгородского погрома в 1906 году и где сам он родился в 1911-м. Его старшая сестра в 18-м году уехала в Москву и стала там работать переводчицей в Наркоминделе. И он “уехал к Мане”. Восемь месяцев спустя он появился в Москве, у сестры. Вид у него был страшный: самый настоящий беспризорник – обовшивевший и простуженный, в изодранной одежде, в огромных ботинках на босу ногу, в женской кожаной шапочке, из которой вата торчала во все стороны. И сказал на хорошем русском языке: “Маня, я тебя узнаю. А ты меня?” Маня позеленела и ахнула: “Шмерль?” “Шура. Меня теперь зовут Шура”, – сказал Шмерль. И он остался в Москве. Его вылечили и отмыли. За восемь месяцев скитаний он настолько хорошо изучил русский язык, что сумел сразу поступить в школу.

Моя мама задумала родить первого ребенка, а мой будущий отец пошел в школу. Оба события прились на конец 1924 года.)

Итак, в следующем году мама родила сына, и бабушка ушла с работы, чтобы нанять внука. Значит, все-таки: “Моя жизнь –

это мои дети". Дети и внуки — в первую очередь, потом уж — другая работа и вся прочая жизнь. Вот смотрите, что бабушка писала давным-давно. Три маленькие странички из ее случайных записей:

"17 августа 1904г., 10 ч. утра. Недавно вернулась с вокзала: провожала маму и сестру. Удивительно: когда я раньше думала об их отъезде и представляла себе, как у нас опустеет и как мне будет тяжело, я чувствовала, что сердце разрывается на части. Сегодня же, хотя и Давид с Солей неожиданно уехали во Франкф. и я совершенно одна — я спокойна, и даже странно — внутри вдруг появилось столько надежды, предчувствия еще жизни, счастья, и я, чего давно уже не было, думаю о будущем с такой верой и в него, и в свои силы и молодость. Мне кажется, что мне предстоит такой длинный путь, полный тревог, впечатлений, счастья, надежды, любви. Ничего, хочется мне сказать себе, и мы проживем, и мы еще будем счастливы. Давно уже не было такого приподнятого настроения. Я с такой тихой радостью думаю о милых моих детях и о дорогом моем муже, и мне сладко-сладко о них думать и жить с ними.

24 августа, 9 ч. вечера. Не думаю и не знаю, что меня ждет. Кроме детей, о которых я особенно в последнее время много думаю, я очень много думаю о Давиде. Часто, когда я его не вижу или когда я на него смотрю, но не говорю с ним, мне кажется, что он мне дороже даже детей, что я его люблю больше всего в жизни, но зато бывают и другие минуты, и тогда я думаю и чувствую, что, не будь у меня моих детей, я бы убежала куда глаза глядят. Эти мысли особенно приходят, когда он бывает груб и резок или когда мне приходит на ум критиковать его отношение ко мне. Но откровенно скажу, что я его очень сильно люблю, и, если б в его отношении я видела хоть капельку любви и если б я могла быть с ним простой и откровенной, говорить все, что хочется и думается, не боясь передразнивания и высмеивания и т. д., чем он всегда встречает почти каждое мое слово любви к нему, я бы любила его постоянно так, как люблю его глубоко в душе. Странно, не знаю, чем это объяснить, но мое чувство к нему..."

Обрывается. Продолжения нет.

И вот родился внучек, Боренька, и бабушка, конечно, взялась за его воспитание, тем более что мама моя с легкостью доверила ей своего ребенка. К этому надо добавить, что оба бабушкиных сына уже жили вполне самостоятельно и бабушкино вмешательст-

во в их жизнь воспринимали болезненно. А дедушка работал, и "его работа хорошо оплачивалась". А у моей мамы начались уже неурядицы и ссоры, потому что оперный певец оказался страшным ревнивцем с богатой фантазией, и мама очень от его ревности страдала. И как-то так вышло, удобнее всего оказалось, чтобы бабушка оставила службу, вернулась к домашним делам и занялась воспитанием ребенка. Да и самой бабушке этого хотелось. Может быть, она думала, что, умудренная жизненным опытом, она сможет так воспитать внука, чтобы им можно было гордиться, обоснованно гордиться, без скидки на обязательные родительские преувеличения и без закрывания глаз на некоторые недостатки.

Сразу скажу: судя по всему, этот опыт воспитания оказался очень удачным. Во всяком случае, мне всегда говорили все кому не лень: "Нет, Боря был тебе – прямая противоположность", "Боря был особенным человеком. Не то что ты", "Он никогда не поступил бы так, как ты". И когда я проявил контрреволюционную политическую несознательность, завопив на весь класс (потому что Хесин ткнул меня 86-м перышком в задницу) и разрушив хрустально-гробовую тишину по случаю издоха товарища Вышинского, то меня вызвала к себе в кабинет директриса и сказала, что меня оставляют в школе только из уважения к моей бабушке и в память о моем брате, погибшем на войне. Боря учился в этой школе до начала войны и возглавлял школьный исторический кружок. И многие учителя и директриса помнили его.

Я не знаю, как воспитывала его бабушка. Она "сидела с ним" три года. За это время мама разошлась со своим мужем, поступила в строительный техникум. СД закончил университет и начал работать преподавателем истории. МД поступил в электротехнический институт. И бабушка пошла на курсы преподавателей кройки и шитья.

8.

- Почему именно на курсы кройки и шитья? – спросил я.
- Ну тут много было причин. Главная – стало мне необходимо получить специальность и зарабатывать, чтобы была возможность существовать дедушке и мне. Да и маме твоей помогать...
- Но ведь дедушка работал?
- Раньше работал. Но уже летом 28-го года у него был тяже-

лейший приступ отчаяния. А зимой 30-го—31-го года — опять. И все труднее было заставить его идти работать. Он, как всегда, повторял: “Так жить нельзя”. Ложился на диван и целыми днями курил, читал газеты и играл в шахматы. И всегда молчал. И совершенно поседел... Так что мне пришлось думать о семье.

Да, бедный дедушка. Только потом мне удалось объединить бабушкины рассказы с отрывочными знаниями о нашей солнечной советской истории. Дедушкины “тяжелейшие приступы отчаяния” приходились по хронологии на Шахтинский процесс и процесс Промпартии.

Конечно, так жить было нельзя. Тем более ему, толковому инженеру и умному человеку, прекрасно разбиравшемуся не только в электрических машинах. Дедушка не жил. Он ждал.

— Мне трудно объяснить тебе это состояние, — сказала бабушка, — любые повороты нашей жизни внушали ему только ужас. Иногда он прерывал свое молчание, но говорил только что-нибудь вроде: “Когда все делается плохо, жить нельзя”. Помню, его ужасно напугал лозунг “Кадры решают все”, и он, как говорится, “мрачно шутил”, что это надо понимать трояко: во-первых, что старые вредительские кадры решают все плохо, во-вторых, что новые партийно-комсомольские кадры решают все плохо, в-третьих, что все решают кадры ОГПУ. Только ты никому об этом не рассказывай...

Дедушка был из “старых кадров”, которых заклеямили “вредителями”, и дорога ему была — в лагерь.

Он этого избежал — но какой ценой? Ценой распада личности.

Дедушка тогда работал в “Ленэнерго”. Но он боялся. Боялся поставить подпись под самой незначительной бумажкой. У него развилось типичное советское заболевание: параноидная мания преследования. Везде и во всем он видел угрозу. Конечно, не напрасно, теперь я знаю: угроза смотрела со всех сторон.

— Из наших, русских, с кем дедушка кончал Дармштадтское училище, — рассказывала бабушка, — всех пересажали, все погибли...

Никому нельзя было доверять. Об этом знали все, но реагировали по-разному. Дедушка ушел с работы, укрылся за стенами своей комнаты, за черными, звукогасящими ватными стенами своего тихого безумия. Удалось.

В 36-м году бабушка перестала наконец терзать его уговорами идти работать. После того как она посоветовалась со старинным

другом, врачом — психиатром. Друг оказался настоящим. Он поговорил с бабушкой и сказал: “Не пускайте его на службу. Он может там сказать свое любимое: “Так жить нельзя”, и вы его больше не увидите. Только чудо его спасло до сих пор”. Опять чудо.

— И вот, знаешь, его будто и не было. Он никакого участия в жизни не принимал. Разговаривал только с твоей мамой и Борей. А после войны, когда их не стало, с тобой. Ты помнишь хоть его?

— Помню. А с тобой?

— Со мной? Плохо, очень все это тяжело было... Иногда он начинал думать, что это я — виновник всего... И с сыновьями не разговаривал, а жен их вообще терпеть не мог. Когда они приходили, он шел в другую комнату, ложился на диван и голову подушкой закрывал... Мне теперь кажется, что он всегда молчал... Помню некоторые его высказывания... Он, например, очень не любил Маяковского. Когда Маяковский застрелился, бабушка сказал, что это самое лучшее, что Маяковский сделал за всю свою жизнь.

— Да что ты! Почему? — завопил я.

— Он его не любил. Вот скажи, как эти строчки насчет маузера?

— “Тише, ораторы, ваше слово, товарищ маузер!”

— Да-да. Бабушка его иначе чем “маузером” и не называл.

— Но почему? — не унимался я. (Мне было шестнадцать лет, и я как раз в школе Маяковского изучал.)

— Поймешь ли? Бабушка считал, что поэт, настоящий поэт, не может запрещать оратору говорить и отдавать слово маузеру. Либо он поэт, либо “маузер”. Понятно?

— Но ведь он — революционный поэт, трибун революции, — настаивал я.

— Да, да, — соглашалась бабушка. — Иди, делай уроки!

А однажды бабушка вспомнила, как Боря учил в школе Маяковского.

— Не помню, — задумалась она, — как там у него про Дзержинского...

Я прочитал: “Юноше, обдумывающему житье, решающему, делать жизнь с кого, скажу не задумываясь: делай ее с товарища Дзержинского”.

— Именно! — сказала бабушка. — Именно! Это бабушка так говорил: “Именно — не задумываясь!” Я еще раскричалась, зачем он говорит такие вещи Боре...

Да, безумие бабушки жизнь семьи не украшало.

Моя мама, закончив техникум, стала работать прорабом на стройке.

— Подожди, бабушка, — перебил я, — это же совсем не женское дело. И мама, ты говоришь, была тихая и скромная, как же она работала прорабом — это же одни матюги и пьянство?

— Верно. И все-таки мама работала прорабом, и это ей нравилось, и получалось у нее неплохо... Однажды приходит с работы и говорит: "Иду в ресторан!" "С кем?" — "Один парень пригласил. Каменщиком у меня работает". Примерно через полгода поженились они. Хороший оказался парень. Очень выдержанный. У нас дома был настоящий бедлам. А Шура будто не замечал ничего. Всегда был очень спокоен. Боря сначала очень ревновал маму и, когда Шуры не было дома, устраивал скандалы. А потом привык. Да и Шура стал редко бывать, потому что в 33-м году поступил в военное училище. Понимаешь, Витя, так получилось, что мы его мало знали. Он все время фактически жил не с нами. А когда был с нами, то очень всем нравился.

Неотличимые один от другого шли годы. Убийство Кирова, процессы. Долгие месяцы лежал на столике возле бабушкиной кровати "Судебный отчет" о деле Бухарина, и бабушка все вчитывался, пытаясь разглядеть, когда же пробьет его час, когда же придут за ним. Он лежал на диване, курил, молчал и думал, как это будет: вот выйдет он на улицу, к нему двое сзади подскочат, возьмут легонько за локотки: "Не спотыкайтесь, пожалуйста, ходите осторожнее, вот сюда зайдите" — и введут в какой-нибудь парадный подъезд, а там, через проходной двор, на другую улицу, в эмку затолкнут и — в тюрьму. (Он не выдумывал, так точно и произошло с одним его давнишним приятелем, которого в 35-м арестовали, в 37-м выпустили и он эту историю рассказал, а в 38-м опять арестовали — и он уже не вернулся.)

Бабушка преподавала на курсах кройки и шитья в разных домах культуры и на заводах и неплохо зарабатывала. СД защитил кандидатскую диссертацию. МД работал в конструкторском бюро. Мама продолжала прорабствовать. Боря в 39-м году перешел в только что построенную школу на Невском, и был там первым учеником, и в кружке историческом состоял, и вот история о Боре:

— У них в классе был один хулиган, который однажды испортил портрет Сталина: пририсовал химическим карандашом бороду. Было классное собрание, на котором Боря выступил в за-

щиту этого парня, сказал, что тот это сделал по дурости, не понимал, что это политический проступок. И Боря говорил так убедительно, что решили дело замять и только исключили хулигана из школы.

(Я-то теперь думаю, что не столько Борино выступление спасло хулигана от лагеря, сколько нежелание директрисы быть обвиненной в том, что она в своей школе растит троцкистов-террористов. И стукача, по счастью, не нашлось. Повезло ей. Иначе не она бы меня в 54-м году отчитывала...)

— Слушай, бабушка, а как это так вышло, что отец с мамой поженились в 32-м году, а я только через восемь лет родился?

— Ну, Шура был кадровым военным и хорошо знал, что будет война, поэтому не хотел ребенка... И мама абортыв делала... А потом мама все-таки настояла, и ты родился.

Да, как раз вовремя!

9.

Совсем немного сохранилось отцовских бумаг: выписка из личного дела, извещение о том, что он пропал без вести, и распоряжение о назначении пенсии мне как "семье". Несколько фотографий. И все.

Три года он учился в военной школе связи, потом служил начальником радиостанции, затем окончил командный факультет Академии связи — это было 17 июля 1941 года. 23 июля "убыл к новому месту службы".

И еще маленькая справка: "Ваш муж... пропал без вести в июле 1941 года".

Это — ответ на запросы о службе отца, которые мама моя послала в Наркомат обороны. "Выписка" отправлена маме 6 января 1945 года, за три дня до ее смерти. Получена уже после...

Отец служил и пропал без вести. Шла война. Он получил назначение в Харьковский военный округ...

— Мы опять в Рябово собрались, и вдруг — война. Шура тут же уехал. Взял тебя на руки, сказал: "Будь хорошим. Будь моей достойной сменой". А ты? (Я мог бы и поверить, что отец мой сказал эти гулкие фанфарные слова, только зря бабушка добавляла: "А ты?" Слишком уж явно выпирало воспитательное назначение последнего отцовского ко мне обращения.) В общем, Шура сразу уехал в Академию... СД в армию не призвали, он вместе с

университетом эвакуировался. МД получил броню и эвакуировал свой завод в Новосибирск... А мы — впятером — были эвакуированы при твоей маме в начале августа. Не знаю, как бы мы упрямились, если бы не Боря. Нет, ты даже себе представить не можешь, каким был твой брат!... Он так помогал! За кипятком бегал, паек получал, вещи менял, один таскал все наши бебехи... Приехали мы в Журавли, это деревня на Урале. Жили в ней до конца декабря. За ночь вся комната покрывалась инеем, на полу — лед. Мы все пали духом. Ты ходить перестал: по полу нельзя, да и нарывы у тебя на ногах были страшные. Ты все время плакал... И в Журавлях нечего было делать. Тогда Боря настоял, чтобы мы поехали к МД в Новосибирск, и поехали... Приехали, поселили нас в таком огромном зале во Дворце труда. Этот зал был поделен черными занавесками на комнаты. В общем, сумасшедший дом. Мама устроилась на работу на стройку. Боря пошел на завод токарем и учился в вечерней школе, кончал десятый класс. МД и его жена работали на заводе. А я с дедушкой сидели с двумя детьми: с тобой и с сыном МД. Вы оба орали, а дедушка нервничал — и от него не было никакой помощи... Ну вот. А еще маме приходилось ходить за молоком... Она сама настояла, потому что, мол, ей двигаться надо, а то она очень толстая. Правда, хоть еды было мало, но тогда она все еще была полная... И от Шуры — ни одного письма... Понимаешь, это в моем рассказе все так быстро. А на самом деле страшно долго тянулись дни, недели, месяцы. Не могу передать... Война шла: как лето наступает, так мы отходим, оставляем один город за другим, как зима, так мы — вперед... Боря такую большую карту на стене повесил и флажки на булавочках сделал. Красные и черные. Немцы город берут, он втыкает в то примерно место черный флажок. Наши — красный... Работал Боря на заводе очень хорошо. Он все делал хорошо! Он все рвался на фронт, но ему броню дали. Начальник цеха не хотел отпускать... А тут 43-й год. Мама заболела. Начала катастрофически худеть. Очень быстро. Стала худая, как былиночка. И однажды сказала мне, что у нее "шарик на груди катается". Я ее уговаривала пойти к врачу, но у нее не было времени. Летом — жарко было — я на нее нажала, и Боря повел ее к врачу. И врач сказал, что надо резать: "шарик" уже не катался и вырос... Ну, исполнилось Боре 18 лет в сентябре... А вместе с ним работал один парень — такая сволочь! — он все время подзуживал: пойдем в военкомат, пойдем в танковое училище. И Боря наплевал на свою броню и пошел... Мы так

плакали, так плакали. А мама, наверно, предчувствовала... Ну, Боря ушел, маме сделали операцию, грудь удалили. И сначала ничего было, она неплохо держалась. Уже зима наступила. Потом сняли блокаду Ленинграда. И письмо от моей сестры пришло, что скоро можно будет возвращаться... Боря в танковом училище был вместе с этим своим дружкой, Веней... И вот мы поехали в Ленинград... Приехали, а наши комнаты какими-то военными заняты. Долго мы бились, чтобы нам эти комнаты отдали, а пока что жили у моей сестры. Она всю блокаду в Ленинграде пережила. Маму нашу, твою прабабушку, в 42-м похоронили... В ноябре 44-го въехали наконец в свои комнаты. А тут маме твоей опять плохо стало, показали ее профессору Холдину, и он сказал, что операцию делал "сапожник": надо было подмышечные железы удалять, а он не удалил. Мама этого, конечно, не знала, думала, что у нее доброкачественная опухоль снова выросла... Знаешь, мама твоя была ведь очень тихая. А тут она от боли кричала! Потом ее увезли в больницу, в конце декабря... Вот... А 9-го января умерла... Ей голову побрили. Она кричала, ей уколы делали... И вот подняла она голову. Шейка тонюсенькая. Говорит: "Ма-а-ма". Тихо-тихо. И упала на подушку. Я закричала. Прибежали — врач и сестра. И заставили меня уйти... Я домой пришла, меня дедушка встречает, а ты спал. Я ему говорю: умерла. Он ничего не ответил, улыбнулся и ушел в комнату. Потом смотрю: он, как всегда, на кровати лежит. И плачет... Знаешь, он никогда не плакал... Похоронили маму. Ты остался, Боря — на фронте. Я стала опять давать уроки кройки и шитья. Боре написала о маминей смерти. Он обещал вернуться и быть мне и дочкой и внуком, а тебе — папой, и мамой, и братом. Он тебя любил.

Бабушка показывает мне желтый листок бумаги. На нем отпечатано:

"Создадим Сталинский фонд победы! Да здравствует XXV годовщина Красной армии и Военно-Морского флота! За нашу советскую родину.

#### МОЙ ПОДАРОК КРАСНОЙ АРМИИ

В дни, когда героическая Красная армия под верховным руководством Великого полководца Товарища Сталина наносит мощные удары по врагу и одерживает блестящие успехи на фронтах Отечественной войны, в дни, когда весь народ, каждый советский патриот, не жалея своих сил, своей жизни, защищает свободу и независимость нашей родины, на фронте — сильнейшим огнем,

стремительными ударами по врагу, в тылу — самоотверженным трудом, я...”

И дальше почерком Бори: ...“отдаю свою жизнь за лучшую жизнь в будущем моего братишки Витеньки”. Борина подпись.

— Боря этот бланк домой принес. А другой, где его обязательство было — на заводе, можешь быть спокоен: он свои обязательства выполнил...

Бабушка достает из шкатулочки другую бумагу: наверху — портрет Сталина, внизу — наступающая пехота, оцетинившаяся штыками, и стихи: “Мы в битвах решаем судьбу поколений, мы к славе отчизну свою поведем!” В середине напечатаны фамилия и имя-отчество моего брата и его звание (младший лейтенант), затем: “Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 23 апреля 1945 г. № 339 за прорыв обороны немцев и вступление в Берлин всему личному составу нашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие в боях, ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ. Командир части (подпись)”. Печать.

10.

В апреле 45-го года бабушка получила извещение, что мой отец “пропал без вести”. “Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии”. Пенсия была назначена: 270 рублей — “из расчета 30% от штатного оклада”.

— Прихожу в районную опеку. Прошу назначить меня твоим опекуном. Мне говорят: “Вам-то сколько лет?” “Шестьдесят четыре”. — “Вы не можете быть опекуном, слишком стары. А тут одна семья из Киришей просит ребеночка на воспитание...”. Я такой скандал учинила, что они рады были выписать мне бумагу на опеку... Получила твою пенсию. Работала на курсах. Жили хоть бедно, но — жили. Тяжело, конечно, было — одной вас кормить: тебя и дедушку. И себя. Но тогда все так жили. Борю ждала. Он писал, что долго еще служить будет. А потом получаю повестку: явиться в военкомат. Иду. “Вы — мать? — спрашивают. — Вот извещение. Вот награды”. “Нет, — говорю, — не мать, а бабушка”. “Тогда вам — только извещение. А награды останутся у нас”. Орден Красной Звезды и медали. А в извещении написано, что

Боря умер в Альтенбурге 15 сентября 45-го года. Не дожил до двадцатилетия. Умер, понимаешь? Не погиб! Пришлось жить, вас с дедушкой не оставишь ведь. Летом письмо пришло от этого Вени, сволочи.

— Почему “сволочь”, бабушка?

— Сманил Борю на войну. А потом письмо прислал.

Вот это письмо:

“Тяжело мне писать Вам подробности смерти Бори, но все же Вам необходимо знать правду.

Еще когда мы были с Борей под Ригой, он не однажды, правда, не всерьез, говорил о смерти. Когда мы разъехались, я имел от него всего два письма, но в них ничего настораживающего не было.

И вдруг этот ужас! Оказывается, он неоднократно высказывал мысль о самоубийстве и 14-го сентября застрелился. Я был у него на могиле. Похоронен он недалеко от казарм в небольшом городском парке. Я разыскал немца, и он мне за 1000 марок прибрал могилку, обещался поставить небольшой памятник и достал венки. Один я возложил от Вашего имени, другой — от себя и от всех друзей и третий — от Веры.

Сейчас в наш полк прибыл комбриг, Борин бывший начальник, и как раз сегодня я с ним разговаривал.

В жизни Бори ничего особенного не было, только разве не ужился с комбатом из-за того вопроса, который Борю постоянно мучил. В тот день он попросил одного своего сержанта принести ему две бутылки водки, офицера, с которым он жил, попросил весь вечер не приходить. Борис написал 5 писем (всему начальству), в которых просил в его смерти никого не винить. Он писал, что ему не нравится служба в армии, “вечное вытягивание и зачастую перед людьми, которых он считает ниже себя”. В 11 часов вечера в его комнате раздался выстрел. Дверь была заперта. Немедленно вызвали комбрига и в его присутствии взломали дверь. Водка была выпита. Борис, прежде чем застрелиться, надел свой лучший костюм и лег на кровать. Выстрел был сделан в висок. Пуля вышла в затылок, но он еще жил и бредил. В сознание он так и не пришел. 15-го в госпитале в 8 часов утра он умер. Вот все, что я могу Вам сообщить о Борисе. Как глупо, что мы расстались — ведь этого никогда не было бы”.

— Все — ложь! — сказала бабушка. — Все, до единого слова — ложь! Ни звука правды!

— Что именно? — спросил я.

— Зачем пять писем? Достаточно одного... Потом — Боря был очень скромным и не сказал бы, что считает недостойным вытягивание или о людях "ниже себя"... Боря "высказывал мысль о самоубийстве"? Никогда не поверю... И почему это Веня так ни разу и не появился, хотя живет в Ленинграде? Но самое главное — я знаю, что этого не было. Что-то было, но не это.

— Ну, хорошо, бабушка. А что это за вопрос, который Борю всегда мучил?

— Вот это — правда. Это — об антисемитизме. Боря органически не переносил юдофобов. Он и ударить мог за это. Мог и избить. И не посмотреть — комбат, комбриг — кто бы ни был... А за это...

11

Остались мы троим. То есть я остался с бабушкой и с дедушкой. А у бабушки еще были сестра, СД и МД. И все время что-нибудь происходило.

1946 год. Дедушка потерял карточки. Он пошел в магазин, взяв все карточки — бабушкины рабочие, свои иждивенческие и мои детские, взял деньги и все потерял. Не снимая пальто и шапку, он стоял посреди комнаты и улыбался: "Я карточки потерял". Бабушка закричала на него так страшно, что я испугался и заплакал.

1947 год. Мне достали галоши. Я бегал в них по сугробам — и одну галошу оставил в сугробе. И никак не мог найти. Пришел домой. А у нас в то время жила девушка-домработница, и, увидев, что я потерял галошу, она сказала, что от бабушки мне влетит, и я, и так уж напуганный, в бессильной ярости и злобе обозвал нашу домработницу "б...". А вечером, когда я уже спал, бабушка пришла с работы, узнала обо всех моих провинностях, выхватила меня из кровати и очень больно отшлепала. И я, конечно, рыдал. И бабушка плакала, сидя за столом и положив голову на стиснутые кулаки.

1948 год. Новогодний вечер. Красное вино в молочных бутылках. Меня положили спать, но я не сплю. Радио включено. Бьют куранты. За столом бабушка, дедушка, СД и его жена. Они встают и чокаются.

Я сажусь на кровати и (помню!) хочу сказать им, чтобы они

32

выпили за Сталина ("Сталин! Сталин!" Это со всех сторон, но не у нас дома), но сдерживаю себя (может быть, впервые в жизни сдерживаю себя — и раз помню, значит, это потребовало каких-то сил, было острым переживанием). А наутро дедушка составляет на подносик рюмки и чашки, складывает вилки, ложки и ножи, берет подносик и идет с ним на кухню — и роняет все это со звоном и вскриком. И бабушка кричит ему, что тысячу раз говорено, чтобы он не смел ничего брать в руки, теперь вот расколотил всю посуду. И дедушка опускается на колени и начинает все снова складывать на подносик: ножи, вилки, ложки, осколки рюмок и чашек. А бабушка кричит. Но тут дедушка медленно поднимается с колен, лицо у него красное, а в руке — пила для хлеба. И он идет с этой пилой на бабушку. Бабушка держит кофейник. Кофейник падает, жижа из него расплескивается. И бабушка тихо говорит: "Ты что?" (И я начинаю дико кричать.) А лицо у бабушки такое же белое, как дверь, возле которой она стоит. Дедушка роняет пилу, закрывает лицо руками и идет к своей кровати. И в доме становится очень тихо.

В том же году, весной. СД не проходит по конкурсу на должность доцента. Его вызывают в 1-й отдел университета и рекомендуют поехать в Пермь, куда уже посланы его документы. СД сидит у нас. Бабушка плачет. Дедушка лежит и курит. СД уходит. В доме — мертвая тишина. Потом дедушка, разложив картонную доску на круглом столике, играет сам с собой в шахматы.

В том же году, летом. Бабушка уговорила заведующую детским садом взять меня на дачу вместе с детсадовскими детьми. Вырица. Дождь. Старшая группа сидит на втором этаже. Я целый день провожу возле окна, жду бабушку. Наверно, воскресенье. Я знаю, что бабушка должна приехать, И жду ее, смотрю вдаль на пересечение двух улиц, там из-за угла должна выйти бабушка. Стекло холодное. Если к нему прижаться лбом, то перекрестка не видно из-за струй дождя, скользящих по стеклу. Бабушки все нет. В комнате зажигают свет. За окном — отражение комнаты. Я плачу. Потом меня зовут вниз, и мы плачем вместе с бабушкой. Она уговаривает меня потерпеть, хотя ей тоже без меня скучно и тоскливо. Но я должен поправляться. Она уезжает. Я ложусь спать, накрываюсь с головой одеялом, получается теплый домик, в котором я совсем один. И снова я тихо и горько плачу.

1949 год. Несчастье с бабушкиной сестрой. Она работала в областной больнице врачом. Ей сообщают, что в Сосново — больной

с миллиардным туберкулезом. Нужно срочно его проконсультировать. Поезд в Сосново будет только вечером. Нельзя терять ни минуты, нужно лететь на самолете. Самолет есть — “ПО-2”. Вылет через час. Едут на аэродром. “ПО-2” летит в Выборг, и летчик вас высадит возле Сосново, а там будет ждать возчик с санями. Погода портится. Вылет откладывают. В четыре часа все-таки вылетают, в пять приземляются возле Сосново. Куда идти? Вон туда, видите огоньки? Близко. Возчика, конечно, нет. Не может же он ждать целый день. Она выходит из самолета и по пояс проваливается в снег. Март. Тепло. Не успела оглянуться, самолет улетел. Она пошла. Быстро стемнело. Огоньки должны были бы стать ярче, но их вообще не видно. Сбоку лес. Туда идти нельзя, волки. Она бредет по снегу. Одна в каком-то бескрайнем поле. Небольшая метель. Идти невозможно, глубокий снег. Она идет. Находит какую-то палку. С палкой легче. Она идет. Темно. Посидеть бы. Но — больной, но — семья дома. Идет. Возле леса, по полю. **Она идет всю ночь.** На ногах ботинки (валенки нужны были той, что летела в Выборг, а здесь — аэродром рядом и будет ждать возчик с санями), на руках перчатки. Уже светать стало, когда палка вдруг не провалилась в снег, а уперлась в дорогу. Дорога. Туда или сюда, но это уже к людям. И она упала. Очнулась, когда ее подобрала дети, ехавшие на санях в школу.

Она вышла из больницы в декабре, к Новому году.

Мы с бабушкой были у нее в больнице. Ноги ее были накрыты металлической палаткой с лампочками. Пальцы ног сплошь были покрыты какими-то белыми червяками. Из-под шевелящихся червяков торчали белые обглоданные косточки пальцев. Потом эти косточки отрезали. Она потеряла пальцы на ногах и на правой руке.

Суд постановил: областная больница должна выплачивать ей пенсию. (Больной не нуждался в срочной консультации — диагноз был ошибочным. Летчик: “Я все сделал по инструкции”. Возчик: “Доктора велено было ждать до двенадцати”.)

1950 год. Осень. СД приехал из Перми в отпуск, потом они с женой были на юге. Теперь он должен был ехать назад в Пермь. Бабушка с дедушкой и СД с женой пошли в театр. Меня почему-то оставили дома у СД и велели сидеть спокойно, ничего не трогать, можно вот посмотреть эти книжки с картинками. Я посидел спокойно, посмотрел книжки с картинками, полежал, походил по комнате, захотел есть, заглянул в шкаф, увидел печенье, взял одно,

съел. Воды попил. Еще съел. Вкусное было печенье. Когда они вернулись из театра, печенья уже не было. Бабушка и дедушка взяли меня за руки, и мы пошли домой. Назавтра СД "Стрелой" уезжал в Москву. Ему бы своими делами заниматься, готовиться к путешествию, с женой прощаться, а они пришли вместо всего этого к нам, чтобы меня воспитывать. СД взял меня за плечи и поставил между своими коленями: "Смотри на меня, не отводи глаза! — строго сказал он. — Скажи мне, почему ты съел вчера все печенье?" Я молчал. Я мог бы ответить, что хотел есть, вот и съел. Но такой ответ был слишком прост, он не мог удовлетворить СД своей естественностью. Другого я придумать не мог и поэтому молчал. "Ты очень плохо поступил. Это печенье было сделано для меня, я его очень люблю, а теперь мне нечего взять в дорогу!" — сказал СД. Жена его поддержала: "Да, это — очень плохо. Ты, в сущности говоря, это печенье попросту украл. Тебя, в сущности, можно назвать вором. Ты — вор!" Я заплакал. Они еще долго мне что-то внушали. СД выпустил меня из своих колен. Но от этого то, что они говорили, не стало менее обидным и несправедливым. Потом они ушли. Дедушка гладил меня по голове. Мне было жалко себя, и я плакал и не мог успокоиться. Бабушка сказала:

— Это — тебе наука. Никогда ничего ни у кого не бери!

Я никогда не забывал этого случая. И когда бабушка просила меня "наладить отношения" с СД, я либо отмалчивался, либо говорил: "Я вор!" Видя мою непримиримость, бабушка горько вздыхала:

— Ты злопамятен. Это плохо. — А иногда и плакала... — Мое сердце разрывается, ты понимаешь? Ведь вы — мои дети...

Из того же года воспоминание: вечер, мы с дедушкой сидим за столом под низким абажуром; стол освещен, а за ним вся комната в сумеречном, от лампы — свете, скорее — в темноте. Уютный вечер. И перед нами альбом для рисования, и акварельные краски, и кисточки, и вода в мензурке. Дедушка вместе со мной раскрашивает рисунки. И его голос, глухой, лишенный тембра: "Это — зеленая, это — желтая, это — красная... если очень густо-красная, то это уже почти коричневая". Его глухой смешок. И вскрик бабушки (она лежит на кровати, за нашими спинами): "Что ты говоришь?!" Из-за этого вскрика я и помню все: вечер, уют, краски и шутку, которую я тогда не понял: если очень густо-красная, то это уже почти коричневая... "Что ты говоришь при ребенке?!"

1951 год, 15 февраля.

День начался ночью. Меня уложили спать в бабушкину кровать, потому что на моем диване спала Рая, наша соседка, врач. Дедушка умирал. Двумя неделями раньше он пошел в баню, влез на полоч (он был страстный любитель попариться), потерял сознание и упал сверху. Его вынесли из парилки, он пришел в себя, вернулся домой, через два дня слег и только тогда рассказал про случай в бане.

К Новому году давали муку, и мы стояли с ним в очереди. Стояли целый день. Потом он нес муку домой, шагал по лестнице через три ступеньки. Он всегда казался мне таким здоровым. И вдруг слег. Лежал на кровати осунувшийся, серый, небритый. Просил меня почитать ему газеты. Я садился, начинал читать (а читал я скверно, медленно, путаясь) и вдруг видел, что он спит. Я тихонько убежал к соседям, чтобы поиграть там с маленькой девочкой.

И вот меня положили в бабушкину постель, на моем диване прилегла Рая. Поздно вечером дедушка вдруг перестал отвечать на вопросы. "Без сознания", — сказала Рая. Мы сидели втроем (бабушка, Рая и я) у стола. Была гнетущая тишина, в которой особенно страшно слышалось прерывистое дедушкино дыхание. Потом к звуку этого дыхания примешалось — сперва незаметно, а потом все явственнее — какое-то журчание. Именно журчание, я очень хорошо это помню. Журчало в животе у дедушки. "Что это?" — спросила бабушка у Раи. И Рая — помню! помню! — посмотрев на бабушку и на меня, сказала: "Это — конец..." Дыхание и журчание. Меня положили спать. Дедушка, и бабушка, и Рая остались втроем, я заснул. И вдруг проснулся. В тот самый момент, когда прозвучал голос Раи: "Надо разбудить Витю". Я проснулся сам. Они стояли возле дедушкиной кровати, горел яркий свет. Дедушки не было слышно. Он всегда был очень тихим человеком (как мне вспоминается), тихий голос, тихий смех, его никогда не было слышно, потому что он любил читать газету и играть в шахматы сам с собой. Но сейчас его не было слышно по-другому. И я заплакал. Громко, в голос, уткнувшись в подушку. Потом я перестал плакать, встал с кровати, подошел к дедушке. У него был открыт рот. Но тут Рая сделала из полотенца валик и подложила его под дедушкин подбородок. Рот закрылся, но как-то не-

правильно, потому что дедушкина верхняя челюсть была вынута, и губа запала... И я опять заплакал, но иначе. Тихо, но больно. А бабушка сидела за столом, положив голову в ладони...

Дедушка умер. Сыны слетелись его хоронить: один — из Перми, другой — из Новосибирска. Шел снег. Могильщики выкопали яму в мерзлой глине. Я видел на глазах у бабушки и у ее сыновей слезы.

— Конечно, — сказала мне бабушка через пять лет, — скорбь была, но главное чувство было другое: облегчение. Ему было тяжело, и нам всем было тяжело. Если бы он просто сошел с ума, было бы проще. Но во всем остальном он был нормальным человеком, только всего боялся. Это отравляло жизнь всем... "За ним повсюду Всадник Медный с тяжелым топотом скакал". Понимаешь?... Ну, и, когда он умер, я испытала облегчение... Он трех месяцев не дождал до золотой свадьбы. Знал бы ты, чего стоили мне эти пятьдесят лет!

Дедушка умер, появились новые страхи: как бы у нас не отобрали вторую комнату. И тогда МД с семьей переехал к нам из Новосибирска. Началась новая жизнь: над кроватью моего двоюродного брата висел портрет Сталина.

— Не понимаю, зачем портрет Сталина нужно вывешивать над детской кроватью! — шепотом говорила про себя бабушка.

1952 год. Август. Меня устроили в пионерский лагерь от завода, на котором работал МД. В последний вечер перед окончанием смены начальство лагеря решило провести мероприятие: пионерский костер. Из леса была привезена елка, врыта на лугу за домом. Весь день шел дождь. Елка намокла. К вечеру дождь перестал, и все обрадовались: костер будет. Чтобы елка загорелась, ее бензинчиком облили из канистры. Все пионеры расселись по кругу. Четверо лучших были выбраны, чтобы с четырех сторон одновременно елку поджечь. Одна из лучших была девочка по имени Алла. У нее были длинные косы, волосы у лица выгорели на солнце. И глаза были карие, огромные. И вот — четверо — с факелами подошли к елке. И так полыхнуло! Аллу отбросило от костра, ее волосы сгорели, лицо было обожжено. Пострадала только она, потому что ветер дул в ее сторону. Приехала "скорая помощь".

На следующий день нас, испуганных, родители забрали домой. Бабушка крепко держала меня за руку и все время, пока мы ехали в поезде, смотрела в окно. Дома она легла, попросила

налить ей валерьянки. Потом, смеясь, рассказывала родственникам:

– Слава Богу, Витя – не из лучших.

И много раз повторяла мне:

– Если бы с тобой что-нибудь случилось, я бы не вынесла, наложила бы на себя руки...

1953 год. Дело врачей. Сталин – капут. Конец дела врачей. Но в том же году умерла от неудачной операции (внематочная беременность) бабушкина племянница, старшая дочь ее сестры.

Все. Не хочу больше вспоминать... Каждый год не одно, а много тягостных событий. Все они отнимали силы, укорачивали жизнь, серебрили волосы, горбили спину... А что же радость? Она-то была? Или все только черное?.. Были, были и радости. Вот только: я заметил, что и радостные события вызывали у бабушки не светлые слезы, а тоску, тяжелый комок в горле. Да и – по правде говоря – не так уж много было радостей.

(Вообще, я вижу, что радости наши чаще имеют какой-то негативный характер: хорошо, что случилось это, но слава Богу, что не случилось то, ведь возможнее было то, и прекрасно, что оно не произошло.

А вот бабушка моя всегда говорила: “Горя было больше, чем радости”. Не каждый ведь способен относить к личным своим радостям открытие Днепрогэса или постройку Беломорканала. И не каждый может считать своим личным горем осуждение десятков миллионов невинных людей на каторжные работы, гибель двадцати миллионов людей во время войны или сожжение в печах шести миллионов евреев.)

13.

От меня, к стыду моему, радостей было – кот наплакал. Бабушка так постоянно и говорила:

– Я тебе все, а от тебя – кукиш!

Бабушке всегда не хватало моей любви.

– Если ты меня хоть немного любишь, ты съешь этот фасолевый суп!.. Если ты меня хоть капельку любишь, то будешь хорошо учиться.

Но моей любви и в самом деле не хватало, я это давно понимаю. Пытаюсь оправдаться. Нужно было очень много выдержки, чтобы не раздражаться в ответ на каждодневные назойливые причитания:

— Я отдала тебе все, если бы не я, не знаю, что с тобой и было бы, всю свою жизнь я на тебя положила, думала, ты будешь мне настоящей опорой...

Но радовать ее у меня не получалось, я знал, что это плохо, и злился, и кричал, и иногда швырял все что было под рукой на пол.

— Бабушка, — вопил я, — это невыносимо: ежедневно слушать, что ты — святая, ты отдала мне последний кусок, а я — неблагодарная свинья! Перестань попрекать меня последним куском, или я уйду из дома. Я это сделаю, ты дождешься. И в конце концов, никто тебя не просил отдавать мне жизнь!

После таких слов бабушка закрывала лицо руками и плечи ее сотрясались — она тихо плакала. А я начинал орать еще громче:

— Ну чего ты хочешь? Чтобы я сидел всегда возле тебя? Что я должен делать? Скажи! Ты не плачь, а скажи!

Иногда бабушка отвечала:

— У тебя нет сердца! Если бы у тебя было сердце, ты бы знал, что делать!

Но, в сущности, она сама не знала. Конечно, ей хотелось, чтобы я больше ее любил, чтобы я хорошо учился, чтобы я был хорошим мальчиком. Но она понимала, что, даже если все это будет так, невозможно, чтобы я всегда был с нею. Я рос и все дальше от нее уходил.

И вот меня забрали в армию, отлучили от бабушки. И бабушку оставили без меня. Мы оба очень тяжело переносили эту разлуку. Я был так оглушен происшедшей в моей жизни переменой, что упрашивал бабушку писать в министерство обороны, чтобы меня освободили от службы, так как я у бабушки — кормилец и должен работать, чтобы ее кормить, а без меня она умрет от голода. Бабушка тоже потеряла голову и написала командиру нашей части, чтобы меня отпустили домой. Все это теперь может вызвать только смех, но тогда было не до смеха, меня поставили перед строем — дело было в Пушкине, в "карантине", — и командир части очень крепко меня высмеял — в воспитательных целях. Больше я бабушке панических писем не писал, а, наоборот, очень негодовал, что она написала командиру и выставила меня в глупом свете.

Потом оба мы приучились жить отдельно. Бабушка за три года моей службы очень сдала: — возраст, а к тому же отпала необходимость быть моей опорой, необходимость, которая двадцать лет

не позволяла ей согнуться. А я в это время производил "переоценку ценностей" — так назывался мой армейский дневник. В этом дневнике я "судил" бабушку. Вот выписка: "Дорога жизни... Нет, это — выдумка досужих умников. Нет никакой широкой дороги. Есть узкая тропка, по которой каждый человек в одиночку поднимается все вверх и вверх. А может, я мешаю? И моя тропка — вбок? Нет, не может этого быть. Я хочу идти со всеми. Но мне очень тяжело идти. На моих плечах огромный груз. Это — неумение работать. Всю жизнь мне говорили, что нужно работать. И в то же время бабушка меня от работы всячески оберегала. Все было мне, от меня — ничего. Стихи и книги. Неправильно меня воспитали. Не знаю, как нужно было, но — не так. Я не научился работать. Я не способен к ежедневному упорному труду. Я не умею принимать решений и твердо им следовать. Потому что если твердости нет в характере, то она вырабатывается трудом. Я же по натуре — мягкотелый эгоист. Бабушка делала для меня все возможное и невозможное, лишь бы мне хорошо жилось — безбедно, счастливо и радостно. Но одного она не сделала — она не научила меня работать. Слишком поспешно она сама решала мои задачи, брала на себя мои заботы. И работать я не научился. Я понимаю, что это — не более чем слова. Легко обвинять. Но я не обвиняю. Я констатирую факт: работать не умею..."

И вот я вернулся из армии. Поклялся, что не женюсь, пока бабушка жива. Но три года в армии сделали меня более жестким и не терпящим вмешательства в мою внутреннюю жизнь. И за три года я успел от бабушки отвыкнуть и, по сути дела, в любой момент готов был от своей клятвы отказаться. А бабушкина любовь за три года только окрепла, бабушка по-прежнему продолжала считать меня маленьким ребенком, которого нужно опекать и о котором, главное, все нужно знать. А я не хотел этого. И тут я был прав, я знал, что есть вещи, о которых бабушке говорить нельзя. И все выше становилась между нами стена. Кто виноват? Я. Но я не в грудь себя бью, я "констатирую факт".

14.

Господи, Боже мой, ведь мне всегда было ясно, как нужно вести себя. И всегда я вел себя не так, как нужно.

Помню: в начале 65-го года, незадолго до моей свадьбы, бабушка сказала мне, что СД защитил докторскую диссертацию.

Я СД не любил и что-то по этому поводу ляпнул. Бабушка горько расплакалась. Я заорал:

— Почему ты плачешь?

— Потому что ты злой человек. У меня радость, а ты надо мной смеешься. Я так тебя люблю, так хотела, чтобы ты вырос добрым, а ты — злой и черствый.

Смотреть, как она плачет, было невыносимо. Я уехал к Наде.

Помню, в том же 65-м, незадолго перед тем, как поехать на дачу, бабушка очень переживала, что она не может отдать двадцать рублей, взятых ею в долг у соседа по квартире.

— Ты не можешь мне дать? — спросила она.

Я раскричался: какие деньги, откуда у меня деньги, у тебя вон — два сына, из них один — доктор наук, а я в получку тридцать рублей получаю, и нечего занимать, если не можешь отдать. Она сидела ужасно жалкая и потерянная, а я продолжал орать на нее, а она смотрела на меня, и в ее глазах стояли слезы.

Что толку в том, что теперь — иногда — я вспоминаю тот день и это воспоминание жжет, и гложет, и стоит перед глазами, и тянет из самого сердца крик: прости, прости, прости, умоляю, прости, я больше никогда не буду?!

Деньги. Я помню, бабушка всегда волновалась: как прожить, как вывернуться. Сначала деньги давал ее отец, потом муж. Потом она сама зарабатывала, а пенсии не заработала и конец своей жизни провела в постоянных заботах: хватит ли денег до того дня, когда сыновья принесут, или придется просить у них раньше? После армии, когда я стал работать, стало чуть-чуть легче: я вносил долю в наш общий денежный котел. А так все годы — деньги, деньги, деньги. И никакого просвета.

Сколько я помню, она всегда вела записи расходов. Ежевечерне доставала очередную тетрадь и записывала, что куплено за день. Смеясь, она говорила:

— Вся жизнь сводится к тому, чтобы есть, пить и считать.

В моем дневнике записаны ее слова: "До революции я считала, чтобы знать, сколько осталось, а после революции, чтобы знать, сколько не хватает".

Деньги. Ежедневный разговор о деньгах. Их всегда не было.

Надо было видеть, с каким наивно-насмешливым видом бабушка, сидя над развернутой "Литературкой", говорила:

— Вот, пишут о счастье советских людей. Наладчик счастлив, писатель счастлив, Гаганова счастлива. Любопытно, сколько они

зарабатывают? И сколько, хотела бы я знать, счастья полагается на тридцатишестирублевую пенсию, как у соседа Мули?

— Не в деньгах — счастье, — отвечал я, — да и Муля киномехаником рублей сто к пенсии имеет.

“Нет, не на такую жизнь я надеялась!” Неужели надеялась она на безбедную жизнь без горя, без потерь, без старости, без проблемы “отцов и детей” и так далее? Или же надеялась, что все будет как полагается, с запрограммированными потерями и страданиями, но такими, которые случаются потому, что человек живет, и рядом с ним живут люди, и человек стареет и умирает, и люди вокруг рождаются, взрослеют, стареют и умирают? Да, так и было. Надежды были, как у всех людей. И — как у всех людей — они не сбылись. Никто, глядя в будущее, не надеется на катаклизмы, на революции и войны, на преждевременную смерть, на жизнь в тюрьме. Даже если все это предвидится, всегда есть одна надежда: я переберусь через это целым и невредимым, таким же живым и здоровым, и все, кого я люблю, будут со мной.

Бабушкины надежды не сбылись. А чьи сбылись? Сбылись ли надежды тех рабочих и крестьян, которые делали революцию? Сбылись ли надежды тех интеллигентов, которые придумали и осуществили ломку старого и насаждение нового? Сбылись ли надежды старых и молодых коммунистов, собственными руками накинувших на свои шеи петли 20-х—30-х годов? Сбылись ли надежды шести миллионов украинцев, умерших от голода после триумфа социалистической коллективизации? Сбылись ли надежды тех, кто на сессии Верховного Совета громко аплодировал словам Молотова о том, что с идеологией фашизма нельзя бороться вооруженным путем? А сбылись ли ваши надежды? А мои?

Бабушка не была исключением из правила. Но я вам говорю: скоро все эти реликты вымрут. Их судьба перестанет нас интересовать. И у нас не будет возможности воочию увидеть тех, кто был до нас, кто шел своим путем, но был вынужден пойти по-иному. Их примера больше не будет перед глазами. И скоро, скоро уже мы будем думать, что мир всегда ходил этой дорогой, а другой перед ним не было...

15.

Вечером я сижу на стуле возле кровати. Доска привязана к спинкам, чтобы бабушка не выпала. Какое там! Она совершенно

неподвижна. Руки сложены на груди. Дыхание очень тяжелое, редкое. Глаза закрыты. Она без сознания.

Больные расходятся по палатам, едят на тумбочках у своих коек. Стучат ложками. Я беру бабушкину руку — сухую, горячую, безвольную. Снимаю с безымянного пальца оба тонких колечка (это удастся удивительно легко), кладу руку обратно. Оглядываюсь: не видел ли кто? Сам себя обрываю: хватит рефлексировать! Сижусь, сжимаю кольца в ладони. Они очень тонкие. Золото ушло с них — в умывальник, в ручки дверей и чемоданов, в ложки, ножи и вилки — во все, что держала бабушка в руках.

Я выхожу на улицу. Бабушка осталась там. Сейчас сестра пытается нащупать иглой вену. У бабушки такие тонкие вены, я ведь знаю, я делал ей уколы. Больно, если сразу не удастся попасть в вену, и игла тыкается и тыкается... Но бабушка без сознания, она боли, наверно, не чувствует...

29 июля. Справочная больницы отвечает: "Состояние тяжелое. Температура 37 и 2. Посещение разрешено".

На работе никто не заметил, что меня вчера весь день не было. Разбираю почту: несколько человек просят прислать справки о том, что они работали в нашей системе до войны. Беру книги приказов за те годы. Ищу нужные фамилии. Нет, не хочется ничего делать... Но нужно. Эти люди ждут, они считают дни, когда должен прийти ответ на их письмо. Нахожу данные об одном из этих людей. Выписываю справку.

— Какое-то проклятие, — сказала бабушка, — у меня нет стажа. Всю жизнь работала, а стажа не набралось. Все довоенные документы сожгли в блокаду, а после войны — пять с небольшим лет. А то, что дома работала, не считается... Хоть какую-нибудь пенсюшку бы, так нет же!

Кое-как заканчивается рабочий день. После работы еду домой, купив в Елисейском пачку пельменей. Брожу по комнате, трогаю вещи. Лезу в шкаф, достаю альбомы со старинными фотографиями. На одной из них — вся семья. Бабушка, дедушка и дети. У мамы — длинные, распущенные по плечам волосы. Оба сына — в брюках гольф. На обороте фотографии дата: "1917 год. Май". Бабушка высокая, стройная. С сильным, властным лицом. Глаза прямо смотрят в объектив. А на стене — прошлогодняя фотография. И лицо у бабушки усталое, а глаза прикрыты веками...

Звоню СД. Он подходит к телефону.

— Все — так же. Она ничего не ест. Ей делают уколы. Врач и мне сказал, что это — надолго... Ты завтра поедешь?

— Поеду.

Звоню Аглае. Рассказываю ей о вчерашнем дне, как ездил туда-сюда.

— А может быть, не следовало бабушку — в больницу? Дома было бы лучше. Наняли бы сиделку...

— Может быть, не знаю, — отвечаю я, — я об этом не подумал... Молчим некоторое время.

— Ты должен заниматься, — говорит Аглая, — ты должен поступить. Расписание экзаменов знаешь?

— Третьего августа — история, седьмого — сочинение, одиннадцатого — устная литература.

— Хорошо. Я буду ждать тебя третьего, позанимаемся, за четыре дня дам тебе сколько смогу... Возьми себя в руки. Бабушка будет долго болеть. А ты должен поступить.

Только она и Яша знают, что я поступаю в университет. И родственники моей жены. А моя семья думает, что я по-прежнему учусь в медицинском.

Читаю учебник истории. Потом ложусь спать.

16.

30 июля. Справочная: "Состояние тяжелое... Температура... Разрешено..."

Быстро ищу данные о работе трех человек, нужно отвечать на письма этих людей. Фамилии двоих нахожу, третьего — нет. Выписываю справки. Третий — бедняга — пусть обратится в Центральный архив, может быть, там — всякое бывает! — лежат документы его организации. Вряд ли, конечно. Отношу справки в канцелярию, чтобы на них поставили печати.

Сажусь заниматься. На работе я учу литературу, а дома — историю. Собственно, "учу" — не то слово. Пытаюсь запомнить, о чем нужно говорить. Восстанавливаю в памяти алгоритмы: первое, второе, третье... Забыл. Ведь уже восемь лет прошло после окончания школы.

Открываю учебник, попадаю на Чехова. "Вишневый сад", "Июнь". Это ладно... Случайный взгляд в окно на три пыльных дерева во дворе — и не вижу деревьев, а вижу бабушку, сидящую в кресле

с томом Чехова на коленях. Давно это было, я учился в девятом классе.

— Увидела на твоём столе и зачиталась, — говорит она. — Этот Чехов — он такой умница, он так верно и зло все понимал. Он, наверно, один из первых великих писателей, понявших, что русская интеллигенция ни на что не способна.

— Ну, ты даешь! — возражаю я. — А “в человеке все должно быть прекрасно”?! Это же интеллигент, Астров... И все время Чехов призывал работать. А в “Попрыгунье” Дымов — замечательный... Да что с тобой говорить! Ты же знаешь: Чехов любил русского интеллигента...

— Ненавидел! — восклицает бабушка. — Ненавидел! Дымов! Скажешь тоже! Дымов — слабый, безвольный, нерешительный. Столько лет терпел возле себя омерзительную бабу, возле которой сам сделался мешком. И смерть его — не трагическая, а глупая. Бегство от жены — и все тут... Ионычи. Вот — вся русская интеллигенция — Ионычи. Я ее знала... Были порядочные люди, но в основном — Ионычи, и Астровы, и три сестры — пошлые бездельницы, которые сами это понимали. И ничего не хотели сделать, ничего... “В человеке все должно быть прекрасно...”. А кто говорит? Астров — пьяница и пошляк. “В Африке жарко...” В общем, ты еще молод, ты не понимаешь, что главная сила Чехова — в ненависти к интеллигенту... Да, Чехова можно понять... Он далеко смотрел... Надеюсь, и ты поймешь...

(В армии я вспомнил этот разговор и записал его в дневник. Записал — и помню.)

— Хорошие слова: все должно быть прекрасно, — сказала бабушка, — но пустые... Это знаешь, как называется? Демагогия. — Бабушка любила иногда меня огорошить, но я думать не хотел и отмахивался, считая все это старческим... — Я не настаиваю. Прочти, Витя, лет через десять-двадцать...

Нет, не надо воспоминаний... Читаю учебник, пишу в тетради короткие планы различных тем. В три часа запираю архив и еду в больницу.

Бабушка лежит совершенно так же, как и два дня назад. Глаза ее закрыты. Я сажусь на стул и смотрю на нее. На ее лицо. Высоко поднятые надбровные дуги, толстый нос, крупные щеки, на запавшей верхней губе и на подбородке выросли волоски... Кожа на лице белая, мягкая (бабушка следит за ней). Морщин мало. А вот руки. Лежат посреди одеяла, на груди. Один палец тоньше

других, с него я снял кольца. И на руках кожа тонкая и белая. Очень синие жилки. Спокойно лежащие руки... Седые волосы, взбились надо лбом. Бабушка похожа на львицу.

— В Библии говорится, — сказала как-то она, — что живым псом быть лучше, чем мертвым львом. Похоже — так оно и есть. Почему-то все хотят жить...

Руки поднимаются на груди в такт с дыханием. Глубокий вдох. Потом полная тишина, неподвижность. Слабый выдох. Снова глубокий вдох. И неподвижность. И неподвижность. И даже кажется, что выхода вообще нет, а только вдох, вдох, вдох. И я начинаю задыхаться, потому что, глядя на бабушку, невольно повторяю этот вдох, вдох, вдох. И я выдыхаю, а она — кажется мне — нет. И это страшно. Я отвожу глаза в торону.

На тумбочке возле кровати стоит банка с вареньем. Это варенье — глупость. Наверно СД привез. Разве бабушке нужно варенье? Она же без сознания. Спит. Молчит. Только дышит очень страшно. Как называется такое дыхание? Черт возьми, изучал же. Все забыл. Чейн-Стокс? Может быть. Не помню.

Бабушка лежит неподвижно. Я смотрю в окно. За окном жарко, солнечно. Больные сидят на скамейке под кустами сирени и курят. Ловлю себя на том, что думаю об экзаменах, о Наде, о нашем будущем ребенке — что-то отрывочное... И о том, что бабушка, может быть, умрет. Ее нет. Нет возле. И не будет никогда. Понять это трудно. А представить? Вот: ее нет. Представляю себе. Но себя не вижу в этом представлении. Силюсь увидеть себя. Вот я — стою на солнышке, там за окном. Но я ясно вижу, что там, за окном, я — такой, у которого бабушка дома или на даче. Уже семь лет, как она всегда или дома, или на даче. Но такого себя, у которого бабушки вообще нет, совсем нет, не существует, я увидеть не могу.

Ко мне подходит нянечка и спрашивает, не помогу ли я переменить простыни под бабушкой. Конечно, помогу. Что-нибудь делать! Не сидеть просто так, не слушать ее дыхание! И мы переворачиваем бабушку сначала на один бок, потом на другой. Бабушка коротко стонет. Санитарка говорит: "Потерпи, милая, сейчас, сейчас..." Зачем она это говорит? А может быть, она это говорит мне?

Простыни заменили. Я иду во двор покурить. Больные подвинулись, освобождая мне место. Они о чем-то говорят, смеются...

31 июля. "Состояние тяжелое"...

Весь день занимаюсь историей. Но все не так, как всегда, какая-то пустота в груди, какое-то недомогание, какая-то тяжесть на плечах, как-то неудобно, неуютно, и то, что читаю, — мимо, мимо. Потому что теперь меня преследует видение одиноко стоящей под солнцем фигуры — это я сам. И я боюсь увидеть себя такого, у которого нет бабушки.

В пять часов звонит Надя: “А вот и мы. Уже приехали. В Прибалтике так чудесно, ты себе не представляешь. Скорее приезжай...” У нее такой радостный голос, что я не решаюсь ей сказать о бабушке. Потом скажу.

17.

1 августа. Бабушка — без перемен. Пока я сижу возле нее, два раза проходит дежурный врач. Она говорит мне: “Знаете, вы будьте готовы к тому, что ваша бабушка пролежит так очень долго. Хотя всякое может быть... Мы будем беречь ее от пролежней... Но жара... У нее правосторонние параличи... Пока сердце работает, она будет жить”. Очень нужная информация. Я тоже буду жить, пока сердце работает. Подошла сестра, чтобы сделать укол глюкозы. Я отхожу от постели. Вижу больную женщину, которая будто ловит мой взгляд. Она отзывает меня в сторону и тихо спрашивает:

— Это вас Витей зовут?.. Она по ночам “Витя” кричит. Зовет вас...

Опять сажусь возле бабушки. Она зовет? Что она хочет сказать? Надо... разбудить... а то ведь так и не узнаю... Отчетливо вижу эту картину: я — один. Ее нет. Я не знаю, что она хотела мне сказать! Я говорю: “Бабушка, бабушка!” Но я говорю тихо. Если бы заорать во все горло: “Ба-а-буш-ка-а-а!!!”, она, может быть, услышала бы. Но я не могу орать: тут кругом больные. Да и стыдно как-то. Она спит, спит, видит меня во сне, Витю, своего внука. Во сне. Вот когда она умрет... да, когда умрет, тогда она будет без сознания... Я стою один, залитый солнцем. У меня, стоящего там, нет даже мысли, что бабушка есть, а только мысль, что бабушка была... Я очень хорошо вижу себя, стоящего там, в моем представлении...

Приходит МД. Мы с ним садимся на скамейку под сиреневым кустом. Я курю, чтобы молчать. Потом обмениваемся несколькими словами: “Как ты?” — “Ничего...”.

Очень нужная информация: в том-то все и дело, что сердце у

бабушки слабое-слабое, послеинфарктное, у нее аритмия и временами нитевидный пульс.

— Наде скоро рожать? — спрашивает МД.

— Месяца через три.

— А ты вообще-то доволен женитьбой?

— А, какая разница! — говорю я.

Молчим.

— Знаешь, Витя, ты чем старше становишься, тем невыносимее.

— Может быть, — говорю я и смотрю на окно, под которым лежит бабушка. Доска, привязанная к ее кровати, делает эту кровать похожей на... гроб. На лодку, на корабль. Рейс к последней пристани...

2 августа. С утра заперся в своем архиве. Еще раз просматриваю обе книжки "Истории СССР".

Днем звоню в больницу. "Состояние тяжелое". Значит, без перемен.

Надин звонок: "Ужасно плохо тебя слышу. Здесь очень сложно звонить. Очереди. Занимаешься? Завтра после экзамена приедешь? Тебе от всех привет. Целую".

Вечером разговариваю с СД.

— Мама очень плоха. Врачи ничего не говорят.

— Слушай, я завтра не смогу приехать. Съезди ты, — прошу я.

— Вот как? А чем ты занят?

— Если ты не хочешь или не можешь, так и скажи. Что ты мне задашь нелепые вопросы? Занят — и все! — я кладу трубку. Говорю себе: "Плевать! Не обращать внимания! Завтра экзамен. Я должен быть олимпийски спокоен".

Перед сном записываю в дневнике:

"Коротко, потому что уже одиннадцать вечера. 1. Завтра первый экзамен в университет. Это уже начало чего-то серьезного. Долго колебался, а теперь — нет, потому что 2. Жизнь все ставит на свои места, где это "все" наиболее целесообразно и толково. Теперь не свернуть бы с избранного пути. 3. Бабушка лежит в больнице, она совсем плоха. 4. У меня хорошая жена, с которой многое можно пережить и 5. В ноябре у меня будет дочка Катька. Странно. Дочка. Папа. Мама. Жизнь. 6. А мне — двадцать пять. Много. Но впереди больше. И есть для кого и для чего. И есть с кем. А жизни кругом полно. 7. У меня новый дом. Теплый. Совсем свой. Но не очень-то я умею жить домом. 8. Мечта: жить вчетвером: бабушка, Надя, Катя и я".

3 августа. На работе говорю, что должен быть на инструктаже в Центральном архиве, и еду в университет. Истфак гудит напряженно и испуганно. Экзамен начался в 10 утра, но еще никто не выходил. Как неприкаянный, хожу из угла в угол. Учебник открывать противно. Скорей бы войти, взять билет и сесть за стол. У двери в аудиторию уже очередь. Начинают выходить первые сдавшие. Смотреть на них тошно — такие у них счастливые, улыбающиеся физиономии. В половине двенадцатого влезая без очереди (меня не очень-то удерживают), беру билет. Крымская война. Коллективизация. Ищу на стене карту Крымской кампании. Есть. "Можно подойти к карте?" — "Пожалуйста". Есть и другая карта: ход коллективизации. Прекрасно. Указаны районы и года. Все, что может пригодиться, переписываю на лист бумаги. Сажусь за стол. Несколько минут волнуюсь. Потом жду, когда можно будет идти к столу экзаменатора. Выбираю одного преподавателя: лицо у него сердитое и один глаз, кажется, искусственный. Да, точно: искусственный. Пойду к нему. Вскоре он освобождается и начинает осматривать аудиторию. Все пишут. Живой его глаз останавливается на мне. Я ему киваю: "Можно к вам?" "А вы готовы? Тогда — пожалуйста". Иду. Коленки все-таки подрагивают.

"Какие у вас вопросы?" Я называю. "Начните со второго". Начинаю, рассказываю о коллективизации довольно бойко. Он смотрит в окно. Я замечаю, что у него не только глаз искусственный, но и вместо правой ноги протез. Хороший дядька. Воевал. "Переходите к следующему вопросу". Я про коллективизацию еще не все сказал. Но тут же "перехожу" к Крымской войне. Англичане, Севастополь, Колхида, Нахимов, Тотлебен, Корнилов, Кошка, Лев Толстой... "Что? Простите...". Говорю: "Ну, Лев Толстой создал литературные памятники героям двенадцатого года в "Войне и мире" и Крымской войны в "Севастопольских рассказах". "А-а, да, это правильно... Давайте ваш экзаменационный...". Даю ему листок. Он ставит "отл." и расписывается. "Спасибо!" — говорю прочувствованно. Он смотрит на меня живым своим глазом: "Это вам — спасибо" — и усмехается. "До свидания". — "Всего хорошего". Выхожу в коридор. "Что? Выгнали?" — спрашивает кто-то. "Почему это?" — "Так быстро..." — "Да нет, сдал. Пять баллов". — "А что попало?"

Иду домой пешком — по Университетской набережной, по

Дворцовому мосту, по Адмиралтейской набережной до Медного Всадника... Погода — чудо... Не зря занимался, не зря. Может, и поступлю. По истории "отл." — это хорошо, это уже что-то. Молодец, Новиков, так держать.

Дома швыряю учебники истории на диван. С этим — кончено! Теперь — за литературу!

Кто был бы рад, так это... Бабушка!... Звоню в больницу. "Состояние тяжелое. Температура 37 и 3. Посещения родственников разрешены". Нет, сегодня не поеду. Сегодня — к Аглае, заниматься русским и литературой. Значит, что надо уяснить? Запятые перед "как". "Не" слитно и раздельно. Маленькую диктовку на синтаксис. По литературе: "Онегин" — "энциклопедия"... "Мертвые души" — "энциклопедия". "Война и мир" — "энциклопедия". Маяковский, Горький и так далее. Больно много. За четыре дня все не схватить. Ну, сколько успеем. Звоню Аглае.

— В три часа жду, будем обедать. По истории что? Молодец.

У Аглаи, как она и обещала, сначала обедаем. Говорим о бабушке, о Наде, о ее семье, обо мне — как я должен держать себя с Надиными родителями. Потом об экзаменах.

— Вчера и позавчера, как донесла разведка, во всех институтах была толстовская тема. Нужно думать, что и у вас она будет. Давай поговорим о Толстом...

В десять часов я откидываюсь на стуле, бросаю ручку, говорю:

— Все! Больше не воспринимаю. Спасибо!

У меня прекрасное настроение: хорошо поработали, надо думать, что и экзамены я сдам как следует.

— Поезжай, Витя, когда еще доберешься...

— Еду... Только вот еще позвоню СД, он сегодня у бабушки был.

СД говорит:

— Целый день не можем до тебя дозвониться. — Голос у него необычен. Я чувствую, как все переворачивается. — Мама скончалась... Немедленно привези ее паспорт, — и бросает трубку.

Я смотрю на Аглаю и бормочу:

— Аглая Симоновна, бабушка умерла.

Еду домой, и в голове все звучат эти два слова, будто я их только что, сию секунду сказал: "Бабушка умерла". И я вздрагиваю от звуков собственного голоса. И замечаю, что уже три четверти часа прошло, а мне кажется, что я только сейчас это сказал: "Бабушка умерла".

Дома ищу паспорт. В голове мелькает: “Бабушка уже никогда не откроет этот шкаф...” Вот он, паспорт. Лежит на полке в шкафу под бельем, где бабушка всегда держала его. Я забыл: мне в больнице сказали, чтобы я его принес, а я забыл. 28-го я его взял на даче. В больнице не спросили. Я его вечером на эту полку сунул. 30-го врач сказал, чтобы я паспорт привез, а я забыл... Ах, да, я же в больницу не отсюда поехал... Это позавчера было... Я себе представлял, что я один. Что ее нет. И вот... умерла. Бабушка, моя последняя... мой последний... умерла, родная... последний родной человек...

Прихожу к СД. Они с женой сидят за столом.

— Ты еще позднее не мог? — спрашивает СД.

— Скажи мне, как это было?

— Разве тебе интересно? Ты же занят.

— Ладно. Скажи мне, как это было.

— Мама умерла на моих руках. — Слово “моих” он прокричал и заплакал.

— Успокойся, прошу тебя! — сказала жена. А мне она сказала: — Он пришел, а она начала задыхаться... И в три часа дня...

Я кладу паспорт на стол и ухожу.

В три часа дня. Когда мы сели с Аглаей обедать. У меня было прекрасное настроение. В тот самый момент, когда бабушка умерла. Странно. И ничего я не почувствовал, не кольнуло в сердце, даже и не думал. Странно. Это потому, что я представил себе, что я один...

19.

Утром 6-го августа.

Возле морга много народу: родственники, и друзья, и знакомые. И внутри тоже люди. Бабушкины сыновья с женами. Еще кто-то.

Бабушка лежит в гробу, руки сложены на груди, белое покрывало откинута. Все смотрят. Я подошел, встал возле гроба. Все смотрят. Они все ненавидели меня. А я ненавидел их всех. Я бы поцеловал бабушку в лоб, поцеловал бы ее руки, но они все смотрят. О проклятие! Заорать бы: дайте, дайте мне побыть с ней **одному**. Куда там. Все смотрят. И я еще раз подошел к гробу, посмотрел на бабушку... и не пристально, чтобы навсегда запомнить, а вскользь, мельком: широкий белый лоб, закрытые глаза, большие щеки,

запавшая верхняя губа, а от этого нос удлинившийся и заострившийся, крупный подбородок, прозрачные руки, худые, тонкие, с синими прожилками... мельком посмотрел, повернулся и вышел, не глядя по сторонам, ни с чьим взглядом не встречаясь... Дайте побыть одному...

Сели в автобус. Гроб уже стоял в нем, закрытый. Сверху — букеты, по бокам — горшки с цветами. Я сел так, чтобы смотреть в окно... Никто не знает, что я думаю... Почему я решил, что все меня ненавидят? Они — просто — все другие, не такие, как я...

“А вот моя работа”, — говорит жена МД. Кто-то ей в ответ: “Как перерыли здесь все! У нас всегда так: сначала заасфальтируют, а потом роют...” Все правильно. Так и должно быть. “Работа”. “Перерыли”. Они — другие. Они — не плохие. Чего я выдумал, что они плохие, что они меня ненавидят? Да я для них — и не существую. Вот бабушку зароят, устроят поминки, будут жить дальше. И я буду жить дальше. Чего душой кривить? В том ли дело, что бабушка для меня не то, что для них? В том, в том. Моя бабушка. Моя мама, мой отец, мой брат — это она. А для них — только мама, только свекровь. И характер у нее был очень тяжелый и властный. Не знаю, о чем они думали и что себе представляли. Я зато знаю, что я себе представлял. Бабушка любила повторять: “Я очень много знаю, потому что я знаю, что я ничего не знаю”. А я смеялся: мне нравилось это изречение...

На кладбище гроб переставляют на телегу. Долго ждут, когда подъедут другие автобусы. И опять много людей. Возница говорит: “Но-о!” Лошадь медленно, по-кладбищенски, трогает. И бабушку на телеге везут к могиле. А мы идем гуськом за телегой, потому что дорога скользкая, все размокло после дождливого дня, и только между колеями сухо.

Над могилой встают в оцепенении. Кто-то (могильщик?) спрашивает: “Крышку будем поднимать?” Ему, помолчав, отвечают: “Нет”. Начинается суета: подсовывают под гроб веревки, опускают в яму, — могильщик говорит: “Бросайте”. СД поднимает кусок глины и бросает вниз. И МД бросает. И все подходят, нагибаются, берут в руки комки и бросают их — туда, на бабушку.

Потом в круг возле могилы вошли двое могильщиков и стали быстро сбрасывать глину лопатами. Быстро. Холмик сделали. Воткнули в головах маленькую стелу с металлической дощечкой. Круг шире стал. Откуда-то сбоку могильщики внесли ванночку и поставили ее рядом, на то место, где я раньше стоял. Это, оказы-

вается, была дедушкина могила. И на ней все основательно потоптались... Вот они снова рядом — дедушка и бабушка. Дедушка родился в 1878 году, умер в 1951-м, а бабушка родилась в 1880-м, умерла в 1965-м. Кто-то позади меня сказал: "Безвременно". Что, простите, я не понял, как это "безвременно"? Как это? Куда вы? Уже? Все? Нужно идти? Так быстро? Но я же еще не успел... Идите, идите! Дайте мне побыть одному! С бабушкой! Вам не понять. Я один остался. Чего "нельзя"? Почему нельзя плакать? Кто сказал, что нельзя плакать? Да, я плачу. Но прошу вас, оставьте меня одного. Дайте мне побыть с ней. Она же ушла, а я остался. Нет, у меня не истерика, я просто хочу... Да идите же вы к черту, оставьте меня в покое. Прости меня, бабушка, пойми, я не потому плачу, что ты — там, а потому, что я — здесь...

20.

Ладно, оставим этого парня возле этой могилы. Он ведь даже не упал на желтую мокрую глину, а стоит у чужой ограды, схватившись руками за зубцы и уткнув в руки голову. Он потому и спрятал лицо, что не хочет, чтобы его видели.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ

ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ

"РУССКИЙ РОМАН"

Место действия — Москва. Время действия — безвременье 60-х. Герой романа — "лишний человек", опять лишний, совершенно лишний в современной России — просто порядочный человек. Не аристократ, не пережиток прошлого, а человек из самых глубин нынешней советской жизни. Сюжет его судьбы составляют любовь и измена, сума и тюрьма, сладкая мысль о мести и ранняя гибель. Напряженный сюжет, глубокий психологический и социальный захват, тончайший пейзажный рисунок выделяют "Русский роман" Э. Кузнецова из множества книг, посвященных современной русской действительности.

Цена книги в мягком переплете — 12 долларов (в Израиле 7 долларов), в твердом переплете — 15 долларов. Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", ПОВ 7045, Рамат-Ган, Израиль.

**СОНЕТ**

Томительно проходят дни за днями,  
И каждый день на завтрашний похож,  
И на сердце ложится временами  
Рассудочности каменная ложь.

Две-три разлуки в памяти найдешь —  
И то не впрок. Забвенья правит нами.  
Я разучилась плакать. Отчего ж  
Вдруг залилась внезапными слезами?

Куда спешить? Дышу я не спеша,  
Но словно пашня, горькая душа  
Все так же ненасытно просит влаги.

И слезы на губах все солоней,  
И горечь оттого еще сильней,  
Что чувство не доходит до бумаги.

**ДУХОТА**

Стояло душное лето,  
Была духота во всем:  
В тенях, в проблесках света,  
Утром, ночью и днем,

В каждом вздохе гардины,  
В лампочке, что светла,  
В платье, знойном и длинном,  
С пылью она плыла,

В бое часов сердитом,  
Хрипнущем на стене,  
В окрике домовитом  
Женщины в том окне,

В дочках ее капризных,  
В муже, что скучно пьет,  
В старческих укоризнах —  
"Долгонько смерть нейдет",

В сонном тепле, где двое —  
Их дыханье слилось —  
Разведены духотою,  
Руки их спали врозь...

В каждом спокойном доме  
(Может быть, и в раю),  
В долгой комнатной дреме,  
В долгом баю-баю...

В беличьих шубах, шубках,  
В пудреницах, в губах,  
В девичьих круглых юбках,  
В хрусте новых рубах,

В каждой слабой пушинке,  
Дышащей в зеркала,  
В каждой гладкой морщинке,  
В простыне, что бела,

В нашем хлебе насущном,  
В мертвых вещах, в живых,  
В снеге, в снеге идущем,  
В грохоте мостовых,

В этих дворцах хрустальных,  
Сделанных из стекла,  
В этих сердцах печальных,  
Знавших — что жизнь прошла...

Ушел. И букетик дрожит на ветру.  
Как мог ты уйти? Как могла я остаться?  
Как мне тяжело. Мне сегодня — шестнадцать,  
И заново кажется: нынче умру.

Ушел. Это значит — погодка по нам...  
С перрона, как вновь, одиночеством веет, —  
И новые годы ведут по домам,  
Как старые девы, судя и черствея.

Ушел. Это память уходит во мрак,  
В тринадцатый день декабря, понедельник.  
Кто выдумал нас? Благородный чудака?  
Досужий мудрец? Сумасбродный бездельник?

Кто выдумал нас? И быть может, за миг,  
В тот миг, когда руки откроют объятья,  
Как он невесом, мой зеркальный двойник,  
Как хохот, как холод в проталинах платья!

Я холод глотаю. Я праздную вновь  
Настой этот, наст недовзрослости терпкой.  
Мне только шестнадцать. И — зелена кровь!  
И зря меня зрелые жены не терпят.

Сон стих. Так стихает веселье в дому.  
Так просят докучных — быстрее возвращаться.  
Там — рук не целуют! Там — только шестнадцать!  
Дам ночи проспаться, а утром пойму...

И вспомню: перрон, твой букет, толчею,  
И тетку твою: "Помирились бы, братцы!"  
Полжизни стою — как могла я остаться? —  
У крайней сосны, у весны на краю.

И заново кажется: нынче умру.  
Как мне тяжело. Мне сегодня — шестнадцать.  
Как мог ты уйти? Как могла я остаться?  
Ушел. И букетик дрожит на ветру.

\* \* \*

Я томлюсь без причины,  
Озираюсь окрест:  
То ли – выпьет кручина,  
То ли – скука заест.

Все в себе замечаю,  
Вечно настороже.  
От горчайшего чая  
Не пьянею уже.

Неотвязный и праздный  
Пожилой разговор.  
Где ты, многообразный  
Сумасшедший простор?

Строчки, строчки и строфы –  
Это ль вехи пути?  
От житейской Голгофы  
Никуда не уйти.

И души напряженья  
Жду, строку теребя,  
На пороге движенья,  
На пороге – себя...



*Юрий Милославский*

**"КУКЛОВОД –  
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!"**

(Театрально-литературные материалы)

Видимо, рано мне вспоминать — я еще ничего не помню.

Даже не знаю, откуда взялся на мою голову этот плешивеющий с низкого лба угрюмый дядя, одержимый приступами бешенства и одиночества.

Что ж ты, начальник, тычешь мне в нос воняющую проявителем-закрепителем дрянную фотку из оперативных, не являющихся судебными доказательствами, материалов — этот? этот?! говори!!!

— Не было меня там, не было, понял? Не было. Не видал... Дай хоть очухаться, успеешь... Ладно. Ладно!

**ВОБЩЕМТАК**

Список замеченных мною лучших опечаток нашего времени возглавляет нечто из предисловия к тому избранных сочинений Зигмунда Фрейда — под редакцией Евгении Жиглевич (Лондон, 1969), — а именно:

истОрики страдают своими воспоминаниями.

Правдивая, но простенькая мысль-диагноз, — в неопечатанном виде принадлежавший некогда старинному фрейдовскому приятелю и сослуживцу д-ру Брейеру, — врачебное бо н м о, все сту-

© by Yuri Miloslavsky

дики в восторге, а девица Х., изъязвленная псевдостигматами, — та, что никак не может забыть и вспомнить вида обнаженных папиных яиц, — наконец-то здорова; в который раз перечитываю я тебя, опечатка, — и так, и этак, и спереди, мой друг, и сзади — вплоть до бесконечности, представленной в виде вялой тушки цифры “8”, символически изображающей — в придачу к номинативному своему значению — озаренные призрачным светом газового рожка крупные лиловые железы отца девицы Х.

Полно, опечатка ли?

Фуфлыжная лапша, свисающая — на манер расплавленной оправы от очков — с ушей читателей Флавия, Светония, Бокля, М. В. Нечкиной — и истории СССР под общим руководством академика Дацюка.

Вполне могу представить какого-нибудь Флавия, страдающего от воспоминаний детства и юности, но неужто и М. В. Нечкина — туда же? нет! Как говаривал К. С. Станиславский: “Не верю!” Не верю я ни в какое равенство перед лицом психоаналитической историософии.

Что такое “дацюк-по-фрейду”? Уверяю вас, чепуха, даже наркотерапией под гипнозом ничего не добьетесь, поскольку утверждено министерством просвещения в качестве учебного пособия для ВУЗов.

Запомним это — и перейдем к одному из моих ложных воспоминаний, которыми я страдаю.

Начало спектакля Харьковского Государственного театра кукол им. Н. К. Крупской в его стационарном помещении.

В роли Гриба — артист Стефанов, в роли Скатерти-Самобранки — артистка Сиволгина. Художник — Е. Гуменюк. Мастер кукол — Андрющенко. Режиссер — Заслуженный деятель искусств Украинской ССР Виктор Андреевич Афанасьев. Здравствуйте, дорогие ребята.

Досюда — все обстоит правдоподобно, но хитрость в том, что здороваться в зале не с кем: вместо дорогих ребят там находятся только я и мои комплексы. Мы затаились в последнем ряду, — вернее, в конце центрального прохода на приставных стульях за нарочито растянутой портьерой, куда доносится клочкотание гниющих внутренностей завэлектрощехом театра Анатолия Освальдовича Клеменса, пришедших проконтролировать правильность падения света на сцену.

Спектакль продолжается. Зеркало сценического пространства

принимает в себя Платье Форменное — артистка Ж. Каменецкая, Мышку — артистка Н. Пармякян (фигурка в порядке, а рубильник — с Казбек), Чудовище-и-Принца — артист Милославский.

Скатерть-Самобранка угощает присутствующих.

А видели ли вы когда-нибудь, как обычная тростевая кукла пытается изобразить процесс принятия пищи?

До начала шестидесятых годов усредненный персонаж советской кукольной сцены изготовлялся предельно натуралистически, — будь то хоть Волк пополам с Лисицей, копрофоб Мойдодыр или Дядя-Степа — акромегал. Говорящая модель умывальника со вставными глазами, вылущенными из глазниц инвалидов Великой Отечественной войны... Такая штукавина могла бы превратить самых устойчивых из коллектива дорогих ребят в неуспевающих историков, но спасала малая величина чучела, видного из зала без пронзительных деталей.

... Так как о н о ест?

Твердый, покрытый телесным, протезик ладони параличными прерывистыми зигзагами приближается к картонной тарелке, зачерпывает кусочек н и ч е г о — и пускается в обратный путь, причем внезапно вся рука чучела ни с того ни с сего выворачивается в локте — второй инсульт?! — но выздоравливает, и полная ничего ладошка со щелкающим звучком сталкивается с губами из лакированного папье-маше, выпяченными, словно для дружеского поцелуя в задницу. Артист издает имитацию небывалого вкусового удовлетворения.

Вот так оно ест.

... А я и мои комплексы (ложное воспоминание!) открываем стрельбу из коротких черных автоматов с дырчатыми муфтами у исхода стволов — по желтому свету софитов, что немедленно сменяется на перламутровую сирень люминесцентных театральных чудес...

О нет, никакого истечения клюквенных соков не последует, никто из нас не истратит с трудом выкраденные боеприпасы на кукольные балдешки, — это вам не папины яйца в стигматах! Мы бьем в глухо хлопающую под попаданиями малиново-черную плюшевую грядку сцены: на уровне скрытых там артистических животов.

Пустеет, — и только Гриб, подпрыгивая так, что проволочная держалка вылезает на отсутствующую публику, еще держится: его исполнитель артист Стефанов — опытный боец: и в советской,

и в немецкой армиях успел посражаться внаглую. Но вот — исчезает и Гриб.

Наступает состояние, известное под именем тишины. Невидимые во мраке, сыплются с наших колен на паркет последние тихие гильзы. Состоялось.

Из-за кулис выходит заведующая педагогической частью театра Белла Марковна. На шее у нее висит кулон: пресованная Нефертити — подарок Виктора Андреевича, недавно возвратившегося из Каира, где он в течение года создавал для тамошних людей национальный кукольный театр (см. Театральную Энциклопедию: Афанасьев В. А.).

— Дорогие ребята, — произносит Белла Марковна. — Спектакль окончился. Прошу всех, как хороших детей, без шума!!! без крика!!! выйти из зала и взять свои вещи в раздевалке. До новых встреч.

Конец ложного воспоминания.

.....



Я был зачат в ночь с 31 декабря 1945 года на 1 января 1946 года — после праздничного ужина, организованного моим будущим отцом для моей будущей матери в ресторане “ЛЮКС”.

О, ресторан “ЛЮКС”, давно я тебя не посещал... Далеко переться, до закрытия не успеешь. А прежде бывало — тогда как нынче!

Нет нынче того, чтобы пройтись отстраненно и полизначительно, обеспеченно и хладно, снисходительно, полусонно и туманно — до приличного ресторана “ЛЮКС”, не поворачивая головы и не поднимая длинных ресниц зайти, небрежно скинуть на простертые клешни холуя черную шелковую епанчу с нежлобскими бриллиантовыми застешками, оправить двумя пальцами черную же полумаску и галстук — и приблизиться к столику, за которым ждет тебя Мурка в кожаной тужурке...

... Поскольку желающих красиво встретить первый послевоенный год оказалось немало, моему будущему отцу не удалось раздобыть отдельного столика. Молодая пара совсем уже было собралась отведать принесенные им на тарелках продукты, как старший официант подвел к их укромному уголку еще двоих посетителей: юношу и женщину средних лет. Любезно поздоровкавшись и поздравив с наступающим, юноша и женщина уселись напротив моих будущих отца и матери — в ожидании, покамест и ихний заказ, также состоящий из продуктов, вынесут из подсобного помещения.

Мой будущий отец, джентльменски воспалась, предложил моей будущей матери не приступать к еде без сотрапезников. Моя будущая мать, будучи голодной, тем не менее согласилась. Выпив вина из бутылки, относящейся к заказу моих будущих отца и матери, новые знакомые разговорились. Их непринужденную беседу прервал оркестр ресторана “Люкс”, заигравший вальс, известный всем присутствующим по оборотной стороне пластинки “Летят перелетные птицы”:

В городском саду играет городской оркес...

На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мес...

Юноша, легко отшвырнув в сторону тяжелую ресторанный стул, почистив пинжак, пригласил мою будущую мать на тур танца. Та согласилась.

Мой будущий отец и женщина, пришедшая с юношей, который пошел танцевать, остались за столом, чтобы проконтролировать принос заказа, а также, чтобы уже имеющиеся на столе продукты не украли другие посетители.

Кружась, моя будущая мать спросила своего партнера:

— А почему вы свою жену не пригласили? Все-таки первый танец, новый год и проч.

— Какая там жена?! — юноша даже изменился в лице от негодования. — Какая там!? Она у буфете работает, в ее еды много. А я

обучаюся в институте, мне питаться надо? — надо! Вот я и живу с ней.

Впоследствии наша семья больше никогда не встречала юношу, зато женщина оказалась буфетчицей именно той школы, где я учился с первого по седьмой класс.

Этот, если можно так выразиться, параллельно моему бытию скользящий сюжет (я постарался изложить его языком и стилем современной прозы) не переставал тревожить меня — с того самого момента, как он стал мне известен. Сначала — увлекло меня в направлении ложно-мистической образности: вот, мол, через годы и годы, к нам в дом приходит (мы находим на лестнице) умирающий старик (умирающего старика). Он-то и оказывается. Замкнулся сюжет? Замкнулся, но уж очень посредственно, в пору за него премию Даля из Парижа требовать через мировой суд департамента Сены-и-Луары.

На самом же деле все проще. Юноша был — Раскольниковым нашего времени, приспособившим к новой реальности свои цели и задачи. Действительно, ведь убийство доброй буфетчицы не принесло бы ему ничего, кроме бессмысленных хлопот и огорчений, а занятия в институте, которыми юноша так дорожил, пришлось бы прервать, по крайней мере, на три-четыре года: до амнистии.

Но все же — почему? Почему Родя-диссидент не попытался раздобыть у Алены Ивановны денег мирным путем? Это было бы значительно остроумней и естественней. Возьмем, к примеру, Германа из "Пиковой дамы". Этот немецкого происхождения молодой военный инженер и не думал нанести физический ущерб графине Анне Федотовне. Напротив, он даже взвешивает возможность сделаться ее любовником, и только опасение, что кадрез может затянуться надолго, заставляет его поступить несколько более экстремальным образом... Ах, как совпадают уголками эти две истории — даже бедных воспитанниц Алены Ивановны и Анны Федотовны зовут одинаково — Лизаветами... Но чистый и асексуальный Раскольников и не приблизился к германновскому цинизму — лучше уж по темечку. Впрочем, и тот и другой одинаково бесповоротно решили, что "так этого оставить невозможно — что-то придется со старушками делать..."

С тех пор и подпирают кариатидообразно две мертвые бабки моральные устои нашей словесности, — и неизвестно: кто прав? кто поступил изящнее?

Но, доведись мне писать сценическую переработку для кукольного театра, — наложил бы я “Преступление и наказание” на “Пиковую даму” и вот уж Родя, распространяя аромат своих пресловутых носков, лезет в спальню графини, держа в зубах самоучитель карточной игры, а Германн, задумчиво глодая гусиное перо, составляет записочку для олигофренической Лизаветы: “Дорогая, постарайтесь под любым предлогом уйти из дому такого-то числа в такой-то час. Я окончательно решился и приду убивать старушку. Ваш...”

(Текст, начинающийся словами: “Я был зачат...”, кончающийся словами: “... убивать старушку. Ваш...” на 2 (два) стандартных листах писчей бумаги изъят при выемке материалов по делу о распространении заведомо ложных измышлений, порочащих в извращенных формах и в особо крупных размерах классическую русскую, советскую, стран народной демократии и прогрессивную зарубежную литературы.)

.....

А. И. Куприн в рассказе “Как я был актером” приводит слова А. П. Чехова: “Более актера истеричен только околоточный (страдает своими воспоминаниями.— Ю. М.). Посмотрите, как они оба в царский день стоят перед буфетной стойкой, говорят речи и плачут”.

Известные события, происшедшие между встречей Чехова с Куприным — и моим появлением в кукольном театре в качестве ученика актера, значительно усугубили эту грань артистических натур. И если — с небольшим напряжением — представить, что Антон Павлович и Александр Иванович дожили до наших дней, были реабилитированы и наняты Виктором Андреевичем для написания кукольной постановки “Поединок у Ивановых”, — то звучать бы остроумному чеховскому пассажиру в наших кулуарах с прежней злободневностью, быть ему упомянуту в самиздате под рубрикой “Сталинисты не унимаются”.

Околоточные же — остались далеко позади, и в театральной среде выглядят прожженными оппозиционерами-скептиками с дулей в кобуре.

Пуще того — даже тещы лекций о международном положении попадали у нас впросак. Их специфическая доверительность и лукавая осведомленность, с успехом завоевывающие любую ауди-

торию, — в нашей, театрально-кукольной, истолковывались как наглая антисоветская вылазка, глумление, надругательство. Бывало, что лектора прерывали на остром месте: “Вы простите меня, товарищ, но я думаю, что выражаю мнение всего коллектива нашего производства... Да, и у нас производство! Мы все здесь — работники идеологического фронта, мы (дрожь-дрожь-дрожь!) каждый день на переднем крае борьбы. И неправильным будет осмеивать многое святое из того, с чем...”

Этот диковинный реагж, равного которому не встретишь и в подпольном клубе пенсионеров-ветеранов МВД, буквально разлагал лектора вместе с его лекцией на составляющие экскременты, и он медленно сползал с возвышения, растекался, таял — наподобие Снегурочки под автогенной сваркой.

Лишь после многих проб и ошибок нашли постоянного лектора и для нашего театра.

Это был плотный, судорожно-шустрый носач с добела выпученными голубыми глазами по фамилии Козовой. Известен он был тем, что его чуть было не посадили в сумасшедший домик за пропаганду войны, но потом пожалели; долго посылали с лекциями только в отдаленные колхозы области, где он полюбился местным ребятишкам за умение виртуозно имитировать звук взрыва ядерных устройств.

Артист дядя Мойша — ответственный месткома за проведение мероприятий, — с язвительно-горделивой по адресу антисемитов усмешкой на лице со следами бывшего благородства, подробно представлял коллективу товарища Козового, упирая на его интернациональное имя-отчество (к сожалению, забыл). И Козовой начинал так:

— В своей статье “Сальто-мортале господина Джонсона”, посланной мною несколько дней назад во всесоюзный “Блокнот агитатора”, — республиканские каналы в этом смысле недостаточно... — так я там отметил осторожненько. Цитирую: “Сальто-мортале, то есть смертельный прыжок зарвавшегося американского президента, может закончиться так, как заканчивались все прыжки подобного рода: Джонсон ломает себе шею на бескрайних просторах нашей Родины! Если уж он забыл о бесславной судьбе гитлеровского отребья, чьи лавры в кавычках не дают ему покоя, то пусть вспомнит хотя бы уроки истории — Чудское озеро, Полтаву, Бородино!”

В этом месте его обычно прерывали аплодисменты, и лектор, отклонив незаслуженную им оvation, продолжал:

— У меня в статьях подобные фразы зачастую карандашиком, карандашиком! Но вам, товарищи, я привожу свои мысли полностью. Нам-то нечего принимать во внимание дипломатические условности!

После лекции задавались вопросы.

Сводились они, собственно говоря, к одному: когда? Давно ведь пора! Когда?! Хоть приблизительно, намеком — мы поймем!

Но ни-ког-да не отвечал товарищ Козовой на этот главный вопрос современности. И только по напряженности его лба видно было, что он — знает! Что непрерывно, днем и ночью, получает он секретнейшие сообщения непосредственно в кору головного мозга, и возможно даже — является Главкомандующим всеми вооруженными силами стран Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи, — невзирая на имя-отчество (не помню! сказал ведь, что не помню, чего привязались?).

А наши артисты лезли ему в душу, требуя невозможного.

... И не говорите мне, что люди театра — мастера притворяться, не приписывайте облыжно им тайномыслия и трагической раздвоенности души — результата генетических, скажем, дефектов и того — о, едрена мать! — того многотонного пресса насилия и страха, который тоталитарный — сучара позорная! — тоталитарный режим обрушил на каждое — змеина! — каждое челсердце, стонущее под его гнетом; но стоит лишь самому слабенькому росточку (или, там, дуновению) — того, как мы все тотчас же воздвигнемся и вознесемся, на лекции ходить перестанем! да, впрочем, и раньше, и всегда мы-то, — поэтому не стоит...

Не знаю. Не застал.

Одно знаю и застал: нигде не приходилось мне сталкиваться с такой поистине ошеломляющей концентрированностью либидинозной энергии, направленной на государственный и общественный строй СССР, нигде! — кроме как в театре кукол. И чувство это было одновременно по-детски трогательным и светлым, по-женски безоглядным и жертвенным, по-мужски суровым, но справедливым. Прибавьте к этому юношескую горячность и порывистость, девическую стыдливость и диковатость, материнскую нежность и доброту, стариковскую мудрость и опытность — вот теперь есть у вас шанс получить определенное представление о силе и характере Эроса, пронизывающего мой театр...

Никогда не забуду юбилейный вечер, посвященный двадцать пятой годовщине существования нашего предприятия.

Старейший работник артист дядя Петя зачитывал фрагменты из юбилейной докладной записки, составленной фундатором-основателем — неким Струменко. Сам Струменко из-за общей расслабленности присутствовать не мог. "В годы Великой Отечественной войны, — писал фундатор, — театр, спасая от поругания честь вдовы и соратницы великого Ленина, эвакуировался в районы Урала..."

Скорбно притихли артисты.

А полный хохота пузырь, что распер мне глотку, начал с тихим шипением уменьшаться, покачиваясь и увядая, — словно головка новорожденного гидроцефала, проколота иглой шприца в руках неумелой медсестры... Мне становилось все несмешнее и несмешнее, — а было мне восемнадцать лет, и еще в школе меня предупреждали педагоги, что смехуечки до добра не доводят.

Кукольный театр — школа жизни?

.....

Угодил я туда благодаря Алику Басюку.

Басюк — достойнейший представитель неизученной сразу-послевоенной богемы — веселый несчастный человек, трепло, гениальный импровизатор ерунды, знаток Гумилева, алкан, хромой, одноглазый — друг и брат; восемь лет зоны за длинный язык, а затем — неменяемое житие: дома ждет старушка-мать — интеллигентная маразматичка с запахом мочи сквозь "Ландыш серебристый" (Алик с нею иногда дирывался), стихи, стихи, стихи, тройняк и зубной эликсир (дело обычное, запечатленное, учтенное) — и Алик говорит, говорит, говорит, — даже страшно, — читает наизусть "Путь конквистадоров" и — каждый раз по-иному — написанную в лагере ораторию-поэму, посвященную семидесятой годовщине со дня рождения И. В. Сталина — заказ, данный молодому культурному з/к Басюку лагерной ПВЧ...

Я запомнил лишь начало, где скелет иностранного коммуниста поет такую песенку:

Верны Сталину до гроба,  
Пизданемся с небоскреба!

В этой же оратории впервые завизжало:

Ах, огурчики —  
Да помидорчики!  
Сталин Кирова пришел  
В коридорчике!

Но, конечно, это — Алик мог и подслушать, у кого-то перенять: он был стихийный классицист, а для классициста, как известно, никакого разделения на чужое и свое в Создании Прекрасного — не существует.

... Десять лет, как из дому. За всех, кто дома остался — спокоен. А вот за Басюка — боюсь. Живой? помер? Затаптали в слякоть казенной обувью? Забили для смеха роскошными башмаками и, увидев, что издох, затолкали в телефонную будку?

— Ребята, не бейте, что вы, давайте я вам лучше стихи почитаю! В Генуе, в палаццо дождей есть старинные картины, на которых странно схожи с лебедями бригантины...

Спаси и сохрани. Спаси и сохрани. Спаси и сохрани.

Не знаю, где, в какой подворотне, в каком сугробе попался Алик Басюк Виктору Афанасьеву — и был им поддержан материально, за что Виктору Андреевичу много чего простится. Хотя... После XXII съезда ихней партии возник среди номенклатурщиков от литературы, искусства, идеологии и прочей метафизики своеобразный почин: оказать некоторую поддержку пострадавшим. Как бы там ни было, но в 1961 году сочинил Басюк для кукольного театра детскую пьесу "Индонезийская сказка", а в 1963-м — инсценировал для той же цели популярный роман второго-степенного сотрудника КГБ, прикрепленного к полубратской Финляндии, Марти Ларни "Четвертый позвонок". Этот позорный акт, возможно, что и лишил Алика морального права принадлежать к литературе нравственного сопротивления, зато — спас его года на два от голода. В то время как остальные нравственные сопротивления мерли, что мухи на своих дачах, коснеющими от авитаминоза руками держались за рули "Волг", едучи предсмертно в Коктебель, Пицунду и Палангу...

В. А. Афанасьев. Откровенно говоря, должность главрежа куктеатра в нестоличном городе — номенклатура не omnipotentная. Но Виктор Андреевич вел себя, словно он — по крайности — министерством мировой культуры заправляет: щеголял в пошверкивающих костюмах, носил перстни, еб малолеток прямо в кабинете, обставленном полированной мебелью, пил кофе из микроскопической фарфоровой стопочки, разговаривал с ка-

ким-то эстетско-пригородным прононсом (дзевушка, гуляйтце) — вызывая тем самым у подчиненных трепет, смешанный с уретральным обожанием. Мог и матцсерком послатцсь — этак по-братцски...

И я его любил, признаться. Люцифер его знает — было в нем нечто пахановое, мафиозное, — и голова у него варила, даже парок адский из ушей шел, хоть на первый взгляд — курнос, сероглаз, белес, умеренно жирен... На таких — положиться хочется затаенно, надежду относительно их питать: либо он по-соборному, по-коренному, по-ядреному рванет на себе натурального крахмала воротнички, встанет на перепутье — и возопит: “Соотсщесцтвенники, тцесно мне! С’час самоограничусь и раскауся на хуй!!!” — или, наоборот, по-демократическому, по зашитоправчеловеческому, по-жидомасонскому поглядит на тебя внимательно, снимет трубку с телефона, чтобы догматики не могли нарушать собственную конституцию — и альтернативно предложит: “Не желаете ли вы подписать псевдонимом анонимное открытое письмо в районное управление культуры с копией в ЦК компартии Италии о необоснованных недостатках?”

Но — нет. Пока нет. Не вопит, не предлагает. Вероятно, сложная внутренняя работа в нем еще не закончилась, не переродилась ткань души в благоприятном направлении.

А Басюку — помог. Вполне достаточно.

... Алик направил меня наниматься осветителем: об актерской карьере я и не мечтал.

Но в кабинетике финансового директора — фанерная выгородка под лестницей — сидел ладный мужичок, похожий на постаревшего Бабеля: бывший комик Одесского еврейского театра Финеас Сушон. Позырив на меня с веселой безнадегой, он спросил:

— Ты, молодой человек, в драмкружке участвовал?

— Да... Назара Стодолю играл в пьесе Шевченко, Дон-Жуана, когда вечер памяти Пушкина устраивали.

— Назара Стодолю, — повторил он за мной; тысяч пять подтекстов запрессовал Финеас Сушон в этом повторе, — и поскольку я отличался тонкостью душевной организации, то сразу понял, что думает он о Назаре Стодоле, его прославленном авторе, его читателях, обо мне самом и т. д....

“Шевченко же не виноват, что так получилось!” — чуть было не сказал я вслух.

— И Дон-Жуана? — отвлекся Финеас Сушон от бессмысленно-

опасной темы. — Так зачем тебе осветителем идти? Попробуйся на актера. И зарплата на пять рублей больше: осветитель у нас пятьдесят пять получает, а ученик актера — шестьдесят. А потом тарифицируем тебя — будешь, может, семьдесят зарабатывать.

Непонятное слово "тарифицируем" убедило меня, что будущее мое — на сцене. И понеслось, и понеслось, и понеслось...

.....

Едем.

Поздняя осень корячится за окнами автобуса, приседает, юроствует, срывает колеса с осей, а то подпрыгивает и, клякая крыльями, опускается на серые стожки-брикеты, расшвырянные по обеим сторонам бездорожья. Громадные грачи, громадные вороны, хоть плачь, а хоть кричи в небесные ворота... Херня: раз поздняя осень, то грачи, разумеется, улетели. Да еще какие-то ворота! А так: сгину, сдохну, околею, мутным крылышком звеня. По пути на Балаклею — ледяные зелена. Вполне. Разве что едем мы не совсем в Балаклею, а в близлежащий колхоз, названия которого не знает и сам администратор — сложный человек с четырьмя волосками на лысине и тремя — на носу. "Красные зорьки", "Путь победы", "Имени II-го съезда Советов". Не суть важно.

Едем.

Шофер наш — третьего класса. Автобус — на грани самопроизвольного развинчивания. Декорации, составленные в зыбкую кучу за нашими спинами, дребезжат и кренятся. Ящики с куклами стоят в проходе. Иначе говоря, громоздятся.

Нет, не критикую я, не разоблачаю, не вскрываю — а люблю это дурное дело, которое и делать-то толком не умею — ни таланта у меня, ни терпения, одна любовь. Разве что воспою когда-нибудь потом... Не жалею я, что рисовать не могу, на пианинах играть не научился, но горько мне, что не стал я кукловодом. А дядя Мойша мне говорил: "Ты какер, боярин Милославский, шмок ты! Я ж стараюсь из тебя человека сделать! За свои стихи ты шкурку от хуя не получишь, разве что в тюрьму попадешь. А когда выйдешь — тебя ж ни на какую работу не возьмут, кроме как в кукольный театр: мужских голосов — а голос у тебя вполне приличный, — всегда не хватает. И поэтому ты, должен научиться водить это говно так, чтобы сразу!-понял?-сразу взять любую палку — и на сцену!"

Вот он сидит, дядя Мойша, — свалывшаяся сединка, железные

очки, где вместо правой дужки проволока на нитках. Ремесленник, жестянщик-лудильщик.

Был он знаменитейшим и великолепным первым любовником все того же Одесского театра — на сцене и в окружающей действительности. Когда отменили и театры и действительность, актеры попроще и побеспомощней — позагигались, рассеялись, исчезли, а дядя Мойша — попер на российскую сцену, одной силой воли вытравил из речи дядимойшин, космополитский акцент...

Вот он спит, отклеившаяся нижняя губа обнажает грубые стальные зубы — и поживиться с него нечем.

Едем.

А на переднем правом сиденье автобусика — сидит семья; дядя Вася и тетя Таня. В молодости служили они на украинском оперном театре; весело им было, интриги, кулисы, запорожцы за Дунаем. Но загнали в лагеря руководителей того прославленного театра, всех ведущих режиссеров, всех основных авторов — за кровавый буржуазный национализм. Вовремя спохватились дядя Вася и тетя Таня, сбежали от неизбежного, перешли в разъездной театр оперетты. Но и там началась борьба с врагами. Пришлось довольно уже известным и неплохим актерам — сползти пониже: в гастрольную филармоническую труппу. Война, Урал. Тетя Таня и дядя Вася отпели пять лет — и с победой вернулись... Не-е-т, х о т е л и вернуться. А их ни в какую оперу, ни в какую оперетту — не берут. Успели б они до войны закрепиться или превратиться в заслуженных, останься у них хоть какая-нибудь поддержка, — ну, всех же посадили! — нашлось бы и для них место... Но, чтобы стать полноправным, истинным и профессиональным артистом кукольного театра — человека должно настичь нечто непоправимое. Лучше всего, чтобы вся твоя жизнь, дом, планида и знак Зодиака превратились в мелкую, жальщую ладони, крошку: не починить, не склеить, не реконструировать. И заиграли Мойша, Вася и Таня в тростевые и петрушечные куклы. Кстати, водить куклу они не умеют — слишком для этого эмоциональны-театральны: вместо кукол сами прыгают, а если чрезмерно увлекутся, то утанывает кукла за грядку по шею или нагло высовывается, обнажая несвежие рукава кукловодов. Но есть в нашем театре два великих кукловода — дядя Петя и дядя Гриша. Одним движением проникают они зрительское сердце, вгоняют в неостановимый хохот.

Едем.

Автобус воеет. Администратор мертвенно-спокоен: никуда мы, голодранцы, не денемся, отыграем что положено. А положено нам сегодня отыграть “Аленький цветочек”, где я — в роли голоса Чудовища-и-Принца. Самое Чудовище — маска и лоскутный мешок с рукавами — исполняет Вита: тихая тридцатилетняя тетка без прошлого, будущего, настоящего, мужа, детей. Без всего. Ей предстоит стоять на коленках на столе, покуда я буду рычать в рупор: “Как посмел ты сорвать цветочек в моем саду-у-у!!!”

Наш помреж — начальник труппы — Володя Стремовский еще сравнительно недавно работал надзирателем в концлагере. Когда командование заметило у него склонность к театральному искусству, оно послало его на какие-то краткосрочные курсы массовиков без отрыва от производства. Володя стал старшим воспитателем и руководил зональным драмкружком. В этой же должности перевели Володю в концлагерь более перспективный, в район города Грозный. Там Володя покинул опасную свою службу — и возвысился до завклубом. Готовился к поступлению в театральный институт, мечтал о стойком амплуа социального героя (Мересьев, Стаханов, Человек-с-ружьем). Но повстречали Володю вечером его бывшие воспитанники — и треснули его по чану обрезком водопроводной трубы. Володя выжил, но страшный удар каким-то образом повредил ему глаза. С той поры он ходит в очках “минус четырнадцать”, и никуда ему больше податься, кроме кукольного театра...

Едем?

Сорок пять километров за два с половиной часа. На пересечении бездорожий автобус матерно тормозит.

— Где будем ехать, Исаак Абрамович? — голосом, полным праздного любопытства, осведомляется незаинтересованный лично шофер.

— В колхоз.

Администратор Исаак Абрамович заколачивает четыреста рублей в месяц. Официально.

— В какой колхоз?

Исаак Абрамович достает из портфеля блокнотик, вчитывается.

— У меня записано — колхоз. Что это значит? Что есть где-то здесь всего один колхоз.

— Так где ж мы будем ехать?

Творческий состав труппы молчит. Ненавидит Исаака Абрамо-

вича за высокие доходы. Ненавидит помрежа Володю Стрёмовского за его должность. Ненавидит шофера за то, что тот не знает дороги, хулиган, алкоголик! А я веселюсь, ибо в театральной своей жизни ценю н а к л а д к и; ширма, например, свалится и откроет всю нашу кухню, в школу для глухонемых или слепых играть направят (было — раза три), ночевки в пионерских лагерях, где пионервожатые и ряд пионерок покрупнее обожают молодых актёров с выигрышной фактурой; или распить с дядей Мойшей бутылку — и обезуметь от его монологов:

— Слушай, какер! Вот — смотри: я — иду. По улице. Такой маленький жидочек, беззубый, вонючий, пальтишко засратое, хуй его знает из чего пошитое. Старичок, абгамчик, бля... А мне навстречу прут — молодые, здоровые, хазера ебанные, ку-да там, бля... А я себе иду — и думаю: "Ничего, хазер! Ты ж у меня сегодня придешь в театр — и я ж тебя закручу — как я сам хочу! Захочу — будешь ты у меня плакать, захочу — смеяться будешь, пока не усышься в новые трусы!" Понял, Милославский?! Поэт! Сидит, фраер, курит дли-и-инную папиросину и о шиксячих сиськах стишки сочиняет!.. Мудак ты, ни хуя не знаешь — ни о об жизни, ни об искусстве! Пацан ты еще, швонц!

... Невдалеке от нашего автобуса показываются трое: в резиновых сапогах, увеличенных грязью, в телогрейках. Шофер не успевает раскрыть дверь, а администратор — рот, как внезапно пробуждается от спячки артист Гробин — нервный, рыжий, свято чтущий театральные традиции. На вопрос о месте работы Гробин отвечает так: "Я служу на областном театре". Определение "кукольный" опускается... Гробин выглядит экстравагантно: на нем клетчатый пиджак, галстук-бабочка, платочек из кармана торчит. Разговаривает он хриплым шепотом — простудился на гастролях своего настоящего "живого" театра, голос потерял — и попал к нам... Итак, Гробин решил принять активное участие в поисках верного пути в колхоз. Он с натугой открывает окно — все ахают, — высовывается и выдает: "Послушайте, к р е с т ь я н е, где здесь у вас клуб?"

Наконец-то хохот.

— Не понимаю вашего смеха, — говорит артист Гробин. — Мы живем в государстве рабочих — и крестьян!

Все начинают уверять всех, что засмеялись просто от неожиданности...

А с поисками верного пути по-прежнему не все благополучно:

предполагаемые крестьяне, не услышав гробинского шепота, продвинулись дальше и скрылись в тумане (а где им прикажете еще скрыться, если туман на дворе?!), и шофер начинает ехать по интуиции...

Приехали.



Рабочий сцены, помреж и верноподданные из группы сгружают деревянные составные рамы — ширму, стояки для декораций и сами декорации. Куклы появятся попозже, когда натянута грядку: чтобы зрители, увидев изнанку бытия, не разочаровались. Мы находимся в длинном мокром бараке, возведенном из толя, гнилой фанеры и дранки. Сцены как таковой — нет. Десятка два садовых скамеек, своеобразный портрет Ленина работы неизвестного художника-экспрессиониста с уклоном в плакатность, естественный лозунг о том, кому что принадлежит...

— Я не могу в таких условиях создавать образ, — всхлипывает старушка Валечка.

Условия малоблагоприятные, все устали, так что Валечкина претензия может вызвать бунт. Администратор стреляет без глушителя...

— В годы войны нам приходилось выступать перед нашими бойцами и в худших условиях.

Валечка в ужасе бросается к ширме, быстро-быстро вяжет бесчисленные узелки на ее крепилках. С годами войны у нее сложно: где-то она не там выступала, не перед теми бойцами...

Все готово. Вита сразу переодевается Чудовищем: теплее будет. Администратор обменивается с какими-то, невесть откуда возникшими, мелкоответственными лицами, денежного свойства квитанциями. Зрителей – нет. Не привели.

Здоровенный гад в имперском полушубке (председатель безымянного колхоза) посылает кого-то за зрителями.

Не проходит и часа, как в "зал" загоняют мокрую толпишку о тридцати-сорока головках: школьников гнали развлекаться за четыре километра по дождю.

Здравствуйте, дорогие ребята!



Сначала немного о себе. Я служу в университете. Это служба как служба и состоит из двух. Одна половина отрабатывается в помещении университета. Я прихожу на работу, делаю свое дело и ухожу. Никаких особенных приключений при этом не происходит. Иной раз бывает, что физически тяжело, иной раз бывает и скучно, но в целом не вызывает возражений. Если особенно не придирайтесь и глубоко не влезать, если не вдумываться на досуге перед сном, если не заниматься этим мерзким самокопанием, то, пожалуй, хотя и с некоторыми оговорками, никак не абсолютно, разумеется, а относительно, сравнительно, служба имеет смысл, что ли, или я уж не знаю.

У меня никогда не возникало желания всерьез бросить службу. С точки зрения науки, конкретной пользы, общественной морали да, пожалуй, и совети служба не вызывает протеста у спокойного гражданина, привыкшего к повседневному, может быть, маловразумительному, но чистому и недаровому труду. Бывает, идешь по коридору, а студенты идут тебе навстречу — здарсьте, Иван Иванович, здарсьте, Петр Ильич, здарсьте, Захар Эмильевич. Уважение студентов тоже много значит.

Но сильно беспокоит вторая

*Олег Кустарев*

**Я ЧИТАЮ ЛЕКЦИЮ  
НАСЕЛЕНИЮ**

половина службы, народ знает, что я имею в виду. В нее-то и входят лекции населению, о которых разговор.

Лекция! Каждый день, в любую погоду, в любое время рабочего дня по всей стране тысячи служащих, хмуро взглянув на часы, поднимаются со своих рабочих мест и, застегивая на ходу верхнюю одежду, направляются к выходу, покидают служебное помещение, выползают на улицу, садятся в метро или в автобус, а то и в такси, едут на другой конец города, рыщут по незнакомым кварталам в поисках других учреждений или предприятий, к которым они не имеют никакого отношения и о которых они до сих пор слыхом не слыхивали, поднимаются на разные этажи, проходят, озираясь, по длинным коридорам, отыскивают комнату с нужной табличкой, приотворяют дверь, суют внутрь голову и, поздоровавшись, вежливо осведомляются, не здесь ли товарищ Иванов.

Узнав, что Иванова на месте нет, но будет скоро, они вытягивают голову обратно в коридор, долго и внимательно смотрят на часы, как будто с трудом понимая, что они показывают, озабоченно поджимают губы и, закурив сигарету, начинают слоняться по коридору два метра туда — два обратно, поглядывая на всех проходящих мимо и пытаюсь угадать нужного им товарища Иванова.

Но Иванова нет и нет. А ведь сказали, что скоро будет. Жизнь течет мимо по коридору, и только моя жизнь увядает, прислонившись к стенке. Так можно и до обморока достояться, упасть, разбить себе голову, угодить в больницу, пролежать там две недели, схватить из-за плохой работы персонала воспаление легких, а то и ревматизм — вот чем это может кончиться. И почему, ради чего? Бессмысленность события в том, что я жду Иванова, который мне вовсе не нужен, чтобы договориться с ним о мероприятии, которое мне не нужно и подавно. Хорошо еще, что время, которое я теряю, в сущности, тоже мне не нужно, а кроме всего прочего, я это время у них потом отберу запросто. Они мне легко его отдадут: им не нужно мое время, да и возвращать они будут не из своего кармана, и вообще время, которое они мне отдадут, они же и выиграют. Тут сложные отношения, сложные...

Где этот свинья Иванов? Это такое же его мероприятие, как и мое. Мне наплевать на него не меньше, чем ему на меня. Почему я должен лишний раз за сутки толкаться в трамвае, чтобы, не дай Бог, не опоздать на эту идиотскую лекцию? Почему я должен бо-

яться сорвать мероприятие, которое я от всей души хотел бы сорвать? Но я уже не знаю. Единственное, чего я точно хочу, это поскорее проскочить, отбарабанить, отстоять свое, подписать бумажку, сесть на перила и домой. Ах, сатана, где этот партийный кобель, где он шляется, куда провалился, где застрял? Здесь его служба или не здесь?

Сам не заметишь, как опять взбеленишься, хотя только что вроде неплохо себя уговорил. В ярости хватаю ручку двери, рву на себя, хочу просунуть голову, а на меня оттуда лохматый и лысый, весь запотевший:

— Привет!

— Здрасьте, пожалуйста!

— Это вы?

— Действительно я. И вы, что ли, здесь?

— Ха, и я здесь. Перевелся, понимаешь...

— Так то ж была мебельная фабрика.

— Так что?

— А тут — типография! Почему перевелись-то?

— Оно, может, и типография. Да ведь я по кадрам. Мне без разницы, чем они тут занимаются. Производство — не мое дело. А вы-то, а вы? Фигаро сперва здесь, потом уже Фигаро там?

— Какой Фигаро?

— Ну, известно какой. А я вот да, перевелся. Такая наша служба. Однако прошлый раз вы чего-то другое нам давали. Леса мира? Не соврал? Я лекцию помню. Сам заказывал.

— А почему перевелись? — опять я, желая сбить его на другое.

— Да, понимаешь, уговорили. Ну и к дому ближе. А в общем, надоело. Там, понимаешь, общественными нагрузками задавили. Именно что задавили. Здесь тоже, конечно, но попроще. Тут, понимаешь, парторганизация посильнее будет. А там что — раз-два, директор да я.

— Четверть четвертого, — показываю я на часы.

— Зайдем сюда.

Мы заходим, и я замечаю, что из этой комнаты есть дверь не только в коридор, но и куда-то еще. Бешенство охватывает меня. Я живо представляю себе, как торчу в коридоре и час, и два. Так можно вроде кафкиного героя всю жизнь на одном месте прокантоваться, а потом окажется... А ведь этот-то идиот как из стены вышел. Вот так мотаешься из одного сарая в другой, и везде один и тот же герой, словно тень, отделяясь от стены...

Лекции — странная разновидность суеты. Каждый день, в любую погоду, в сырую слякоть сентября, под психоватый вой городской зимней метели, на губительной июльской жаре, по колено в плывущих ошметках весеннего снега, в разьеженных и задавленных автобусами крупных городах, в лежащих вповалку под заборами деревнях, в райцентрах, гордо раскинувшихся вокруг промтоварных стекляшек, — везде спуют лекторы. Несущие знания люди волокут свой научно-популярный багаж, чтобы повертеть им перед вылупленными, прищуренными, стеклянными, оловянными, деревянными, красными, тупыми, хитрыми, насмерть перепуганными и наглухо закрытыми глазами стоголавого пожирателя знаний. На широкой арене Труда и Досуга исполняется нелепый спектакль Знания, дурацкий танец Просвещения, омерзительный фарс Информации. Человеческая история набита безобразиями, как пятичасовой троллейбус номер 7, сорвавшийся с проводов на углу Садовой и Невского. Все в ней было. Такого еще не было.

Дело обстоит следующим образом. Существует общество “Знание”. Общество со своим бюджетом, своим административным штатом и со своей рабочей задачей: распространять. Это общество по **распространению** держит в цепких объятиях многие множества народа: тысячи, десятки тысяч, сотни, тысячи тысяч, кто считал? они считали? Я не считал. Кому интересно, пусть взглянет в их отчеты, а я не хочу. Я и так вижу, какая это паутина, какая яма, каменный мешок, какая сила — необоримая и страшная. Когда-то — я, кажется, еще помню когда — пребывало в этом мире **знание** — красивая же вещь была, залюбоваться можно. А теперь это институт, общество, горилла, барракуда, птеродактиль.

У них есть страшный план, охватывающий все население, где бы оно ни жило, где бы ни спало, где бы ни пряталось. Им безразлично, кто охвачен: из клиента может сыпаться песок, пусть от него разит перегаром, нехай он пешком под стол ходит. Пропахшие машинным маслом, дешевой отечественной пудрой, лесными опилками, канцелярской пылью, карболкой или собственным потом, употребители Знания тащатся по длинным коридорам, железным фабричным лестницам, через загроможденные тяжелым мусором заводские дворы, чтобы занять стулья в каком-нибудь кабинете, в красном уголке, бытовке, каптерке, иной раз просто на лужайке, в котельном помещении, в огромных дышащих вековым холодом клубных залах, заполнить собою любое временно пустующее пространство и внимать, прислушиваться, слушать, разинув рот или

уши развесив, выкатив в каком-то странном неживом любопытстве глаза или закрыв их вовсе.

Кто гонит этих людей? Ну, а кто гонит нас, лекторов, выступающих, пальщиков, говорильников, информаторов, Агентов Знания, Ангелов Просвещения, дезинформаторов, диффаматоров, знатоков, экспертов, приобщенцев, профессуру кислых щей, Министров Любознательности без портфеля?

Лектура — племя многочисленное и разношерстное. Я встречал несколько разновидностей лектуры.

Самой яркой и колоритной особью в этом танцующем зверинце будет, пожалуй, лектор-профессионал. Ибо в этом балагане есть и энтузиасты-специалисты, то есть добровольно избравшие эту форму существования, выступающие не за страх, а за совесть, при том, конечно, что совесть оплачивается не хуже страха. Бытовую любовь к деньгам они сочетают со святой страстью покувыркаться на публике. Больше всего этот отряд представлен видом международников. **Международник** — это лектура, читающая наизусть сказку про международное положение Советского Союза, то есть про белого бычка. На этой ниве растут самые закоренелые трепачи. Но и настоящих ученых тут тоже не мало.

Якобы знание распространяют. Я скажу, что они на самом деле делают. Они себя выставляют. Красуются, собаки, своей грамотностью перед обманутым народом. Между прочим, одно маленькое апропо к слову. Ни одна из этих грамотных собак не в состоянии построить по правилам и договорить до конца русскоязычную фразу. Как эти спинозы диалектику учили не по Гегелю, так эти Цицероны риторика учили не по Плеваке, нет, не по Плеваке, это уж точно. Ну, и онкель Фрейд, конечно, за ними скучает.

Страсти правят людьми. Лектура — существо страстное. В образе лектора перед нами человек, рвущийся из курятника анонимности в лебединый полет персонификации. Ведь лектора представляют. Разводящий так буквально и говорит: "Сейчас перед вами, товарищи, выступит доцент университета, кандидат вертикально-горизонтальных наук, профессор кислых щей, автор более ста сочинений, изложений и диктантов, Петр Иванович Добчинский". Все остальные, сидящие в зале, — просто товарищи, как, скажем, пассажиры в автобусе, или очередь к психиатру, или экскурсия на лоно Эрмитажа, а я — Добчинский, персональный. Радость называния — словно радость рождения. И произнес Господь имя, и вдохнул жизнь в мертвый облик, и стал быть я.

Призванный таким способом к жизни кусок дерьма наслаждается тем, что существует, тогда как все вокруг него — еще только тени нерожденных. Но это наслаждение, увы, длится недолго. Смутно ощущает сын Аполлона и прекрасной Экскремины, что громогласное и легкокрылое Ф И О есть и у остальных. И в свой час оно будет оглушительно произнесено то ли на партийном собрании, то ли в отделении милиции, то ли на перекличке в многолетнем стоянии за автомобилями, то ли (и это самое завидное) на страницах газет. На миг обретенное счастье различения и возвышения в различии тускнеет и жаждет реанимации. В обществе имущественно равных, одинаково нищих и убогих, что делает тебя иным, нежели остальные? Специальная начинка твоей головы — ничего больше. Ощущение того, что ты один в целом свете маракуюшь в биоценозах, в машинном языке, в эффективности технического прогресса, в Пушкине-Лермонтове, в полезных и вредных грибах, в котлах и турбинах, в балете и в кордебалете, в фиглях и в миглях, в кислых щах, наконец, согревает еле живую душу специалиста. Вот для того, чтобы слегка отогреться, и тащится лектор-энтузиаст на бутафорскую трибуну, на картонные подмости, откуда кованным у кузнеца голосом будет изливаться свое соломенное знание на ватную аудиторию деревянных придурков.

Далее. Среди того, что знаешь ты и не знают все остальные, есть нечто такое, что особенно приятно знать, когда другие об этом не знают. Твое превосходство над толпой как специализированного мозгляка меркнет в сравнении с твоим преимуществом перед той же толпой как обладателя **тайного общего** знания. Здесь придется удариться в тонкости. Какое такое "тайное общее знание"? Если оно общее, то почему же оно тайное? Нонсенс как будто получается? Никак нет! На самом-то деле есть даже две разновидности тайного общего знания. Первая разновидность — это то, что знают все, но говорить об этом вслух не могут. То есть могут у себя на кухне, на кухне — это ерунда на постном масле, черный ящик для хранения картофеля, черная дыра, сковородкин домик, скворечник с мышками. На кухне все можно, только это не считается. На людях нельзя.

Народ как бы соглашается промеж себя считать: то, что "Иван — дурак" — "тайна". Так вот, лектура, когда треплется перед народом, получает некоторое право сказать вслух какую-то тайну. Ну, например, специалисты по сельскому хозяйству могут

работникам полей раскрыть ту замечательную тайну, что ихние поля перестают рождать урожаи. А специалисты по воздухоплаванию допускаются к раскрытию тайны, что новейшие летальные аппараты не только деньги жрут, но и необходимую для жизни атмосферу. А историк прогресса и кашалот-международник однажды (каждый раз) сообщит, что Сталин удавил табакеркой Кирова. И так вот каждый может раскрыть народу по одной-другой тайне. Самые же интересные тайны раскрывают опять-таки международники-носороги. У них вообще-то таких тайн полная корзина, они могут вынимать их оттуда целый вечер с завязанными глазами, потому что куда там науке до политики. Последняя окутана тайной круглый год с ног до головы, наподобие Фарерских островов, которые, говорят, от вечного тумана не высыхают. Так и дела Советов, особенно заграничные. Туман и дымовая завеса.

Раскрытие подобных тайн на лекции — реприза, корень, гвоздь, пункт всего устного выступления. Лектура, приближающаяся к моменту раскрытия тайны, начинает ходить гоголем, перестает сморкаться, щеки у этой лектуры розовеют, голос крепнет, очки потеют, подбородок все более решительными скачками идет вверх и вверх, и тогда, если ты сидишь на общих стульях, слушай в оба, проснись, подыми голову и открой рот, сейчас птичка вылетит. Сейчас, вот сию минуту, барон де ля Красноречительство, маркиз а-ля Любознательство разродится секретом, чего-нибудь брякнет. И как только он брякнет, все многозначительно посмотрят друг на друга и мысленно скажут "ого-го". А может быть, и шум по залу пройдет. Иной раз даже одобрительный шум. И лектура соляется с массой в оплодотворительном приобщении к тайне.

Есть и другая разновидность тайного общего знания. Это то, чего покамест вся улица еще не знает. Но решено, что пускай теперь будет знать. Некое сведение долго-долго скрывалось. За его распространение, может быть, по крайней мере, так рассказывают, не то чтобы посадили, но, во всяком случае, а впрочем, можно так считать, что даже и посадили некоторых товарищей. Но вот на складе государственных тайн прошла новая ревизия, и парочку тайн решили отпустить. Лектуру тогда вызывают на склад, выдают ту или эту тайну под расписку, а уж лектура ставит спектакль Рассекречивания. Вот смех-то, ей-Богу, а? Но лектуре не до смеха. Серьезная, как ученый медведь, бежит на задних цыпочках лектура в отданную ей на откуп овчарню и, разогнавшись на всяких тра-

ляля, бросает, как бомбу, или там, как ежа, что ли, Разрешенную Тайну в зрительный зал, который так и ахнет.

Лектура гордится своей функцией. Нате, быдло, получите из моих рук! Но вместе с тем на этом оселке к быдлу и подольститься можно. Вот, мол, дорогие друзья, мне доверено сообщить, а вам доверено от меня получить кое-что такое, от чего ведь и волосы дыбом встанут.

Все эти курбеты проделывает лектура в собственное удовольствие, отчасти не забывая и публику.

Главную сторону работы лектора-профессионала я рассмотрел. Есть еще некоторые пустяки, например, деньги. Некоторые простодушные циники фыркают на лектуру, прозрачно намекая на ее монетарный голод. Они заблуждаются. Свойственное человеку заблуждение! Конечно, не будем отрицать, деньгам жизнь отводит в нашей жизни не последнее место. Но следует с грустью признаться, что и далеко не первое. Если бы живущие вокруг нас люди все мерили бы на деньги, то было бы в мире все ясно и понятно, но зато никакого театра мы не видели бы. Вообще не было бы в нашей жизни театра, а Комедии и подавно. Хотя есть писаки, которые готовы выставить на смех все что угодно, даже и трезвый расчет, совершенно очевидно, что в трезвом-то расчете как раз ничего смешного и вообще театрального нет. Деньги, уважаемые г-да, никаким театром и никакими страстями не пахнут. Если они чем-нибудь и пахнут, то только цифрами, среди которых особенно вкусно пахнут нули, хотя цифры от одного до девятки неплохо пахнут тоже. Я человек ученый. Мне денежное общество понятнее, мне его легче предвидеть и предсказать, а как научник я в первую голову хлопочу об этом. Но ведь большинство товарищей любят не наукой развлекаться, а комедии смотреть, а еще лучше — в них участвовать. Правда, в последнем случае они согласятся участвовать только тогда, когда сами не подозревают, что Комедианты. Помнится, один из наших поэтов кинул такую довольно пошлую фразу: "Все мы, если по правде, плохие актеры в театре Господа Бога". Святая истина, истинная правда, умри, лучше не скажешь.

Совсем забыл насчет денег. Возвращаюсь к деньгам. Никто, разумеется, не враг собственного денежного интереса. Покажи человеку сотню, и он в нее зубами вцепится. Деньги любят все. Даже психи, когда речь заходит о пенсии, совершенно теряют голову и стараются отхлопотать себе как можно побольше. А уж

на что, казалось бы, не от мира сего. Но погодите, не надо спешить. Проведем мысленный эксперимент. Предложите Иванову выступить задарма по радио без объявления фамилии или же, наоборот, со сцены с предварительным объявлением. Он, конечно, выберет второе. Теперь предложите ему за анонимный радиобенефис деньги, а за личное выступление ничего. Бьюсь об заклад, что деньги он не предпочтет с ходу и безоговорочно. Будет, скорее всего, примерно так. Во-первых, значительная часть из ста Ивановых вполне резонно скажет в уме (а то и вслух): “Не в деньгах счастье”. И правильно скажет. Будь здесь сейчас такой всегда мудрый К. Прутков — и он бы с этим согласился, сказав что-нибудь вроде: “Деньги согревают карман, а уважение — душу”. Другая же часть Ивановых согласится на первое сильно в зависимости от той суммы, которую им предложат. Причем многим придется дать на лапу довольно много, чтобы отвлечь их от возможности лично выступить на публике. Из чего и будет ясно, что помимо денег в жизни человека есть и еще кое-что святое. Не хлебом единым, как говорится.

Теперь отвлекусь от сложной природы лектора-энтузиаста и переиду к более тусклому варианту “лектора между прочим”. Этот читает лекции реже и в основном по принципу “почему бы и нет”. Обычно это солидный научник, часто уже известный в широких профессиональных кругах, а иной раз и в народе. И у него, конечно, есть страсть выступать — все мы люди, и он тоже. Но его страсть уже сильно удовлетворена. Ему перед всякой шпаной делать нечего. Представьте себе, что уважаемый музыкант Эмиль Гилельс поедет выступать в школе-интернате города Медвежьегорска после того, как ему рукоплескали зрительные залы Нью-Йорка и Одессы. Вот эта лектура как раз думает о рациональной выгоде, хотя зарабатывает на лекциях значительно меньше, чем профессионал-энтузиаст. Она часто вообще работает за мелкие льготы натурой. По поводу лекции можно съездить в другой город за чужой счет, пожрать в хорошем ресторане за чужой счет, наконец, не надо самому гостиницу доставать — сама в руки плывет, а коллеги, пригласившие звезду, еще и на пикник в экзотический ландшафт свозят. Одним словом, приятностей много, хотя и мелких. В общем и целом, лекция для него — небольшое развлечение. Между прочим, среди этой породы масса халтурщиков. Энтузиаст тоже халтурит, но в ином смысле. Он в святом смысле халтурит. Он не знает, что халтурит. Абсолютно не знает. Даже если и знает,

все равно не знает. Он, может, друзьям за рюмкой иной раз и говорит, что, дескать, ну и халтурщик же я. Но на самом деле он просто хочет выставиться перед друзьями более умнее, что ли. Он не знает, не верит, что халтурит. Он держит себя всерьез. Весь этот дурацкий спектакль вообще не состоялся бы, если бы актеры не делали его всерьез. И нам, Лева, не над чем было бы смеяться и нам, друг Лева, было бы скучно жить. Выпьем за них, Лева. **Наливай.**

Лектор же по принципу "почему бы и нет" халтурит сознательно, со всем возможным цинизмом. Это значит, что аудиторию он презирает или даже хуже: не замечает ее. Опять-таки прямой контраст энтузиасту. Энтузиаст без аудитории ничто. Он весь работает на аудиторию. Пусть он относится к ней свысока, но это отношение свысока вроде как отношение мужика к бабе: призирать-то он ее презирает... Лектура, выступающая "между прочим", задета лишь слегка подобными фрейдическими чувствами. Лектор высокого полета не хвастается своей квалификацией: она заведомо выше, чем у аудитории. Он не выставляет напоказ свою особую осведомленность насчет государственных тайн. Он допущен до таких тайн, которые будут подлежать разбалтыванию только лет через десять, а то и через миллион. Нет, у него другой сценический жанр. Он разыгрывает перед публикой Пустую Комедию Барства. Он, дерьмо собачье, барина из себя строит. Он говорит тихо, едва рот открывает, улыбается снисходительно. Глядит-глядит на публику и вдруг отвернется и начнет говорить только своему импресарию, тутошнему светиле, который его для нас специально из Москвы мягким вагоном приволок и на сцену вывел. И смеется еще. Я заметил, когда это бывает. Это бывает, когда он нам выкладывает что-нибудь такое, о чем они, специалисты, каждый день, может быть, между собой на **каледоре** базарят. Он такой позой как бы извиняется перед коллегой, что вынужден простому народу подобные общеизвестные вещи как большую новость рассказывать. Эх, барин, барин, хоть ты и барин, а дурак.

Ну вот и все, с посторонними я разобрался. Теперь с большим удовольствием расскажу про третью разновидность лектуры, лектуру поневоле. Это самая жалкая, самая комическая лектура. К этой разновидности принадлежу и я сам.

Я не пошел бы читать лекции по собственной воле. Я правда не вижу в них никакого смысла. Если вдуматься, то совершенно не понятно, зачем все это делается. Эффективность лекций населения, насколько я мог заметить, близка к нулю. Слушатель из

всей лекции обычно выхватывает одно-два сведения, которые почему-либо оказались ему интересны, и это все. Между прочим, лекции — не последний поставщик материала для народной мифологии. Прислушайтесь, о чем говорят в народе, когда ведут друг с другом развлекательные беседы на досуге, за столиком в ресторане, в купе спального вагона, у костра и т. п. В процессе, так сказать, чистой коммуникации, занимаясь “прекрасноговорением” (удачное выражение Т. Манна). Если вы бывали на лекциях, тем более если вы их слушали, одним словом, если вы знаете всю эту кухню, то в аморфном устном творчестве ежедневно просвещаемого народа вы обнаружите своего рода “меченые атомы” лекционной пропаганды. Например, миф о японцах, которым вот уже лет двадцать питается духовная жизнь интеллигентного простонародья. Это очень яркий пример. Совершенно очевидно, что ни одна лекция не обходится без упоминания о подвигах этого супернарода. Из лекций мифическая фигура все умеющего японца перешла в народный фольклор. А уж после этого любой лектор считает своим долгом как-нибудь пройтись насчет японца, потому что знает: народ это любит, народу это нужно, народ просыпается, когда слышит слово “японец”.

Лекции — бессмысленны. Самый пытливейший ум не отыщет в них ни грана целесообразности. Можно, конечно, думать, что распространение знания как процесс ведет к распространению знания как состояния. Но это неправда. Болтовня лектуры никого не просвещает, никого не делает грамотнее и умнее, никому ничего не дает. Это пустое сотрясение воздуха. Когда спрашиваешь себя, откуда в этом мире берутся столь очевидно бессмысленные вещи, то невольно возникает мысль о нашей богооставленности, что ли. Хочется смеяться холодным стеклянным смехом над этой жуткой комедией, которая то ли комедия нравов, то ли божественная комедия, то ли просто какой-то замороженный беспорядок, состоящий из множества сказанных и застывших в воздухе слов; нечто вроде остановившегося снегопада; или это похоже на взлетевший в воздух склад металлолома, которому некуда упасть; или же это пляска смерти. Шум в шкуре информации, как выразился бы какой-нибудь лектор печального образа, спускаясь по грязной лестнице в вестибюль, где половина лампочек не горит, дверь заклинило и уже никогда отсюда не выбраться, никогда, никогда...

Весь этот призрачный балаган безостановочно вертится потому, что некогда было решено нести знания в народ. Еще раньше было

решено, что народ жаждет знания. Потом придумали, что личность должна быть гармоничной, а поскольку она явно становилась все более односторонней, ее стали приобщать ко всяким лишним знаниям.

Но про старые замыслы и идеалы давным-давно позабыли. И осталась существовать никому не нужная говорильня, единственный смысл которой в том, чтобы подкармливать некоторых малоимущих бездельников, подбрасывая им несколько десятков в месяц, и давать им некоторое социальное удовлетворение.

Я терпеть не могу эти лекции, эту мерзость. Я их терпеть не могу, и я лектуру терпеть не могу. Когда я слышу слово "лекция", моя рука тянется к пистолету, которого у меня нет, но который есть у того, кто придумал для меня эту грязную работу. Когда нежный женский голос звонит мне по телефону и говорит, что надо прочесть лекцию, я отвечаю:

— В самом деле? Я очень занят теперь, и кроме того...

— Нет, нет, вы не можете отказаться, — сказала моя вербовщица.

— Дорогая, — выдал я из себя.

— Иван Петрович, вы очень, очень меня подведете, слышите. Я вам не разрешаю. Иван Петрович, я вам не враг, я вас знаю, я вас много не беспокою, вы уже полгода у меня не работали.

— У меня с горлом, голубушка, плохо.

— Так ведь, как говорится, у всех с горлом плохо.

— Побойтесь Бога, Марья Петровна.

— Я-то боюсь, вы не боитесь. Нет, Иван Петрович. На этот раз придется поехать. Я вас в этом году уже три раза спасала.

— Два.

— Нет, три.

— Нет, два.

— Да вы сами знаете, сколько раз я вас спасала. Три раза — это только те, о которых вам известно. А ведь помимо этого...

— Ну, хорошо. Только ради вас. Больной, усталый, в такую по году...

— Прекрасно. Значит — договорились. Записывайте, куда ехать: ПМК-14...

— Это еще что такое?

— Как будто не слышали? На луне, что ли, живете? Передвижная механическая колонна № 14. Тема: "Судьба африканских лесов".

— Что, что?

— Иван Петрович, это **ваша** тема.

— Может быть, и моя. Но зачем этим гаврилам африканские леса?

— Они так захотели.

“Они так захотели”. Вот вам сильная деталь лекционной жизни. Сидел, сидел **треугольник** этого злополучного ПМК, затерянного где-то на задворках областного центра, курил папиросы, составлял план общественной работы на март месяц одна тысяча девятьсот лохматого года и придумал, что ему позарез нужно знать, какая судьба у африканских лесов. Подумать о собственной судьбе им на ум не приходит. Комедия.

— Мария Петровна, а как я туда поеду? Это ж, наверное, даль несусветная.

— Да, это далеко. Мы организуем вам машину.

— Ну, спасибо.

— Без шуток, Иван Петрович.

Вот так. Нельзя “спасибо” сказать, чтоб не подумали, что издаваешься. А я не шутил. В самом деле, машина — это прекрасно.

Шофер приехал за мной, конечно, с опозданием. На мое робкое замечание он пожал плечами и сказал: “Нагоним”.

Мы погнались, что есть силы куда-то из города, повернули несколько раз и, попав в общество грузовиков, продолжили свой путь все дальше и дальше, через еще не достроенный микрорайон, мимо складов, каких-то мелких предприятий кирпичной казенной архитектуры с дымом и паром, валящим из щелей, и вечными грудями сломанных и брошенных механизмов. Потом, как чудо, с правой стороны возник новенький стеклянный цех с длинной партийной надписью наверху, и наконец мы выкатились из города. Дорога пошла по пустырю. Лишь местами по сторонам шоссе мелькали почерневшие от дождей дощатые заборы и клоки лысых кустиков теснились к кювету, как будто хотели выбраться на торную дорогу и пойти по ней вдаль, то ли к городу, где лучше кормят, то ли в деревню, где легче дышится. Нет страшнее пространства, чем между городом и деревней. Деревня вымерла, а город еще не народился. Кладбище и мусорная яма. В самый разгар этого участка прямо посреди дороги выросла пушка, памятник военных лет, мы объехали ее по закруглению и с новой силой рванули дальше. Я забеспокоился.

— Далеко еще? — спросил я.

— Сказали: ПМК-14, — ответил шофер.

— Я знаю, — мне стало еще спокойнее, — а как далеко-то?

— Теперь уж близко, — сказал шофер.

Между тем вдоль дороги пошли избы. Старые, с кривыми крышами и крошечными оконцами, продолговатые бараки, аккуратные домики с огородами и сараи, сараи, сараи, поленницы дров и мотоциклы у калиток. Минут через десять мы стали.

— Вон ПМК, — шофер указал за обочину.

— Ладно, — сказал я, — постараюсь побыстрее, за час управлюсь, даже за сорок пять минут.

— Нет, — сказал шофер, — я ждать не могу.

— То есть?

— Не могу. Я от филармонии. Мне к четырем артистов везти.

Ну не бред ли? Филармония, артисты, африканские леса... Я понял, что спорить не надо, вздохнул и вылез на дорогу. Шоссе было покрыто тонким слоем жидкой грязи, я перешел через грязь вброд и осмотрел ПМК. Передо мной было обшитое досками строение в один этаж с высоким крыльцом. На крыльце стояла собака. Из-за крыльца вышла женщина с ведром и в ватных брюках, посмотрела на меня, поднялась на крыльцо и скрылась, со страшным грохотом закрыв дверь. Я пошел за нею.

В помещении было сыро и душно. По бокам коридора было несколько дверей с табличками. У одной стены стояла садовая скамейка, и на ней сидя спал один старик. Я вошел в дверь с табличкой "приемная" и сказал:

— Здравствуйте, я прибыл для чтения лекции населению.

— Иван Петрович, — позвала секретарша, и в приемную кабинета тотчас же выскочил майор.

Ну, не бред ли опять? К филармонии, африканским лесам и бабе с ведром добавился еще майор и зовут его так же, как меня.

— Отлично, отлично, — радовался между тем майор, — прошу вас сюда.

Мы прошли в кабинет и сели на стулья. Кабинет был намного меньше приемной. Там был стол и над столом портрет министра обороны. Куда же я попал?

— Эта колонна работает для военных, — объяснил майор.

— Значит, слушать будут солдаты.

— Да нет. Работают тут гражданские. Местные. Аудитория слабая, это вы учтите.

— Учел. Только скажите, ради Бога, зачем им знать про африканские леса?

— Как зачем? Пусть слушают. Вы не думайте, народ любит слу-

шать. На той неделе приезжал, например, товарищ из университета, рассказывал про заполярных птиц. Народу понравилось. Или вот про Атлантику сообщал товарищ. Как вы думаете, летающие тарелки на самом деле или так, брешут?

— Не знаю, ей-Богу, я не специалист.

— Жаль. Народ все равно вас спросит. Как добирались-то? Попуткой? Вы уж извините, что машину за вами не прислали.

— Была машина. Я на машине приехал.

— Не-е. Это мы должны были прислать. Только наш газик на ремонт стал. По таким страшным дорогам, знаете, ездить приходится. Вы с университета?

— Да.

— Много к нам с университета ездит. В том месяце международник приезжал. Фамилия Кул... Стул... Тал... позабыл, полный такой мужчина. От-лич-но лекцию прочитал. Как вы думаете, война с Китаем будет?

— Вы знаете, я не специалист.

— Я думаю, будет. И знаете почему? Они родятся быстро. Товарищ Киселев, вспомнил фамилию, сообщал секретные данные: их теперь больше миллиарда, им не прокормиться, никак не прокормиться...

— Как-нибудь прокормятся... народ работающий.

— Ой, не скажите, — майор встал, — мы-то с трудом кормимся, а им и подавно. Я так думаю, Мао их сильно подвел, ой как подвел. Если бы он на нас войной не пошел...

— Вы же только что сказали, что мы сами себя еле кормим...

— Э, сравнили. Тут так нельзя. Я вам скажу, Мао отошел от принципов. У нас народ разболтался. Я вам скажу, тут лектор сообщал засекреченные данные: вы знаете, сколько у нас водки пьют? А сколько прогуливают? Я вот тут команду, у меня сорок человек под началом, в большинстве женщины. Вы думаете, не пьют? Ох, как пьют. А ведь у большинства дети... Невозможно работать.

Майор встал и закурил. Руки его дрожали.

— Да, тяжело, — вежливо сказал я.

Майор сел и глубоко затынулся.

— Лучше пусть лекции слушают, чем в перерыве водку пить. Эй, Люся!

Вошла секретарша.

— Собирай народ, скажи, лектор прибыл.

Секретарша вышла.

— Специального помещения у нас нет, — сказал майор, — читаем в коридоре.

— Моя машина ушла, — тихо сказал я, — не подскажите, как мне обратно добираться?

— А на попутке. Тут много ходит. Сами увидите. А километра за полтора конечная автобуса. Можно и дойти. Редко ходит, правда. Вот расписание. О, будет как раз в три пятнадцать. Если за час уложите...

— Я уложусь быстрее.

— Отлично. Я сам хотел вас попросить. Народу ведь и поесть надо в перерыв. Мы в перерыв лекцию проводим. Я знаю, некоторые в рабочее время народ собирают, но я не могу. У нас план горит, ничего не успеваем, ни черта народ не работает. А после работы их и подавно не загнать на лекцию. Рядом все живут, в минуту разбегутся. Ну ладно, пошли, уже собрались.

Мы вышли в коридор. В коридоре сидели человек десять народу, в основном и вправду женщины, в мужских ватных брюках и в платках. Тоска разлилась по всему моему телу. Господи, подумал я, за что?

— Где народ? — весело и грозно заорал майор. — Клава, где Пантелеев? Почему Петровича нет? Валентина, твои не все здесь.

— Щас подойдут, — сказал кое-кто.

— Подождем пять минут и больше ждать не будем. Да вы не беспокойтесь, соберутся.

Действительно — собрались, приходя по одному, по двое. Я изучал их исподтишка. Их было четыре категории.

Перехожу теперь к населению. Оно в целом приятнее, чем лектура. Его жальче. Лектура — хищник. Народ, как всегда, жертва. Он абсолютно беззащитен перед натиском Просвещения. Но все равно: население тоже дерьмо: в этой комедии все дерьмо. Это дерьмо состоит из нескольких разновидностей. Первая — это лектура среди населения. Эта группа не так многочисленна. Дело в том, что все мы попеременно и лектура, и население. Как говорится, сегодня ты, а завтра я. Я, например, сколько раз сидел в рядах слушателей, тогда как мой вчерашний слушатель кривлялся передо мной. Помимо этого, что гораздо важнее, широкие слои населения представляют собой потенциальную лектуру, ибо масса рвется в лектуру. Этот странный вид самостоятельности — единственный способ выделиться из массы помимо возможности

стать членом ЦК или министром, вероятность чего, разумеется, исчезающе мала. Простой человек хочет, чтобы его знали по имени, он хочет **выступить**, а где? Я уже рассказывал про сладостные переживания активной лектуры. Так вот: те жуки выползли из массы, они носители ее театральных инстинктов. Как ни похабна лектура на сцене, она еще похабнее в зрительном зале. На морде у такого реципиента целый космос страстей: все суетливо живет — и глаза, и уши, и затылок, если присмотреться. Своим гнусным, распадающимся до состояния полного хаоса видом (я всегда думал, что эта публика — находка для кубистических портретных зарисовок) этот лектор в человеческой шкуре дает тебе, во-первых, понять, что ты отнимаешь у него свободное и рабочее время. Тебе, дескать, удовольствие попрыгать и поскакать, а я-то тут при чем? Он якобы морально выше, поскольку жертва. О! сколько тут неправды, хотя и правды не мало, уж что есть. Во-вторых, он изображает, что знает все не хуже меня, а может, и лучше, что чаще всего абсолютная неправда, но он себе верит. И я могу понять почему. Ничто не вызывает у человека более сильной реакции, чем наглая демонстрация чужого превосходства, а это неизбежный спутник каждого лекционного спектакля. В-третьих, он хочет обязательно дать тебе сигнал, что принадлежит к твоей компании, а не к компании тех, кто рядом с ним стулья занимает. Он просится в твою постель, и, значит, в его взгляде должно быть что-то льстивое. Итого получается целая вьюга эмоций: скука, заинтересованность, презрение, восторг, чувство собственного превосходства, униженность — весь психологический словарь на одном блюде. Бывает ли более похабная рожа? Не вызывает ли она приступ омерзительного смеха? Комичность усиливается еще оттого, что, в сущности, вы перед зеркалом.

Ну что ж, это, конечно, самый интересный тип. А остальные — обычные, простые без затей комические маски. Вон там в левом углу сидит гладкая маска Всезнания, сбоку от него сжалась в комочек маска Храповицкого Сна, из первого ряда вылупила на тебя глаза негаснущая фосфоресцирующая маска Любопытства, из заднего ряда уныло высовывается, вытянув подобострастную шею, маска Внимания, в правой стороне воздела очи горе и и распахнула пасть маска Скуки. А вот сидит нога на ногу маска Панибратства, из-за ее спины выглядывает маска Ненависти. Одним словом, парад природы, карнавал жизни, Общественная Комедия, Жогарт, жаль, сюда не забрел.

... Народ между тем прибывал. Появились два алкоголика в солдатских шапках, потом трое непородистых юнцов в стоптанных ботинках, пакистанских джинсах, с длинными жирными патлами до плеч. Наконец прибыли отдел кадров и бухгалтерия: пять городских штучек в меховых воротниках, полуимпортных сапожках и с перстнями на пальцах. Принесли еще стульев. Кое-кто остался стоять. "Добро", — сказал майор, и наступило время африканской гилеи. И я пошел чесать с подходящей скоростью, поглядывая для поддержания духа на часы.

Я уложился в полчаса, и майор как положено предложил задавать товарищу лектору вопросы. Не люблю, когда мне задают вопросы, потому что мне нечего отвечать. А тут как назло выискался один нестандартный цыпленок.

— Есть вопрос,— сказал рыжий молодой человек из первого ряда.

— Давай, Витя, — обрадовался майор.

Народ захихикал. Я почувал недоброе. Витя обернулся к публике.

— Ничего, ничего, Витя, давай, — снова сказал майор.

— Я вот что хочу спросить. Вот вы можете мне, этсамое, объяснить, почему мне квартиру не дают. Я, этсамое, пять лет тут пашу. И жена тут работает. Ребенок есть. Сколько мы, этсамое, в общезитии жить будем, а? У нас двенадцать метров. Можно так жить?

Я молчал. Одна канцелярская крыса махнула рукой в кольцах и зашипела:

— Садись, Витя, садись. Без тебя как-нибудь.

Я посмотрел на майора. Майор ухмылялся во весь рот. Ему было смешно. Майор-то уж знал, что этот Витя задаст свой вопрос. Витя, как видно, всем его задавал, потому что не было у него никакого другого вопроса в жизни: ему жить было негде. Я продолжал молчать.

— Витя, — повторила женщина в воротнике, — ты не имеешь права спрашивать такие вещи.

Я хотел сказать, что Витя имеет полное право, но не мог же я так сказать. **Отвечать** придется. Мне хотелось содрать с этой бабы ейные кольца и пропить их вместе с Витей, закрывшись в кабинете у майора, но об этом нечего было и мечтать. Надо было что-то сказать. А что скажешь?

— Я шесть лет точно так же жил, — сказал я Вите чистую правду.

— Ну, вот, — обрадовался майор, — не ты один, Витя, не ты один.

Витя немного нахмурился. Ответ его озадачил. Он несколько секунд неподвижными глазами глядел на меня, потом обернулся и с ненавистью глянул на окольцованную канцелярскую тетку, потом опять повернулся ко мне и сказал:

— Ну, и что? Это ваше дело. А я при чем?

Публика смотрела настороженно и ждала, что будет дальше, а может, и нет, она ждала, чтоб поскорее кончилось, а может, она вообще ничего не ждала.

— Витя, — сказал майор, — товарищ — не специалист, ты садись, Витя, садись.

Витя, что-то бормоча, махнул рукой и сел.

— Еще есть вопросы? — спросил майор

— Нету, — ответил кто-то.

— Тогда конец, — сказал майор — лекция окончена, поблагодарим товарища лектора за интересную лекцию.

— Очень интересная лекция, — сказала одна из канцелярских.

Гроыхнули стулья, и народ начал выходить. Мы с майором вернулись в майоров штаб. Майор развалился на стуле и вынул пачку папирос. По всему было видать, что он собрался продолжить свои lamentации по поводу плохой дисциплины трудящихся и китайской угрозы. Коснется и видов на урожай. Я пресек этот вариант, сунув ему бумажку.

— Подпишите, пожалуйста.

Майор подумал зачем-то и подписал. Все, я свободен на сегодня.

— Извините, — сказал я, — надо торопиться. Хочу успеть на автобус.

— Китайцы еще себя покажут, — сказал майор, провожая меня до двери. Я вышел. Из-за двери до меня донеслось опять: "Да, китайцы еще себя покажут", — и было видно со спины и сквозь дверь, как озабоченный воин бродит по своему кабинету и сокрушенно качает головой.

Что касается этого рыжего Вити, то молодец он, но и дурак тоже. Когда он мне говорит, что ему пять лет жить негде, а я ему отвечаю, что и мне шесть лет негде было жить, то тут бы ему и сообразить: ага, вот и объясните мне теперь, почему нам всем жить негде? Но какого-то механизма у них, у этих ребят, нет в мозгу. Загадали им мозги знанием. Загаженным мозгам трудно догадываться. Вот — безграмотность. Жуткое дело. А тут — африканские леса, летающие тарелки, московский балет. Боже, какое свинство.

Я шел по обочине загородного шоссе, залитого жидкой грязью, разбитого и изношенного. Машины обгоняли меня, обдавая мелкими кусочками мокрой глины и перемешанной с мазутом водой. Вымокшие и промерзшие кусты строем шли вдоль дороги. Через километр я увидел впереди столб, покосившийся павильон и несколько человек возле. К столбу подъезжал автобус. Я понял, что опоздал. Мне показалось, что я никогда не уеду отсюда и, скорее всего, здесь умру.

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ

**МАРК ГИРШИН. БРАЙТОН-БИЧ**

Широкое сатирическое полотно, запечатлевшее жизнь и судьбы "новых американцев" из Одессы, Киева, Москвы, собравшихся в грязном нью-йоркском квартале Брайтон-Бич, где жулики преуспевают, а честные люди поневоле становятся жуликами.

Цена книги (при заказе в издательстве) — 5 долларов, за рубежом — 10 долларов.

Предварительные заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим" п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ

**ЯКОВ ЦИГЕЛЬМАН. УБИЙСТВО НА БУЛЬВАРЕ БЕН-МАЙМОН**

В первую книгу бывшего ленинградского, ныне иерусалимского журналиста вошли повести "Похороны Мойше Дорфера", впервые рассказывающая правду о Биробиджане, и "Письма из розовой папки, или убийство на бульваре Бен-Маймон", насмешливо и весело изображающая жизнь советских евреев в Израиле.

Цена книги (при заказе в издательстве) — 5 долларов, за рубежом 10 долларов. Чеки и заказы принимаются по адресу:

"Foundation Moscow—Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

## ПРОЩАЛЬНЫЕ СТИХИ

Шолому Дойв-Бэру

На взгляд — не рад.  
На вид — не мил.  
И все корил, кроил и крыл.  
Я, говорил, давно без сил,  
Давным-давно без крыл,  
Я все, что было, позабыл,  
По ветру пеплом распустил  
И все хорошее скостил,  
А злое не простил.

— Тебе не жаль задуть свечу,  
Которой я себе свечу,  
Когда тащусь сквозь затхлый мрак,  
Дремучий водоем,  
Куда зашла не знаю как  
Из нашего *в двоём*.  
И удивленный смотрит зрак  
Моих недавних дней  
И выгибает бровью знак:  
Куда же вы? и как же так?  
И где же вы, ей-ей?

Нас нету, нет, и мы — не мы.  
Я признаюсь во тьму:  
Мы убежали из тюрьмы,  
Чтоб угодить в тюрьму.  
Прочнее ребер клетки нет,  
Хоть череп в черепки  
Разбейся, чтоб пробился свет  
В туннель твоей тоски.

Каким клубком какую нить  
Забросить в этот лаз,  
Чтобы вернуть и изменить,  
И чтоб отозвалась  
На звук забытых позывных  
Заглохшая душа?..

На стенах склепа на двоих  
Лишь след карандаша.  
И только гипс черты хранит  
Лица любви моей.  
Но срез у шеи не кровит  
На косяке дверей.  
Бесслезной гипсовой дырой  
Глазеет этот лик  
На то, чем стали мы с тобой,  
На тихий всхлип, на резкий вскрик,  
На каждый новый бой.

Все здесь: раскаянье и спесь,  
Поземка и метель...  
Гремучим вихрем эта взвесь  
Срывает дверь с петель.  
И из округлого гнезда  
Сюжета в эпилог —  
Из дома в омут, в мир без дна  
Швыряет за порог.

Завоеватель славный мой,  
Конквистадор, — привет!  
Горячей стужей жжет простор  
Мне щеки много лет.  
Пустыня дышит на свечу,  
Которой я себе свечу,  
Когда навстречу палачу  
Не то бегу, не то лечу,  
Когда мне жизнь не по плечу  
И смерть не по плечу.

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗНАКОМСТВА: НИНА ВОРОНЕЛЬ

*“В своих пьесах я пыталась передать калейдоскопическую картину российской сегодняшней жизни, так, как я ее вижу — вернее сказать, слышу, потому что в пьесах записаны мной голоса многих людей, молодых и старых, мужчин и женщин, мужиков и баб, трезвых и пьяных. Голоса эти сливаются в голос народа, ограбленного и лишенного как высших, так и простейших радостей жизни. И если некоторые мои пьесы наводят на мысль о театре абсурда, то лишь реальность тому виной — она ведь не подчиняется классическим канонам и часто склонна к абсурду”.*

### НОЧЬ НА ВОЛГЕ\*

#### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Шкипер — толстый мужик с бабьим голосом

Шкиперша — толстая баба решительного нрава

Рыбнадзор — хриплый, небритый мужик с богатой фантазией

Пьяный — всегда пьян

Рыбак — основной язык французский

*Дебаркадер. На палубе пусто, лишь над палубой на некоем подобии насеста сидит Рыбак с удочкой. Рядом с ним корзина с рыбой и водкой. Выходят Шкипер, Шкиперша, Рыбнадзор и Пьяный с завязанными глазами, они бродят по сцене, щупая воздух, как слепые, и натываясь друг на друга.*

#### КУПЛЕТЫ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Хоть вкось, хоть прямо, хоть налево, хоть направо  
Ни зги, ни зорьки, ни просвета, господа.  
Куда бежим, куда спешим, что ищем, право?  
Дороги нет, а если есть — то в никуда.

Глаза завязаны, но это не помеха:  
Любые двери нас выводят в пустоту.

---

\* Пьеса представляет собой обновленный и значительно расширенный вариант одноактной миниатюры “На дебаркадере”.

А в небесах Всевышний корчится от смеха,  
Взирая сверху на людскую суету.

Дни сочтены и достижения эфемерны,  
И слишком ясно, что в конце нам суждено.  
Был у Творца державный замысел, наверно,  
Но нам с тобой его увидеть не дано.

*Все персонажи, кроме Рыбака, уходят. Тихо, пустынно.  
Появляется Шкипер, он тянет сеть, следом за ним вторым с  
сетью идет Рыбнадзор.*

Ш к и п е р : Ты там сверху картошку мою не видишь?

Р ы б а к : Какую еще картошку?

Ш к и п е р : Обыкновенную, в мешке. Тут, у мостков, стояла и  
как в воду канула.

Р ы б а к : Шерше ля фам.

Ш к и п е р : Чего говоришь?

Р ы б а к : Шерше, говорю, ля фам.

Ш к и п е р : А-а, понятно. Тут, у мостков, я ее поставил. Как  
катер пришел, я с катера купил и поставил...

Р ы б а к : А ведь катер не приходил еще, силь ву пле.

Ш к и п е р : Как так, не приходил? Как же я картошку тогда  
купил?

Р ы б а к : А может, ты не покупал?

Ш к и п е р : Как так — не покупал? А где ж тогда десятка?  
Марья десятку дала — картошки купить. У ней мельче не было.  
А десятки нет. Выходит, я на десятку картошку купил. А ты  
сомневался!

Р ы б н а д з о р : (появляется с сетью) Эй, Митрий, чего за-  
стрял? Иди, давай, всю рыбу распугаешь, е-мое.

Ш к и п е р : Ты у нас над рыбой хозяин. Вот и вели ей не пу-  
гаться.

Р ы б н а д з о р : Ладно, я, как в контору приду, печать постав-  
лю — она и послушается. А пока — давай, иди вперед.

*Проходят*

*Входит Пьяный, в руке у него початая бутылка*

П ь я н ы й : (Рыбаку) Ты давно здесь сидишь?

Р ы б а к : Эскузе муа?

П ь я н ы й : Давно, спрашиваю, сидишь?

Р ы б а к : Да лет пятнадцать уже.

Пьяный : Ага. Так, может, тебе рыба моя попалаась?

Рыбак : А какая это твоя?

Пьяный : А копченая. В целлофановом мешке.

Рыбак : (вдумчиво) Нет, копченая не попалаась. Живая — всякая была: и щука, и стерлядь, и пескарь. А вот копченой не было. Она на что идет?

Пьяный : Лучше всего на кубанскую, потому что духовитая очень. Но и столичной тоже не брезгает, если придется.

Рыбак : А я как-то к московской привык, она мне лучше любой.

Пьяный : (доверительно) Я тоже раньше больше московскую уважал. Или еще лучше коньяк. Давно это было, еще до лагеря. Лет двадцать тому... Писал я тогда диссертацию, по раннему итальянскому Возрождению... Словом таким чудным его называют... Давно это было. Ранний... (бормочет) раннее море, ранний пароход... Нет, не пароход... Пароход белый, а ранний... ранний кто?

Рыбак : (просто) Ренессанс.

Пьяный : Точно, Ренессанс! Подумать только, десять лет в лагере вспоминал — и не вспомнил! А тут, пожалуйста — Ренессанс! Теперь еще бы рыбу найти и полный порядок. (двигает мебель) Может, она упала куда? (бредет вниз по трапу, бормочет) Копченая рыба, в целлофановом мешке... Надо же, Ренессанс! (уходит, с другой стороны появляется Шкиперша)

Шкиперша : Слушь, ты Митрия мово не видал?

Рыбак : Копченого? В целлофановом мешке?

Шкиперша : (вдумчиво) Не, не в целлофановом. В плаще он. Плащ он брезентовый надел, как за картошкой пошел. Пошел и пропал. Куда делся, не знаешь?

Рыбак : Шерше ля фам.

Шкиперша : Эт-точно. Выходит, был он тут?

Рыбак : Был, как не быть — все картошку искал.

Шкиперша : И задорого нашел?

Рыбак : Точно не скажу, пардон, но, похоже, на десятку взял.

Шкиперша : Картошки на десятку! (возмущенно) Я же вела сдачу принести! Небось, врет. На сдачу по бабам пошел, идол окаянный! (трясет Рыбака) Сознавайся, по бабам он пошел?

Рыбак : И что у тебя, Марья, одни бабы на уме!

Шкиперша : (не слушая) И как я только с ним живу, с

окаанным, за что мучаюсь? Ведь силы в нем никакой, а туда же — за каждой юбкой бегают. Да еще на мои кровные!

Рыбак: Ну и послала б его к дьяволу, силь ву пле.

Шкиперша: (озаряясь воспоминанием) Ты мне про дьявола не говори — я с дьяволом целый год, как с мужиком, жила. Не так, конечно, как с Митрием, — Митрий, он что — одни разговоры, а толку никакого. А тот — он мужчина из себя видный был, и голос у него, и волос кудрявый, и бровь черная, и ездил он ко мне из районного центра на лошади. Ездит себе, ездит, а мне и невдомек. Правда, мерещилось мне вроде, что запах от него серный, да думала — это он лошадиным потом провонял. (мечтательно) А что запах? Запах не беда, был бы мужик стоящий. И вот сплю я как-то и слышу сквозь сон копыта конские цок-цок! цок-цок! Мой, думаю, скачет. А он на коне в комнату въезжает, хоть дверь заперта и я ее не открывала. Въехал и посреди комнаты коня осадил, да так сурово, что тот на дыбы встал и полымя у него из пасти полыхнуло. И дым серный — так всю комнату и заволок, так и заволок! Я глаза закрыла и пальцы крестом сложила незаметно — хоть и неверующая и в комсомол записана была. И только я крест сложила, он исчез; будто его и не было — только на полу след от копыт остался. И поняла я, что он дьявол был. А ведь я с ним, как с мужем, год жила, вот ей-Богу! И зачем я только крест этот сложила — ведь больше я его не видела! Такой был мужик!

*За сценой поет Пьяный*

Пьяный: Раннее море, ранний Ренессанс!

Шкиперша: Кто там орет?

Рыбак: Этот? Это Ренессанс.

Шкиперша: Из жидов, что ль?

Рыбак: Не похоже, чтоб из жидов. Пьет как человек — столченную из горла.

Шкиперша: (озаряясь воспоминанием) Как я в школе уборщицей работала, был у нас учитель — из жидов. Грустный такой, непьющий. И стала я его жалеть. А он нежный такой был, все книжки читал. Приду я, бывало, к нему, полы помою и зову: "Пойдем, что ль, поиграем". А он в книжку смотрит и только "угу" говорит, будто и не слышит. Но так мужик был справный, только у него от шишки в детстве кусок зачем-то отрезали. Оно,

правда, дела не портило, но смешно мне было — зачем надо было резать?

Пьяный : (приближаясь)

Раннее море, ранний Ренессанс.  
Белое море, Белый Ренессанс!

Шкиперша : Где это он так набрался? Уж не с Митрием ли моим? Пойти поглядеть.

*Убегают. С другой стороны проходят с сетью Шкипер и Рыбнадзор*

Рыбнадзор : Ты скажи, е-мое, ты кефаль знаешь?

Шкипер : А что кефаль, разве это баба?

Рыбак : И много поймали, Митрий?

Шкипер : А ни хера не поймали.

Рыбнадзор : Или не знаешь, что перед заморозками рыба в сеть не идет, е-мое?

Рыбак : Так чего ж вы надрываетеесь?

Шкипер : (мечтательно) А вдруг?

*Рыбнадзор и Шкипер поют.*

#### КУПЛЕТЫ О ПУСТЫХ МЕЧТАНИЯХ

Жизнь — стервоза, жизнь — паскуда,  
Всех нас дрючит, всех нас учит:  
Если вам сегодня худо,  
Завтра вряд ли станет лучше.

Но мы сдуру верим в чудо  
И надеемся на случай:  
Если нам сегодня худо,  
Может, завтра станет лучше.

*Уходят. Появляется Пьяный.*

Пьяный : (поет)

Не искушай меня... без... без... чего?  
Не искушай... Не Ренессанс  
Меня без нужды...

(Рыбаку) Все сидишь?

Рыбак : Сижу.

Пьяный : Давно сидишь?

Рыбак : Пятнадцать лет.

Пьяный : А я семнадцать отсидел и вот вышел... (деловито)  
Это что за река?

Рыбак : Волга это, или не слышал?

Пьяный : Волга? Енисей — слышал, Воркута — слышал, а вот Волга... Может, и слышал, да забыл. Все я забыл, так что не искушай меня без нужды... Лучше выпьем. (протягивает бутылку)  
Столичной глотнешь?

Рыбак : Я свою пью.

Пьяный : Что ж, ты — свою, я — свою, и копченой рыбой закусим. (роется в карманах) Где эта рыба? Куда она делась? (заглядывает в ведро Рыбака) Это не она? (вытаскивает рыбку, говорит ей) Не искушай меня без нужды... Не ты! Та была копченая. (бросает рыбу в реку)

Рыбак : Ты что? Зачем мою рыбу выбросил?

Пьяный : Так я ее сейчас догоню. Это что за река?

Рыбак : Волга это, Волга.

Пьяный : Волга? Не слышал. Холодная?

Рыбак : Зимой — холодная.

Пьяный : А сейчас что? Зима?

Рыбак : А кто его знает — может, и зима. А может, лето.

Пьяный : Ладно, пусть хоть и зима, все равно догоню. (прыгает в реку)

Рыбак : (невозмутимо) Потонет или выплывет? Может, однако, выплывет. (всматривается) Нет, похоже, потонет. Кому какая судьба — кому плыть, кому тонуть. (поет) :

#### КУПЛЕТЫ О НЕОТВРАТИМОСТИ СУДЬБЫ

Цыпленок жареный, цыпленок вареный,  
Цыпленок тоже хочет жить.  
Его поймали, нашпиговали,  
Хотят в духовку положить.

Другой парнишка, его братишка,  
Он и богат, и знаменит,  
Его не варят, его не жарят,  
И съест никто не норовит.

Судьба — индейка, а жизнь — копейка,  
Кому наверх, кому — на дно, —  
Как ни старайся, ни трепыхайся,  
Получишь то, что суждено.

*Появляется Шкиперша*

Шкиперша : Вроде чегой-то в воду упало, а?

Рыбак : Ничего не падало, померещилось.

Шкиперша : А плеснуло вроде, — уж не Митрий мой там чудит, думаю.

Пьяный : (из реки, захлебываясь) Спасите! Тону! Спа... си... (бульканье, тишина)

Шкиперша : Кричит вроде кто, а? Иль не слышал?

Рыбак : А ля гер, как а ля гер.

Пьяный : По... мо... ги... те... (бульканье, всплески)

Шкиперша : Ты что, оглох — не слышишь?

Рыбак : Ты б полечилась, Марья, ведь галлюцинации у тебя, ей-Богу.

Шкиперша : Какой еще такой я нации? Это ты не ври — мы российские, от дедов и прадедов все мы российские.

Рыбак : Я говорю — мерещится тебе всякое.

Шкиперша : Что верно, то верно — мерещится. Иной раз не знаешь — было что или померещилось. (озаряясь воспоминанием) Вот прошлый год поехала я в область за мылом и за спичками. Да так удачно скупилась — не поверишь, мыла ящик взяла на стирку да еще туалетного три куска достала. И спичек ящик: и соседям продать, и себе оставить. Прихожу на станцию, ночь уже подходит, а билетов нет. Нет, думаю, не ночевать же на полу, как-нибудь с проводником улажу. А проводник — видный такой из себя мужчина — мне подмигивает: есть, мол, у меня одно место — в моем купе, ясно, девушка? А чего тут неясно — ясно, конечно. Ну, думаю, он мужчина из себя видный — дать ему, кусок от меня не отломится. Залезаю я к нему в купе, поезд отходит, он билеты проверил и ко мне. А дверь у него сломана, никак не запрет. Так он ремнем себя за ногу к двери привязал, чтоб не открывалась. И только он на меня влез хорошенько, как вдруг исчез, словно ветром его сдуло. Был мужик и нет. И дверь открыта. Ну, думаю, померещилось мне, не иначе. А в коридоре шум, словно гусей стая гогочет. Выглядываю и вижу: стоит мой проводник без портков, и с ремнем на ноге. Контроль по вагонам проходил и за ногу его из купе вытащил. И так я и не знаю, было промеж нас чего или померещилось мне.

Пьяный : (булькает, плещется в воде, затихает)

Шкиперша : Померещилось или как?

Рыбак : Ясно, померещилось, силь ву пле.

Шкиперша : Может, и Митрий мне мерещится?

Рыбак : Может, и Митрий.

Шкиперша : Совсем ты меня с толку сбил. (уходит, явно не в себе)

*Появляются Шкипер и Рыбнадзор с сетью*

Шкипер : (рыбаку) Тут Марья моя была, что ль?

Рыбак : Что за Марья?

Шкипер : Ну, баба моя, иль не знаешь?

Рыбак : Пардон, бля, пардон, не знал, что у тебя баба есть, Митрий. Она тебе кто?

Шкипер : Жена она мне, кто же еще?

Рыбак : (хохочет) Ну, насмешил — жена, скажешь тоже! Да кто за тебя бы пошел?

Шкипер : Да жена она мне, жена — хоть Рыбнадзора спроси! Скажи ему, Рыбнадзор, Марья жена мне иль не жена?

Рыбнадзор : Хватит языком чесать, е-мое. Вон сеть зацепилась, ни вперед, ни взад.

Шкипер : (дергает сеть) А ведь там есть чегой-то. Никак, рыба большая попалась.

Рыбнадзор : Не, никак не рыба — рыба перед заморозками в сеть нейдет.

Шкипер : А ты вбок заводи, так, еще правей! Хорош! (наклоняется) Точно, попалась — большущая, во какая! (показывает рукой) А ты говорил — не идет.

Рыбнадзор : (вглядываясь) Не, то не рыба, е-мое. То мешок большой, завязанный.

Шкипер : (радостно) Может, там картошка моя, а? (тянет) А ну, тащи живей, Рыбнадзор.

Рыбнадзор : Я и тащу, е-мое. Только не картошка это. В том мешке пудов шесть, а то и побольше.

Шкипер : А тебе жалко, чтоб в моем мешке шесть пудов оказалось, а? (вытаскивает Пьяного) Господи, да это ж утопленник!

Рыбак : (философски, не поднимаясь с места) Говорил я: кому тонуть, кому плыть.

Шкипер : И чего он там в реке делал? Русалок, что ль, искал?

Так у них ног нет, один хвост, а баба без ног кому нужна, когда у ней вся суть промеж ног?

Рыбнадзор: Может, откачаем? Он, вроде не очень еще за-  
дубел, е-мое: видать, совсем недавно утоп.

Шкипер: А зачем его откачивать? Лежит себе, никому не  
мешает.

Рыбак: А может, это он картошку твою в Волгу бросил?

Шкипер: Он, говоришь? (распаясь) Так я ему сейчас по-  
кажу, как чужую картошку в Волгу бросать!

Рыбнадзор: Чтоб показать, его сперва откачать надо.  
А мертвому все равно, е-мое. Особенно утопленнику. Ему на все  
плевать. Вот у нас на Каспии случай был...

Шкипер: Ладно, уговорил. Давай откачивать. Может, он и  
сдачу мою отдаст. А то ведь Марья все равно меня найдет. (начи-  
нают откачивать Пьяного) Раз-два, раз-два, раз-два. Тяжелый,  
сволочь.

Рыбнадзор: А утопленник, он всегда тяжелый, е-мое.  
Вот у нас на Каспии случай был. Утоп один, е-мое, и за борт упал  
по пьянке. Мы его из воды тащим, а он не идет. Застрял и ни в  
какую, е-мое...

Шкипер: (перебивает) Что там на Каспии. Вот со мной  
случай был! Как я младенцем был, мамка меня в воду уронила.  
Пока выловили, пока что, я и помер. Так меня потом час отка-  
чивали, пока воскресили.

Рыбнадзор: Ты, что ль, помнишь, е-мое?

Шкипер: Не, сам я не помню, а мамка рассказывала.

Рыбнадзор: А раз не помнишь, так, может, это вовсе не  
тебя воскресили, а кого другого, е-мое.

Шкипер: А я как же?

Рыбнадзор: А ты никак. Помер и все, е-мое.

Шкипер: (тычет себя пальцем в грудь) А это, выходит,  
кто? Не я вовсе?

Рыбнадзор: Ты давай, руками работай, не отлынивай.

Шкипер: (исступленно) Я тебя спрашиваю, это (тычет  
себя пальцем) кто?

Рыбнадзор: Ясно кто — тот, кого вместо тебя воскре-  
сили, е-мое.

Шкипер: (возвращаясь к утопленнику) Выходит, Марья  
моя не со мной, а с тем, воскрешенным, живет?

Рыбнадзор: А с кем же ей жить, раз ты помер в младенчестве?

Шкипер: Ах она, сука! С чужим мужиком живет и еще десятку с меня требует! Я ей покажу десятку!

Пьяный: (со стоном отрыгивает воду) О-о-о!

Рыбак: Се ля ви: кому жить, кому помирать.

Рыбнадзор: Никак, оживать начал, е-мое!

Шкипер: А может, мы не его, а кого другого воскресили? Может, это как раз я?

Рыбнадзор: И это возможно. Вот у нас на Каспии случай был, е-мое...

Пьяный: Ре-ре-не-ссанс! (изрыгает воду)

Шкипер: Это он по-каковски говорит, а?

Рыбнадзор: Это по тому, смотря кого мы воскресили: если китайца, — по-китайски, а если, скажем, татарина, так по-татарски.

Пьяный: Не искушай... (приподнимается, грохается оземь) не искушай...

Рыбнадзор: Нет, не по-татарски, у нас в лагере Ренат — татарин был, ох и сволочь! — так я по-ихнему все понимаю, е-мое.

Шкипер: А вот у татарок все поперек! Что у других баб вдоль, то у них поперек!

Пьяный: Где моя рыба? (шарит руками) Рыба моя где?

Шкипер: Его от смерти спасли, а он рыбу ищет!

Рыбнадзор: А ради спасения выпить надо, е-мое! (вытаскивает бутылку у Пьяного из кармана) Выпивка есть (шарит у того в карманах, вытаскивает пакет рыбы в целлофане) и закусь тоже.

Шкипер: Выпить всегда хорошо. (пьют) И ему налить надо, а то мокрый он. (наливает полный стакан и вливает Пьяному в горло) Теперь жить будет.

Пьяный: (бормочет) Копченая рыба, в целлофановом мешке. Отдай мою рыбу, гад. (засыпает)

Рыбнадзор: (запихивая рыбу в рот) Мы его спасли, а он рыбу нам жалеет, е-мое. Вот жид, так жид! (разглядывает рыбу) Да ведь кефаль это, е-мое, ты кефаль знаешь?

Шкипер: Да что кефаль? Разве это баба?

Рыбнадзор: Нет, ты скажи, е-мое, ты кефаль знаешь?

Шкипер: Ну, знаю.

Рыбнадзор: А какой у ней хвост, знаешь?

Шкипер: Да что хвост? Вот татарки, у них хвоста нет, зато...

Рыбнадзор : Е-мое, а какие у ней кишки, знаешь?

Шкипер : Ну, знаю.

Рыбнадзор : (торжествующе) Вот и не знаешь, е-мое! Нет кишок у кефали! Нет — и все!

Шкипер : Да что кишки? Мне кишки ни к чему, мне главное, чтоб титьки на месте были.

Рыбнадзор : (сосредоточенно) Нет, титек у кефали нету, е-мое. Это точно.

Шкипер : А вот у татарок, у них все поперек. Что у других баб вдоль, то у них поперек. Понял? Вот так (показывает ладонью) — поперек.

*На мостки вбегает Шкиперша.*

Шкиперша : Митрий, картошку привезли?

Шкипер : Привезли. Так мешок, на палубе. (Рыбнадзору) Картошки ей, вишь, захотелось, а что картошка? Крахмал! От крахмалу только воротнички стоят. (Хохочет)

Шкиперша : И сколько отдал?

Шкипер : Десятку.

Шкиперша : (ужасается) Десятку? Ты что — очумел? Десятку за мешок! Небось, сдачу себе оставил?

Шкипер : (Рыбнадзору, самодовольно) Боится, что я к татаркам на ее десятку пойду. А на что мне деньги? Мне деньги ни к чему, мне любая татарка и так даст.

Рыбнадзор : Не-е, без денег никак, е-мое... Вот я на Каспии служил... Ты Каспий знаешь?

Шкипер : Да что Каспий? Разве на Каспии бабы!

Шкиперша : Где ж картошка, Митрий?

Шкиперша : Кто ж его мог стащить?

Шкипер : Ну, этот... шел мимо... кто-нибудь шел... ну, и взял...

Шкиперша : (наступает) Пропил десятку, паразит? Лучше сознайся — пропил?

Шкипер : (в страхе) Васька, ну скажи ты ей, скажи, кто мог картошку стащить?

Рыбак : Шерше ля фам.

Пьяный : (стонет, ворочается)

Шкипер : (обрадованно) Он! (показывает на Пьяного) Он и стащил!

Шкиперша: (подозрительно разглядывая Пьяного) Откуда такой взялся?

Шкипер: (в восторге) Да с того света прямиком!

Пьяный: (поднимая голову, нараспев) Раннее море, ранний Ренессанс!

Шкиперша: Так кто ж он такой будет?

Рыбадзор: Ясно кто: воскрешенный, е-мое.

Шкиперша: А картошку он когда взял — до того, как помер, или после?

Шкипер: Ясно, до того. Когда б он после успел? Мы с Рыбадзором его только-только воскресили.

Шкиперша: Так куда он ее унести мог? На тот свет, что ли? (наступает на Шкипера) Врешь ты все, паразит проклятый! Сознаться, пропил мою десятку?

Шкипер: (хватаясь за соломинку) А может, она в камбузе, картошка?

Шкиперша: Пойти поглядеть. (идет в камбуз, через мгновение выскакивает оттуда с воплем) Митрий, кто в камбузе кучу наклал?

Шкипер: Какую кучу?

Рыбак: (принюхиваясь) Пардон, бля, пардон, кучу дерьма.

Шкиперша: (вне себя) Кто кучу наклал, я спрашиваю?

Пьяный: (пытаясь подняться) Синее море, синий Ренессанс! Нет, не синее... Забыл...

Шкипер: И картошку он, и кучу он! Кто ж еще мог накласть?

Рыбак: Шерше ля фам.

Шкиперша: (хватает Пьяного за грудки) Куда картошку девал, гад?

Пьяный: (обалдело) Картошку? Съел! Съелое море, съелый Ренессанс...

Шкиперша: (трясет его) А где мешок?

Пьяный: (упрямо) И мешок съел.

Шкипер: А зачем в камбузе кучу наклал?

Рыбадзор: (вдруг в восторге) Е-мое, да это же он! Змей едучий! А я сперва не признал!

Шкиперша: (грозно) Говори, куда картошку девал! (Шкиперу) А ты заткнись и гони обратно десятку!

Шкипер: (храбрится) Ха! Десятку ей! Да это ты мне за каждый раз десятку давать должна!

Рыбнадзор : (вплотную к Пьяному) Ты в тюрьме сидел?

Пьяный : Обязательно.

Рыбнадзор : Е-мое, выходит, точно он! Он самый – змей едучий! Значит в камбузе кучу он наклат, больше некому.

Шкиперша : А картошка? (отпускает Пьяного, тот садится на палубу)

Рыбнадзор : (убежденно) А картошку он в Волгу выкинул. Это же гад, это же змей едучий, е-мое!

*Пьяный икает.*

Шкиперша : Как то есть в Волгу? Она же десятку стоит!

Рыбнадзор : (поднимает Пьяного) Узнаешь меня, е-мое? Он из меня в тюрьме кровь стаканами пил. Я говорил ему, е-мое, гора с горой не сходится, а человек с человеком, е-мое... А теперь я его воскресил, теперь посчитаться можно!

Рыбак : Силь ву пле.

Шкиперша : Кто же мне десятку вернет?

Рыбнадзор : Он из меня кровь стаканами пил, е-мое, теперь я из него хоть ложкой зачерпну. Он женщину-красавицу инкассатора, е-мое... (Пьяному) Ты инкассатора знаешь? (отпускает его)

Пьяный : (сядаясь на пол) Обязательно!

Рыбнадзор : Е-мое, выходит, точно он!

Шкиперша : Пусть отдает десятку, раз картошку в Волгу бросил. А ну, Митрий!

Шкипер : (трясет Пьяного) Отдашь десятку? Отдашь, гад?

Пьяный : (икает) Обязательно.

Шкипер : (шарит в карманах Пьяного) Где ж десятка?

Пьяный : (икает) Съел.

Шкиперша : Ишь какой – чужие десятки есть! Пусть хоть в камбузе помоеет за собой, паразит!

Рыбнадзор : Мне восемнадцать месяцев дали, е-мое, за семейную драму, а он из меня кровь стаканами... И суп тоже... Ты тюремный суп знаешь? Горсть пшена и вода пустая...

Шкипер : С такого супа всякая охота до баб пропасть может!

Рыбнадзор : Это нам без разницы, е-мое, в тюрьме баб нету.

Шкипер : Как так баб нету? Разве без баб можно?

Рыбнадзор : ...А он, змей едучий, женщину-красавицу инкассатора убил, и шофера тоже, е-мое... Два миллиона триста тысяч взял...

Шкиперша: Два миллиона взял? Так пускай мою десятку отдает...

Рыбнадзор: Он у них там паханом был... Он и Ренат-татарин, е-мое...

Шкиперша: И в камбузе пускай за собой уберет, паразит!

Рыбнадзор: Четверо их было... они машину остановили и шофера прикончили сразу, е-мое... А женщину-красавицу инкассатора не сразу — два миллиона триста тысяч взяли, е-мое, и сделали с ней что хотели...

Шкипер: (мечтательно) Так вчетвером и навалились!

Рыбнадзор: Два миллиона триста тысяч взяли, е-мое, и получил он, змей едучий, десять лет и пять по рогам. Ты пять по рогам знаешь?

Рыбак: Антрну.

Рыбнадзор: Чтoб ни в какой город, ни-ни, е-мое. Он и Ренат-татарин...

Шкипер: А вот у татарок, у них все поперек...

Шкиперша: (грозно) Митрий, ты мне про татарок брось! Ты скажи лучше, кто камбуз вымоет? Сколько раз повторять?

Шкипер: А повторять столько, сколько у кого выйдет. Это и от бабы зависит тоже...

Рыбнадзор: (разглядывая Пьяного) Он это, змей едучий, точно он. Ведь не татарин же он, не Ренат — вот и выходит, точно он. (поднимает Пьяного) Ну, ты, змей едучий, вставай, иди в камбуз — пол мыть будешь.

*Пьяный качается в его руках.*

Ты из меня кровь стаканами пил, е-мое, так я из тебя хоть ложкой зачерпну. (толкает Пьяного к камбузу)

*Пьяный мычит.*

Шкиперша: (Пьяному грозно) Иди, иди, паразит, наделал тут делов, кто за тебя убирать теперь будет?

Шкипер: Если б что другое, так я б за него мог...

Рыбнадзор: (тащит Пьяного к дверям, тот упирается) Женщину-красавицу инкассатора убил, е-мое, и получил десятку и пять по рогам...

Шкиперша: Десятку, говоришь, получил? Так пускай отдает — будет знать, паразит, как чужую картошку в Волгу бросать!

**Рыбнадзор:** (открывает дверь и вталкивает Пьяного в камбуз) Давай пол вымой, змей едучий! Я говорил, е-мое, гора с горой не сходится, а он из меня кровь стаканами...

**Пьяный:** (рвется обратно) Пусти, я рыбу потерял! Где моя рыба?

**Рыбнадзор:** Пол помоешь, е-мое, тогда рыбу искать пой-  
дешь. (закрывает дверь камбуза и держит ее спиной)

*Слышно, как Пьяный бьется о дверь с той стороны.*

Женщину-красавицу инкассатора убили и глаза ей выколупали, он и Ренат-татарин... Это чтобы по глазам не узнали, кто убивал, е-мое. У них в глазах все отпечатывается, как в зеркале, е-мое...

**Пьяный:** (открывает дверь) Рыба моя где? Где моя рыба?

**Шкиперша:** Что за рыба такая?

**Пьяный:** (плачущим голосом) Копченая рыба. Мне подарили ее интеллигентные люди!

**Рыбнадзор:** (заталкивая Пьяного обратно за дверь) Дерьмо уберешь, змей едучий, тогда выйдешь. Два миллиона триста тысяч взяли, а шофера прикончили сразу, е-мое...

**Шкиперша:** Раз десятки у него нет, я эту рыбу за картошку себе заберу. Нечего ему, паразиту, чужую картошку в Волгу бросать...

**Пьяный:** (вырывается из камбуза) Пусти меня, пусти! Я рыбу свою искать пойду!

**Рыбнадзор:** (держит его за шиворот) Не хочешь дерьмо свое убирать, змей едучий? Я тебя сейчас заставлю, е-мое, добром не хочешь — силой слопаешь! (берет горсть дерьма и пытается сунуть Пьяному в рот, тот вырывается) Ты из меня... кровь стаканами пил, е-мое, а я говорил: человек с человеком сходится! Теперь я из тебя хоть ложкой зачерпну! Открывай рот, змей едучий!

**Шкипер:** (помогая Рыбнадзору бить Пьяного) И чего он в рот не хочет? В рот тоже приятно. Некоторым даже очень нравится...

**Пьяный:** (рыдает, раздирает на груди рубаху) На, убивай меня, сволочь! Бей меня, бей, кончай меня, гадина, пей мою кровь! Брось меня в реку, брось, утопи! (заходится) Утопи-и-и! В реку меня брось, выпей мою кровь, сволочь! Все равно, никто меня не любит, никого у меня нет, никому я не нужен! Пей мою кровь, гадина! Пе-е-ей!

Шкиперша : (удивленно) И крестик на груди. Ты что, в Бога веруешь?

Пьяный : (всхлипывая) Обязательно.

Рыбнадзор : (отпуская Пьяного)

*Тот садится на пол.*

Да не верует он! Если б верил, разве б он женщину-красавицу инкассатора убивать стал? Да еще глаза ей выкалывать, е-мое?

Пьяный : (икает) Обязательно.

Рыбак : Шерше ля фам.

Шкиперша : А может, это не он?

Рыбнадзор : Как так не он, е-мое? Ведь не Ренат же он, не татарин? Выходит, точно он, змей едучий! (нюхает руки) Все руки я об него испачкал, теперь они дерьмом воняют, а ты говоришь: не он! Он самый и есть, е-мое! (поднимает Пьяного) Ты в тюрьме сидел?

Пьяный : Обязательно. (садится на пол) Семнадцать лет.

Рыбнадзор : Как так семнадцать? Десять лет он получил и пять по рогам, е-мое. Шофера они сразу убили, он и Ренат-татарин, а женщину-красавицу инкассатора повалили сперва...

Шкипер : (в восторге) ...И навалились все вчетвером!

Рыбак : Сильву пле.

*Слышен гудок приближающегося катера. Услышав гудок, Пьяный пытается подняться.*

Пьяный : Мне пора, где моя рыба?

Рыбнадзор : Да не было у тебя никакой рыбы! Откуда у тебя рыба, е-мое?

Пьяный : Копченая рыба. В мешке. Мне подарили ее интеллигентные люди. (поднимается, бредет к мосткам, спотыкается о них, падает и тут же засыпает)

*Слышен шум подходящего катера.*

Шкипер : Пойду катер встречу. Вчера татарки катером приезжали — у татарок этих все поперек. Что у других баб вдоль, то у них поперек. (уходит)

Рыбак : Пардон, бля, пардон.

Шкиперша : (направляясь в каюту) У вас тут выпить есть чего? А то замерзла я тут с вами.

Рыбнадзор : (бредет за ней) Семейная драма у меня была,

е-мое, и дали мне восемнадцать месяцев. А он, змей едучий, кровь из меня там стаканами пил, потому что женщину-красавицу инкассатора убил и получил десятку. А у меня семейная драма, е-мое... Ты семейную драму знаешь?

Шкиперша: (выпив рюмку) У меня у самой семейная драма. Митрий мой, он разве настоящий мужик? Он все про тарок говорит, а сам? (шепчет Рыбнадзору на ухо)

Рыбнадзор: А ты б ему объявила...

Шкиперша: ...И женскую честь мою ни во что. (пригорюнься, протяжно запекает)

И я одна, как во поле былиночка,  
К земле клонюсь...

Рыбнадзор: (протягивает через ее плечо руку за рюмкой и не убирает) У меня, значит, семейная драма, е-мое, и у тебя семейная драма — выходит, надо нам вместе... (гладит ее плечо)

Шкиперша: (кладет голову ему на плечо, продолжает петь)

К земле клонюсь и в землю ухожу-у-у!

*Рыбнадзор пытается повалить ее на лавку. Слышен шум отходящего катера, появляется Шкипер.*

Шкипер: (входя в каюту) Марья, ты чего тут?

*Шкиперша вскакивает.*

Ах ты, сука, своего мужика тебе мало — такого мужика! А ну, пошла домой!

Шкиперша: (подбоченясь) Ты сперва мне десятку отдай, тогда пойду!

Шкипер: (бьет ее по лицу) Какую еще тебе десятку? Пошла домой, сука!

*Шкиперша, закрыв лицо руками, с криком убегает. На мостках спотыкается о Пьяного; он просыпается и, бормоча что-то, начинает подниматься.*

Рыбак: Шерше ля фам.

Рыбнадзор: (вдруг плачет) Нет, Митрий, это зря ты так, зря!

Шкипер: Ты чего ревешь-то?

**Рыбнадзор:** Как же это ты бабу свою — и по морде, и по морде! (рыдает) Это же семейная драма, е-мое! Зря ты это — такую бабу! Вот у меня семейная драма была, е-мое, и дали мне восемнадцать месяцев, а ты такую бабу!

**Шкипер:** (пьет) Ну что баба? Каждая баба, она баба и есть. Вот татарки другое дело, у них все поперек...

*В дверях появляется Пьяный, икает.*

**Рыбнадзор:** Тебе чего, змей едучий?

**Пьяный:** Замерз я. Холодно там, вот я и замерз.

**Рыбнадзор:** (толкает его) Иди, иди отсюда, е-мое. Ты из меня кровь стаканами, а я говорил: гора с горой не сходится...

**Пьяный:** А рыба моя где? Я б вас всех этой рыбой угостил.

**Рыбнадзор:** Какая еще рыба? (выталкивает его) Не было у тебя никакой рыбы!

**Пьяный:** (садится на палубу) Мне дали ее интеллигентные люди, чтоб я всех угостил.

**Шкипер:** А интеллигентные бабы тоже ничего бывают, только худые все больно: в руки взять нечего.

**Пьяный:** (ползет в каюту) Впустите меня, я замерз! Холодно у вас тут, неправильно вы живете, не по-людски живете...

**Рыбнадзор:** (выталкивает его ногой) Пошел отсюда, пошел, змей едучий!

**Пьяный:** Куда я пойду — замерз я.

**Рыбнадзор:** Греть тебя, что ли, е-мое? Ты меня в тюрьме грел?

**Шкипер:** А чего ему тебя греть? Разве ж ты баба?

**Рыбнадзор:** А нет в тюрьме баб, это точно, е-мое.

**Пьяный:** (вползает) Нет, не по-людски тут у вас, не по-людски. Холодно тут у вас, вот я и замерз. Разве это по-людски — в таком холоде жить?

**Рыбнадзор:** Ишь, не по-людски ему, е-мое! А женщину-красавицу инкассатора убивать, это по-людски? И глаза ей выкалывать?

**Шкипер:** А в тюрьме без баб, это как? (катит Пьяного ногой к двери)

**Пьяный:** (цепляясь за дверь) Куда ты меня, куда? Я ж к тебе, как к брату... Я ж рыбой своей угостить тебя хотел...

**Шкипер:** (выталкивает Пьяного) Нет, без баб я несогласный, и не проси!

Пьяный : (рвется обратно) Ты не толкай, не толкай, сволочь! Ты лучше послушай: я ж к тебе, как к брату! А ты толкать! Я ведь хочу, чтоб мы по-братски: чтоб всем тепло и чтоб никому по морде!

Рыбнадзор : У нас в камере тоже один такой был — все учил, е-мое... Помнишь, Ренат-татарин ему показал, как других учить?..

Пьяный : Ведь я к тебе с открытым сердцем, а ты толкать! Тебе тепла жалко, что ли? А ведь и тебе б теплей стало, если б ты меня впустил! И я б тебя согрел!

Рыбнадзор : Вали, вали отсюда, кому ты нужен! (выталкивает Пьяного ногой)

Пьяный : Тепла мне жалеешь, гад? Я вот рыбу свою тебе не жалел! Я хотел, чтоб мы по-братски ее разделили, поровну... И чтоб никто никого по морде... А ты тепла жалеешь! (цепляется за ногу Рыбнадзора)

Рыбнадзор : (отдирая его руки) Он меня учить хочет, а от самого так дерьмом и разит, е-мое! (выталкивает) Вали отсюда, змей едучий, все тут завонял!

Пьяный : (рыдает) Значит, ты так, гад? Значит, не нужен я тебе? Тогда брось меня в реку! Раз ты по-людски не хочешь! Лучше рыб в реке кормить, чем тут подыхать!

Рыбак : Сик транзит gloria мунди.

Пьяный : (визжит) Чего смотришь на меня, гад? Не хочешь по-людски? Не хочешь по-братски? (вкатывается в каюту)

Рыбнадзор : И откуда он взялся, такой шумный, е-мое?

Шкипер : Ясно откуда, с того света.

Рыбнадзор : Это почему, е-мое?

Шкипер : Так он же утоп, или ты забыл?

Рыбнадзор : Если утоп, чего шумит, е-мое? Утоп и молчи.

Рыбак : Се ля ви.

Шкипер : Так ты ж сам настоял воскресить. Я говорил, — лежит тихо, никому не мешает, а ты вбил себе в башку — воскрешать. Ну, мы и воскресили.

Рыбнадзор : А если б мы не воскресили? (разглядывает Пьяного)

Пьяный : (визжит) Чего уставился, гад? Чего зенки пялишь? Тепло жалеешь? Так брось меня в реку, раз не жалко тебе! Раз никому я не нужен! Брось!

Ш к и п е р : Ишь как кричит — обратно в реку просится. А ты тоже придумал — откачивать. Лежал себе тихо, никому не мешал.

Р ы б н а д з о р : А не откачали бы, так что, е-мое? И ведь не заслужил он, е-мое, не заслужил, змей едучий. Женщину-красавицу инкассатора убил и глаза ей выколупал...

Ш к и п е р : (подхватывает) ...И десятку мою съел, и картошку тоже...

Р ы б н а д з о р : Четверо их было... но хоть его наказать надо, е-мое... хоть одного наказать.

Ш к и п е р : И кучу в камбузе наклал!

Р ы б н а д з о р : (накаляясь) А ведь говорил я ему, гора с горой не сходится... (тащит Пьяного)

П ь я н ы й : Пей мою кровь гад, пей! (брыкается) Топи меня — лучше рыб в реке кормить, чем тут у вас подыхать!

Ш к и п е р : Мы его откачали, мы его из реки вытащили, а он картошку в Волгу бросил и еще ругается!

Р ы б н а д з о р : Женщину-красавицу инкассатора он убил и шофера тоже. Он и Ренат-татарин... Он это, точно он: если б это Ренат-татарин был, я б его сразу узнал... Выходит, точно он...

Ш к и п е р : (накаляясь) И картошку он, и кучу он...

Р ы б н а д з о р : Выходит, зря мы его воскресили... е-мое. (тащит Пьяного)

П ь я н ы й : (вдруг блаженно) Вот теперь хорошо, теперь по-братски! Ты меня обнимешь, я тебя обниму! Давай поцелуемся!

Р ы б н а д з о р : Может, это все ж Ренат-татарин? Тот пидер был — тоже все целоваться лез. (наклоняется) Ох, дерьмом разит — давай бросать скорей!

Ш к и п е р : А вдруг донесет кто?

Р ы б а к : Антр ну.

Р ы б н а д з о р : Кто донести может? Мы его воскресили, мы его и бросим.

*Волокут Пьяного по палубе, он запутывается в сети, они спяну никак не могут сеть распутать, заматывают все туже*

Ш к и п е р : Нет, нейдет из сети. Может, ему так и положено в этой сети помереть?

Р ы б а к : А ля гер как а ля гер.

Р ы б н а д з о р : Ведь мы его с сетью вытащили? Вот с сетью назад и бросим, е-мое.

Ш к и п е р : Чтоб знал, как чужую картошку в Волгу бросать.

Пьяный : (бормочет, шаря вокруг себя) Где рыба моя?  
Где моя рыба?

Рыбадзор : (подтягивая вместе со Шкипером сеть к краю дебаркадера) Сейчас ты найдешь рыбы сколько влезет, е-мое. (бросают Пьяного в воду, он исчезает)

Рыбак : Выходит, все же тонуть, силь ву пле.

Шкипер : (блаженно) Тихо как стало, поговорить можно. (мечтательно) Поехал я раз в город, — жарко, скучно, и ни одной бабы не видать. Вдруг вижу} бежит одна...

Рыбадзор : (перебивает) Ты кефаль знаешь, е-мое?

Шкипер : Да что кефаль, разве это баба?

*Застывают. Рыбак допивает водку и бросает бутылку в реку. Всплеск.*

Рыбак : Финита ля комедия.

Шкиперша : (появляясь на мостках) Что тут у вас? Никак в реку чего-то тяжелое упало, а?

Рыбак : Бутылку я бросил, силь ву пле.

Шкиперша : Не, то не бутылка, то чегой-то тяжелое.

Рыбак : Померещилось тебе, Марья. И что тебе все мерещится всякое?

Шкиперша : А Бог его знает. Все мерещится и мерещится. И не знаю порой, то ли я живу, то ли мне жизнь моя во сне снится. (вглядываясь) А что это там в воде чернеется? Уж не картошка ли моя? (пытается тянуть сеть)

Рыбак : Нету там ничего, мерещится тебе.

Шкиперша : И ты мерещишься?

Рыбак : И я, антру.

Шкиперша : И Митрий?

Рыбак : И Митрий.

Шкиперша : А мужики, с которыми я спала?

Рыбак : Не было никаких мужиков!

Шкиперша : А что ж было-то?

Рыбак : А ничего и не было, мадемуазель. Сон, дым, мечта. Се ля ви.

#### КУПЛЕТЫ О ПРИЗРАЧНОСТИ ЖИЗНИ

Нам всем дана судьба одна  
Как с белых яблонь дым.

В ней ни покрышки нет, ни дна,  
Ни толстым, ни худым

В ней ни начала, ни конца  
А посреди — туман,  
То ль конь сбежал от молодца,  
То ль молодец был пьян.

Ты ль выпил чашу бытия  
И пущен был в расход?  
Иль то прокралась тень твоя,  
Не потревожив вод?

Иль может, не было вчера,  
И не было сейчас,  
И ни тебя, и ни меня,  
И никого из нас.

### МОЙ ВАРИАНТ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ

Уж не знаю, времена ли были такие или мне просто повезло, но я выросла, открыленная наивной верой в превосходство искусства над жизнью.

Конечно, реальность моего детства, кровавой рекой перетекавшая из чистилища Тридцать Седьмого в ад Сорок Первого, была малоутешительна, но она не оставляла сомнений в возможности переплавить все страдания в высокое всеочищающее Слово. Жизнь могла унизить и стереть в порошок, зато всегда можно было найти прибежище и утешение в нетленных ценностях Искусства.

Из всех искусств самым заманчивым мне представлялся театр, я даже написала корявыми детскими буквами в верхнем углу первой (и последней) страницы своего первого (и последнего) дневника: "Мир — театр, люди — актеры". Из затеи с дневником ничего не вышло, так как он должен был отражать жизнь, а она не стоила внимания, я все ждала наступления той минуты, когда мое существование, то есть жизнь, превратится в жизнь, то есть в искусство.

Моя театральная карьера началась, когда мне было пять лет. Было это в большом промышленно-провинциальном городе Харькове, очень интеллигентном, хотя и по-советски, и столь же по-советски некрасивом: там не было ни одной достопримечательности, которую стоило бы показать приезжим. Мама моя купила мне билет в кукольный театр на спектакль "Гусенок". Я сидела в первом ряду, напряженно переживая приключения храброй девочки Маши, которая ни за что не отдавала хитрой лисе своего любимого гусенка. На макушке у меня в такт дыханию трепыхался большой голубой бант. Вдруг в самый драматический момент представления Маша обернулась, показала пальцем на меня и сказала: "Девочка в первом ряду с голубым бантом, иди сюда!" Мне, конечно, и в голову не пришло, что она зовет меня: тогда я еще почитала искусство делом неземным и, следовательно, неспособным вступить в связь с моей скромной персоной. Но

мои соседи мигом смекнули, что к чему, и меня проворно вытолкнули вперед, на просцениум. Маша вручила мне свой прутик, велела зорко сторожить гусенка от лисы и убежала по каким-то неотложным делам. Как только она скрылась за кулисами, на сцену высочила лиса. Игриво помахивая хвостом, она коварно попыталась выманить у меня гусенка, не скупясь ни на посулы, ни на угрозы. Но я была непреклонна и неподкупна. Тогда лиса сказала: “Я вижу, ты хоть и маленькая девочка, но замечательный сторож и верный друг. За это тебе полагается награда”. И она протянула мне маленькую пеструю коробочку. Восхищенная признанием моих заслуг, я поспешно открыла коробочку: в ней лежала вторая, в которой лежала третья. Пока я открывала лису, одну за другой, своими не очень ловкими маленькими пальчиками, лиса успела украсть гусенка и скрыться. Организаторы спектакля были довольны: все шло по плану. Появилась безутешная Маша и, не тратя времени на упреки, помчалась искать гусенка. Моя роль была окончена, мне полагалось сесть на место и благополучно наслаждаться спектаклем до самого хэппи-энда. Но — не тут-то было: рыдая в голос, я остервенело бросалась на сцену с воплями: “Где гусенок? Отдайте мне гусенка!” Я швырнула в распорядителя коробочкой, подаренной мне за труды, высочила на сцену и попыталась разнести декорации. В зале смеялись и плакали; меня с трудом скрутили и на руках вынесли из зала.

Так я впервые поняла, что искусство требует жертв.

Потом был большой перерыв, длиной почти в целую жизнь: я изучала физику в университете, выходила замуж, переводила “Балладу Рэдингской тюрьмы” Оскара Уайльда и всерьез считала свое существование подлинным. Я тогда еще не подозревала, что все это было лишь подготовкой к той истинной жизни, смутный зов которой я услышала, когда пыталась изменить ход отлично отлаженного кукольного спектакля. Дверца в эту истинную жизнь открылась для меня так случайно и буднично, что я в тот момент и не заметила роковой перемены. Но момент этот я запомнила с мелочной подробностью деталей. Я запомнила синеватую хмурость московского зимнего неба за окном, подсинивающую фаянсовые чашечки с остатками остывшего кофе на столиках кафе в Доме литераторов. Я запомнила приглушенный гул множества несогласованных разговоров и перекрывающий их веселый басок театрального художника за соседним столиком: он уговаривал своих собеседников написать пьесу для кукольного театра, уверяя, что нет нынче более ходкого товара. Хоть уговаривал он вовсе не меня и не мне предлагал свою помощь, я восприняла его слова как зов судьбы и начала писать свою первую пьесу. До того я писала стихи, пытаюсь рассказать о многоликом и неоглядном мире своим слабым голосом. Начав писать пьесы, я вдруг обнаружила, что голоса моих героев гораздо важнее и содержательнее моего.

За них ничего не нужно было придумывать: надо было только выбрать во времени и пространстве особую взрывную точку, где сходились нити разных, вовсе не похожих на мою, судеб, и рассечь эти нити в самой сердцевине их хитросплетения. Тогда, если точка была выбрана верно, оставалось только залечь в засаде и подслушивать, что скажут подследственные персонажи, а потом записывать их слова с максимальной достоверностью.

Главное, нужно было иметь магнитофонное ухо и честное перо, чтобы записывать подслушанное не переиhrывая.

О Господи, что они рассказывали, в каких грехах и слабостях сознавались, эти удивительные незнакомцы, непредсказуемо возникавшие из темных глубин моего собственного подсознания! Да и не только из подсознания: стоило мне наметить взрывной узел рассечения действительности, как из самой жизни навстречу моему замыслу начинали толпами набегать на меня, словно посланные свыше по заказу, необходимые персонажи. А если нужного характера в данный момент не находилось в небесных закромах, то удача моя придумывала иной выход: она подсылала какое-нибудь абсолютно постороннее лицо из другого жизненного спектакля специально для того, чтобы лицо это одарило меня парой недостающих реплик. Вот и выходило, что от меня требовались лишь терпение, сосредоточенность и умение вовремя сдерживать себя и не вылазить вперед со своим собственным мнением.

И тут я во второй раз поняла, что искусство требует жертв: ведь ничем так не жаль пожертвовать, как своим собственным мнением! Зато жертва эта, в отличие от многих других, зачастую вознаграждалась сторицей: то, чего бы я вовек не решилась сказать, до чего бы просто не додумалась, персонажи мои высказывали порой с недоступной мне легкостью и непринужденностью и оказывались в целом гораздо умней и содержательней меня. Преодолев свое уязвленное этим их превосходством авторское самолюбие, я была вынуждена признать, что в этом и состоит преимущество драматургии перед лирикой.

Конечно, мудрость эта пришла ко мне не сразу, равно как и понимание сути драмописательства: мне пришлось немало намучиться, пока я научилась помалкивать и предоставлять слово и поле действия своим персонажам. Первые мои пьесы, написанные после того судьбоносного подслушанного разговора в кафе Дома литераторов, были вполне качественные советские пьесы для кукольного театра: добро было однозначно положительным, зло — однозначно отрицательным, и после недолгой, строго очерченной тремя драматическими единствами борьбы сюжет приходил к впечатляющей победе положительного добра над отрицательным злом. Честное следование канонам было для меня вполне результативным: все мои ранние пьесы были куплены соответствующими культурными организациями, а одна — самая плохая — была даже удостоена премии на Всесоюзном конкурсе детских пьес. Премия была, правда, всего лишь поощрительная, но мне щедро заплатили — и премиальные, и гонорар за пьесу, так что я даже смогла купить себе на черном рынке недоступное до того пальто из ярко-красного джерси и массу других не менее соблазнительных вещей.

На миг превратившись таким чудесным способом из Золушки у печи в Золушку на балу, я с еще большей страстью стала задумывать новые пьесы. И тут я обнаружила, что по мере роста моей драмодельческой техники я все больше и больше теряю власть над своими героями: положительные персонажи начали откалывать странные номера, а отрицательные — позволять себе неожиданные благородные побуждения. Чтобы привести эти новые качества в соответствие с первоначальным замыслом, я начала вводить в пьесы стабилизирующие моменты, которые впоследствии были заклеены как

элементы враждебной реализму драмы абсурда. Не успела я оглянуться, как мое благополучие кончилось: новые мои пьесы ни одна из обожавших меня доселе культурных организаций не хотела ни покупать, ни ставить. И когда, полыхая гневными алыми пятнами по коже щек и шеи до самого выреза блузки (а может, и ниже — не знаю, мне было не видно), главная начальственная дама министерства культуры заявила мне, что ее режиссеры мои пьесы никогда ставить не будут, я почувствовала странное облегчение: лишив меня надежды, она даровала мне полную и подлинную свободу.

И потому, когда после трех лет мучительной борьбы я оказалась по эту сторону Железного занавеса и столкнулась со здешней свободой, меня эта восторженность не ошеломила: внутренне я была к ней уже готова.

Когда пестрая муть новых впечатлений начала оседать и сквозь нее, словно на переводной картинке, стали проступать контуры новой действительности, я поняла ясно и бесповоротно, что не для меня написана роль тоскующего изгнанника, несмотря на все завлекательные ее преимущества.

Главное, потому она была написана не для меня, что я на старости лет завела себе Родину. У меня, как и у других, теперь есть свое государство: я могу стыдиться его или гордиться им, я могу его ругать или хвалить сколько вздумается, потому что оно мое. Я рассталась со своим приросшим, как кожа, — так мне казалось — еврейством, со своим поэтически-пронзительным сиротством — так сладко было о нем писать! — и получила права на крохотный, очень неудобный для жизни, зато прекрасно простреливаемый в любом направлении кусочек выжженной солнцем земли. Это удивительное чувство. Наверно, все нормальные люди, французы, итальянцы и даже турки и китайцы, живут с ним, как дышат, вовсе не осознавая его ценности. Но я получила его неожиданно-негаданно и потому очень им дорожу. И в свете его центр мира сместился с осененной куполами Василия Блаженного площади у Лобного места и рассеялся в пространстве; я поняла, что в этом огромном мире нет центров, а значит, нет и изгнания. И изгнание в узкое пространство российской словесности показалось мне столь же безысходным, как заключение в гетто. Есть мировая культура, она едина и неделима, и не стоит бороться за место в унылом строю изгнанников: какая разница, кто там стоит первым, кто — последним?

*Нина Воронель*

## РЕПОРТАЖ

### МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА

*(интервью из одноименной книги В. Лазариса) \**

#### ДЕСАНТНИК

*(Игорь Койфман, 20 лет, род. в Киеве, в Израиле с 1979 г., выпускник средней школы)*

Война для меня началась в самый первый день. За несколько месяцев до этого мы уже знали, что должно что-то произойти, но когда — не знали. И вот в ту субботу нас взяли, посадили на корабль и отправили в Ливан. Прибыли мы в Сидон, высадились на берег и сразу вступили в бой. Первое, что мы увидели — пожары, развалины, самолеты. И бомбежка кораблей. В общем, потрясающее зрелище. Этот грохот, запахи взрывов, гарь... В кино, конечно, не так. В кино ты смотришь фильм и знаешь, что сидишь у себя дома и все спокойно. Посмотрел кино, и все. А там ты не знаешь, откуда и что на тебя может упасть. Ты должен быть готов ко всему.

Как только мы высадились, на то место, где мы только что стояли, упали два снаряда. Как раз в этот момент там никого не было. Это счастье. А остальные снаряды падали довольно далеко. Горели две подбитые машины террористов. На каждой машине стоял пулемет, и там же валялись их останки. Это было неприятное зрелище, но это война, ничего нельзя сделать. Или они, или мы. Я это видел первый раз, но воспринял как-то спокойно. Не до этого было, мы были заняты другим. Мы построились в колонну и стали двигаться за танком. Сидон был уже занят нашими морскими десантниками, и мы продвигались к другому селению, Загарани. Шли через деревни. Были готовы ко всему, шли настороже. По дороге все было нормально. Только когда мы подходили к этому селению, нас обстреляли "катюши". Но все обошлось без жертв. Снаряды падали довольно далеко, в полкилометре, ближе-дальше. Чувствовали, конечно, что это в нас. Но они... они, наверно, просто не умеют стрелять. И все-таки, когда по тебе стреляют, хочется залезть в какую-нибудь дыру и отсидеться там, подождать и продолжать. Продолжать то, что уже начали.

\* Сокращенная глава из этой книги, озаглавленная "Лето в Ливане", была опубликована в № 27 нашего журнала; копирайт автора.

Под утро мы вошли в Загарани, заняли там дом и приготовились к обороне. И часа в четыре-пять утра начали нас обстреливать из "калашниковых" из соседних домов. И мы открыли по ним огонь. Мы видели два определенных дома, из которых стреляли, но террористов поймать тяжело: высовываются из окна, выпускают очередь и прячутся, ищут другое окно. Поэтому в основном по ним стреляет танк. Он взрывает эти дома, а потом мы подходим и смотрим, что осталось. Если что-то осталось, то мы кончаем эту работу. Если же нет, идем дальше.

Я стрелял по тем, кто в меня стрелял. Я их не воспринимал как людей. Просто они хотят меня убить. Даже думать об этом неприятно, что хотят тебя убить. Просто отвечаешь тем же. У меня лично даже был какой-то азарт. Как будто... азарт охотника. Но до террористов было далеко, метров 300–400, так что я, наверно, ни в кого не попал.

Война — это страшная вещь. Это и личный страх, потому что вдруг ни с того ни с сего начинается обстрел. И ты не знаешь, где может упасть этот снаряд. И даже если ты спрятался и уверен, что спрятался хорошо, в глубине души есть какое-то чувство — а вдруг он на тебя упадет? Нет полного спокойствия, нет полной уверенности. Лично у меня этот страх появился после того, как меня контузило. Мы сидели на бронетранспортерах и ждали, когда двинемся. И в это время начался воздушный бой между нашими самолетами и сирийскими "МИГами". И нас забросали бомбами. Не знаю, как это было, может, там были бомбардировщики. В общем, они бросили несколько бомб довольно далеко от нашей колонны. А две другие, последние бомбы упали как раз посреди колонны. Одна бомба упала около первого бронетранспортера, но жертв не было, только один из командиров был ранен осколками в ногу, несерьезно. А у нашего бронетранспортера от взрыва отвалилась задняя стенка, он загорелся, и два человека погибли: один сгорел, а второго убило осколком. Двое получили серьезные ожоги, и было пятеро раненых: один — осколком в ухо, второй — в ладонь, еще у одного были ожоги на спине... в общем, можно сказать, что эти отделались довольно легко. Когда взорвалась бомба, я сидел наверху, и взрывная волна ударила меня в ухо, порвалась барабанная перепонка, немного обгорело лицо. Я упал внутрь, все стали кричать: "Пожар!" — и выбираться из бронетранспортера, я тоже вылез, сам, глаза у меня наполнились гарью, и я не очень хорошо видел. Меня подняли, отвезли к фельдшеру,

и там я получил помощь. Я был в сознании и все помню. Убитых я не видел, но я видел других, которые горели... этого тоже достаточно, когда ты видишь своих товарищей горящими. Когда отвалилась задняя стенка, то они вывалились наружу и лежали около нее и как-то сразу целиком загорелись. Тогда ребята схватили канистры с водой и стали их тушить. Когда стали их оттаскивать от бронетранспортера, то в нем начали взрываться боеприпасы. От этого еще несколько человек было ранено осколками.

Первую помощь, очень хорошую, нам оказали прямо на месте, в течение 10 минут. Там было все — и инъекции, и даже, я думаю, можно было сделать небольшую операцию, вытащить какой-нибудь осколочек. Там были два врача и несколько санитаров. Потом нас отвезли километра на четыре назад, и там был военный госпиталь, передвижной. Там уже были готовы и для серьезных операций. И там была посадочная площадка для вертолетов, и нас вертолетом перевезли в Хайфу. Одного из убитых похоронили на третий день после бомбежки, а второго — через десять дней. Его просто не могли опознать.

Всего я был на войне четыре дня, с воскресенья до четверга это получается. Четыре дня боев. Мы все время продвигались за танковой колонной, и там, где нужна была помощь, мы помогали. А там, где танкисты обходились без нас, они сами завершали дело. Все время был постоянный бой, кроме ночи. Ночью мы ничего не делали, занимали оборону и ждали рассвета. С рассветом опять начиналось то же самое. Спали часа по два-три, дежурили очень сильно. И это понятно, потому что террористы — даже те, которые уходят, — ночью иногда возвращаются и могут ударить сзади. У нас такого не было, но я об этом слышал.

Приказ был стрелять по тем, кто стреляет в нас. Но, я думаю, если заметишь в том же районе тень какую-нибудь, человека с оружием или что-нибудь, тоже нужно стрелять. Так мы и делали: замечали кого-нибудь, что-нибудь в кустах, и сразу или танк, или мы, кто первый успевал заметить, сразу туда открывали огонь. Зависит, конечно, от того, где идешь. Там, где мы проходили, было довольно много мирных жителей, которые не ушли. Но были дома, вокруг которых были построены укрытия, мешки с песком, пулеметы, то есть эти дома были пустые, но случалось, что кого-то там видели. Тут уже не ходили выяснять, зашел туда мирный житель или кто-то другой, просто от этого зависит жизнь. Так туда тоже стреляли. Жители встречали нас во время продвижения.

Махали белыми тряпочками, платками, бросали рис на дорогу. Я не знаю, может, они нас так встречали потому, что боялись нас. А может, они в самом деле были рады. Трудно сказать. Потому что, когда мирный житель видит, как на него идут люди с оружием, он, хочешь — не хочешь, начинает выкручиваться, показывать свою радость. Это своего рода самооборона.

А для меня было предпочтительнее, чтобы там вообще было меньше людей, не важно, террористов или мирных жителей. Чтобы там было как можно чище. Хочется чтобы... Не знаю, не хочется стрелять, не хочется убивать. Вообще не хочется стрелять. Вдруг ни с того ни с сего нужно убивать, нужно что-то делать такое. Хочется, чтобы ничего этого не было. Но если уж приходится, то ничего не остается. А когда все кончается, то радуешься прежде всего, что ты цел и невредим.

С кем мы сражались? Мы сражались с арабами. Я их никак не разделяю. Для меня араб — это враг. Для меня лично. И нет никакой разницы, террорист он или не террорист. Я считаю, что нужно как-то с ними покончить. Нужно что-то сделать с ними. Просто показать им, что Израиль способен... устроить им такую встряску, чтобы они наконец почувствовали, где их место. Можно сказать, что любой араб — враг. Потому что те же арабы, которые живут в Иудее, Самарии, Газе, они... все это исходит от них тоже — взрывы, жертвы среди мирного населения. И даже если они какое-то время ведут себя тихо, есть такое чувство, что после этой тишины что-нибудь последует, что они что-нибудь опять приготовили. Поэтому должно быть какое-то решение. Военное? Не знаю, если нужно, то военное.

## СВЯЗИСТ

*(Михаил Герцман, 36 лет, род. в г. Черновцы, в Израиле с 1969 года, радиожурналист)*

Я был прикреплен к дивизии десантников в качестве радиста бронетранспортера. Войну я начал на четвертый день в небольшом селении недалеко от Рашадие. Наша дивизия была во втором эшелоне, в первом были танки. Так что нашей основной задачей было выявление и уничтожение террористов. Если они сдавались —

их разоружение и передача в тыл. Если не сдавались — то мы их должны были уничтожить.

Эта война... мне даже трудно называть ее войной. Потому что перед тобой не было регулярной армии, то есть людей в мундирах. В данном случае был противник, опознавательным знаком которого был автомат. Или граната. Не было какого-то единого фронта, по крайней мере в нашем, западном, направлении. В этой войне противника сначала слышишь, а потом видишь. И чаще всего видишь его потом — в недвижимом состоянии, или когда он уже обезоружен и находится в плену.

Непосредственно с террористами мы столкнулись, когда район мы вроде бы заняли, однако там находились еще их разрозненные группы, которые бродили в лесах и горах, и там мы впервые встретили группу из пяти или шести человек. Перед нами шел бронетранспортер командира дивизии и еще пара машин, и по нашей колонне открыли огонь из легких пулеметов и автоматов.

В первую очередь я, конечно, стал искать укрытие. Никакой команды не было — просто инстинкт сработал. Когда ты находишься под пулями, взрывами, начинаешь чувствовать, что... страшно. Начинаешь действительно бояться за самого себя, за товарищей. И чувствуешь, что только сам можешь себя спасти, никто тебе в этом не поможет. Однако страх этот притупляется потом. И реакция наступает тоже потом. А вот в эту минуту, хоть и страшно, но ты как-то собран и зол на тех, кто в тебя стреляет, и хочется заставить их замолчать, убить. Я стрелял и видел определенную цель. Цель выглядела как живые люди, которые перебежали с одного места на другое и стреляли в меня. Но в эту минуту я не думал, что это живые люди. Я думал, что это куклы. Куклы, которые хотят меня убить. Которые хотят, чтобы меня больше не было. И у меня было только одно желание: заставить их замолчать. Навсегда. Я предполагаю, что в одного я попал. Предполагаю, потому что мы вели огонь не прицельный, а рассеянный, и на моем участке, очень узеньком, были убитые. Двое. Так я предполагаю, что одного я убил. Рад тому, что убил? Я об этом не думал. Я радовался тому, что сам живой.

Видел я пленных. Многих мы сами брали в плен. Они сдавались. Нам было приказано не стрелять, если человек бросает оружие. Я совру, если скажу, что у меня не было желания нарушить этот приказ. Террористов, с которыми мне пришлось столкнуться, я бы разделил на две группы: взрослые и дети. Со взрослыми

у меня не было проблем, потому что я знал, что передо мной стоит взрослый человек, который может отвечать за свои поступки. А с детьми была очень неприятная ситуация. У нас не было с ними боя, мы просто случайно на них набрели. Это были дети 10-и, 11-и, одному было, кажется, 12 лет. У них были автоматы — “калашниковы”, гранаты и был даже гранатомет. Они испугались и сдались. Но не так, как сдаются взрослые, которые обычно бросают оружие и поднимают руки. Они просто, увидев нас, сгруппировались в одну кучу, их было около восьми человек. И стояли. Стояли, молчали и испуганно смотрели на нас. Но ребенок, держащий в руках автомат, сколько бы ему лет ни было, во многом отличается от ребенка, у которого в руках ничего нет. И что интересно? Когда мы их разоружили, они стали похожи на обычных детей — они сразу же испугались. А у нас сразу прошла вся злость. Стояли перед нами просто дети, вот-вот заплачут, без оружия, без ничего. И вот тогда, в такие моменты, появляется в тебе жалость к твоему противнику. Потому что такие же дети стреляли в наших ребят из-за угла, сзади, сверху. Но вся ненависть этого ребенка пропадает, когда он видит, что за идеологию взрослых ему придется, может быть, платить жизнью. Другое дело, когда речь идет о взрослых. Взрослые более расчетливы во всем, что касается игры со смертью. Поэтому они убегали, прятались. В детях нет этого расчета. Они не рассчитывали на жалость. Они испугались так, как пугаются дети. Как дети боятся темноты и лешего, так испугались они, когда поняли, что это не игра в войну, а действительно война и на этой войне можно погибнуть.

Я знал, читал о том, что палестинские террористы вербуют детей, воспитывают их так, чтобы они могли в будущем пополнить ряды этой организации, но они пополняют, уже начиная с 9-и и 10-летнего возраста. Мне рассказывали, что парень, у которого один из таких вот малолетних террористов ранил друга, этот парень погнался за ним на улице в Тире и поймал его. Этот малолетка бросил автомат, когда убегал. И парень догнал его, повернул к себе и... ничего не смог ему сделать. Даже не ударил. Не смог ударить, потому что увидел перед собой страшно испуганного ребенка.

Были и радости. Радовался тому, что один раз удалось позвонить домой. Радость была оттого, что слышал и читал в газетах, что происходит у нас дома. Ты знаешь, что воюешь здесь один, но там, за твоей спиной, еще десятки, сотни тысяч людей... и ты

точно знаешь, что это не просто один народ, но, может быть, один человек, в котором есть 4 миллиона сердец и 4 миллиона душ. Меня это очень радовало.

Сталкивались мы и с гражданским населением, разговаривали. Принимали нас хорошо, да. Мне в них только одно не понравилось: желание, чтобы израильская армия сделала за них то, что они сами должны были бы сделать. А так это — приятные, симпатичные люди. Особенно христиане. Видели мы и Хадада, и фалангистов, но о большой политике мы с ним не говорили. У нас были свои приказы. Приказы в армии не обсуждаются, хотя... хотя, как это ни странно, но среди резервистов у нас иногда и приказы обсуждались. В моем бронетранспортере был командир дивизионной разведки, и я с ним горячо спорил о том или ином приказе. В конце концов я, конечно, говорил: "Йоси, я знаю, что мне придется его выполнить, но это дубовый приказ!" И он мне сказал: "Может быть. Армия есть армия!" Я не думаю, чтобы это было возможно в какой-либо другой армии, тем более чтобы спорил рядовой с майором. Не думаю. А где ты еще найдешь командира, который бы жарил солдатам яичницу? А насчет либеральности... где еще можно найти армию, которая так либерально относилась бы к своему противнику и к местному населению? Мне трудно понять... я считаю, что брать столько пленных — это просто обуза. Что мы будем с ними делать? Нельзя ведь для них строить новые тюрьмы в Израиле?

Видел я в Сидоне бункеры, где террористы устроили свои склады оружия. Ну, Израилю, конечно, до этого далеко. Там можно было вооружить... наверно, миллионную армию. У нас такой армии нет. Я считаю, что всех пацифистов надо привозить туда и показывать им эти склады, которые фактически были предназначены для уничтожения Израила и евреев. Я бы хотел видеть, останутся ли они пацифистами после такого посещения. Не думаю. Это страшно. Ты приходишь в такой вот склад, обычно это потайное место, то есть хорошо замаскированное, где находится оружие в невероятных количествах, смазанное, упакованное в ящики, из различных стран мира, в том числе — из Союза. По-русски написано: "Осторожно — мины!", "Патроны такого-то, такого-то калибра..." И ты знаешь, что это оружие не было предназначено для того, чтобы убивать ливанских жителей. Вот тогда начинаешь понимать, что все жертвы, которые были и будут еще, они не напрасны.

Когда я вернулся в Израиль, я был и приятно удивлен, и разочарован. Внешне вообще не было видно, что идет война. До нас доходили слухи, что много резервистов мобилизовано, а оказалось, столько мужчин на улице — ездят на машинах, ходят на работу, в кино. Это было неприятно, а с другой стороны, я чувствовал, что они, вот, неспособны, их не взяли, они не нужны, а в тебе нуждаются. И где-то я себя чувствовал выше их. А разочарование было, что там люди воюют, а здесь — гуляют. Как обычно. Это внешне. А когда начинаешь говорить с этими людьми, то видишь, что они с тобой, они думали о том, что происходит на Севере, только об этом, они слушают радио, только об этом говорят между собой, для них основная жизнь — там.

Жена и дети были, конечно, очень рады, что я вернулся. Я им ничего не рассказывал, прежде всего — детям. Почему? Потому что я боюсь, что мои дети будут относиться к арабам, как к своим врагам. Я не хочу этого. Для себя я, конечно, разделяю арабов. Есть арабы и арабы. Но это не может сделать ребенок. Не хочу, чтобы он ненавидел арабов только потому, что они арабы. А жене... мне через месяц надо вернуться, снова в Ливан. Зачем ее пугать?

Я хочу надеяться, что вся эта история — конфликт Израиля с его соседями — закончится до того, как мой старший сын пойдет в армию. После Войны Судного дня у нас стало на одного противника меньше. Теперь я хочу надеяться, что после этой войны будет на двух противников меньше.

## ПЕХОТИНЕЦ

*(Симха Сариков, 27 лет, род. в г. Душанбе, приехал в Израиль в 1973 г., часовой мастер)*

В первый день, в субботу вечером за мной пришли прямо домой. Показали повестку и забрали. Наша задача была в этот раз прочесать местность. Чтобы танки могли пройти спокойно. Прочесать, значит, от террористов. Во всех вади, рощах и в городе тоже, в подозрительных домах. Вначале прочесывали около Тира. Были все время в напряжении, с первой минуты ждали чего-нибудь.

И когда это случилось, было совсем не так, как я ожидал. Мы стояли в стороне рядом с танками, прикрывали их. И тут из-за одного дома вышел какой-то парень, мальчишка, можно сказать, лет 12-и, поставил гранатомет и выстрелил. Метров за пятьдесят перед нами. И попал прямо в танк. Ребята хорошо отделались — там были только легко раненные, те, кто как раз сидел в танке. Мы тут же побежали за этим мальчишкой. Он был с закрытым лицом. Вроде маски такой. Только глаза открыты. Там были проулки, переулочки. И он вскочил в один дом. Мы окружили весь этот квартал и стали прочесывать. Страшно было, конечно, но мы все были такие злые, прямо кровь кипела. Потому что мы видели, что с танком стало, и думали вначале, что там все убиты. Прочесывали мы дом за домом. Вначале стреляли в каждую дверь, бросали гранату, а потом входили внутрь. А потом нам дали приказ не стрелять, потому что в квартирах могли быть бункера с оружием и как бы самим не подорваться. Там мы поймали не только этого мальчишка, но еще человек десять. Тоже мальчишки, лет по 15. Все вооружены. Все были с открытыми лицами, без масок, так что сначала мы и не знали, кто стрелял по нашему танку. Они нас испугались страшно. По лицам было видно. Они были распределены в нескольких домах и оттуда начали нас обстреливать. Из "калашниковых". Мы тут же дали ответный огонь, сильный, и они выкинули белый флаг. Потом мы их собирали по домам. В одном было двое человек, в другом — двое, в третьем — один мальчишка... Наверно, это он стрелял по танку, потому что рядом с ним мы нашли гранатомет. Валялся в стороне. Ощущение было, конечно, паршивое, когда мы видели этих ребят. Дети держат в руках оружие! Я скажу, что я чувствовал... в общем, что мне надо стрелять в ребенка... у меня было такое чувство... не знаю, как такому ребенку могли дать в руки оружие. Я, конечно, готовил себя к тому, что иду на войну, что буду стрелять, может, даже убивать, я на это шел, но я не знал, что мне придется иметь дело с детьми. И нам с самого начала дали приказ — ни женщин, ни детей, ни стариков не трогать. Нам только не сказали, что эти дети будут в нас стрелять. И в такие моменты они были для нас просто террористы, потому что, если человек взял в руки оружие и открывает огонь, он уже не может быть мирным жителем. И дети эти — они не плакали, не кричали, вид у них был такой довольно злой, очень злобный, прямо готовы тебя съесть. Натуральные убийцы — это по виду было ясно. Натуральные убийцы. Я не знаю,

как они сдались. У нас были несколько раз стычки с ними, и тогда приходилось просто их кончать.

Когда мы прочищали вади, террористы прятались в пещерах. И мы их оттуда выкуривали. Там уже с нами были танки. Где танки могли пройти, они проходили и стреляли по точкам, которые мы находили. И дальше уже не надо было ничего делать — террористы выходили сами. Выходили или оставались там. В вади было намного тяжелее, потому что там мы не знали, что нас ждет и где. И мы, как говорится, просто шли вслепую. Деревьев мало, травы много. Много всякой зелени. И пещеры, которые очень тяжело заметить. Внизу, наверху, всюду. Пещеры или бункера, которые они сами сделали. И вот мы шли без танка, втроем. Такая группа из трех человек. И заметили что-то подозрительное в пещере. Не то кто-то шевелится, не то... Приятель мой заметил. Так мы сразу насторожились. Обошли пещеру с другой стороны. Передали по радиации, чтобы нас прикрыли. Машины наши двигались наверху, мы шли по ущелью, а пещера была под нами. Ее сверху даже не было видно. И террористы могли бы делать что вздумается. А так мы их заметили, сделали круг, прошли прямо над пещерой и бросили туда гранату. Одну гранату. Послышались крики, визг. Мы не прыгали в пещеру после взрыва, как обычно нас учили на тренировках. Не то что боялись, просто не хотелось лишних жертв. Потому что кто знает, что там есть? Мы окружили пещеру, и они сами вышли. Там было трое человек. Взрослых, лет по 27. Там было много оружия и продовольствия. И когда их начали допрашивать, они показали еще несколько пещер, где тоже было оружие. Ночами они выходили, держали связь между собой. И жители местные им помогали. Много помогали. Сами террористы говорили на допросах, что они были в таком-то селе, там получили еду. Некоторые называли имена, некоторые — нет. Были такие, что... прямо натуральные, пропитанные террористы. Только крови хотели. Те ничего не называли. И таких очень тяжело было брать, потому что они не сдавались. От этих троих мы получили сведения, что дальше есть еще одна пещера и там прячутся другие террористы. Мы туда пошли, и, когда только стали приближаться, они открыли по нас огонь. Из "калашниковых" и гранатометов. Туда мы даже не подходили. Вызвали подкрепление. С вертолета сбросили несколько дымовых шашек, и тогда только мы смогли приблизиться. Заняли позиции и начали их обстреливать. Они так и не сдались, пока мы их всех не прикончили. Пока не стало тихо.

Тогда мы вошли в пещеру, и там было человек пятнадцать. Убитых. Зрелище, конечно, неприятное, но привыкаешь. Нет выхода. Кого-то из них, наверно, я застрелил, потому что я видел цель и зря патроны не тратил. Было очень много трупов там... До сегодняшнего дня у меня есть очень неприятный отпечаток от этого, знаете, стрелять в людей... в общем, я не могу это объяснить. Тяжело объяснить. Но оружия столько, столько оружия мы там нашли — настоящие склады! Новенькое оружие, в ящиках все запаковано. Очень много оружия. И террористы — настоящие смертники. С ними нельзя было ни о чем говорить. Так я решил, что правильно эту операцию сделали. Она справедливая, правильная. Столько оружия!.. Один раз мы нарвались на такой склад, и нам просто повезло. Самолеты, когда бомбили это место, в него не попали. Подземный бункер, с воздуха не достать. Так мы, когда прочесывали это место, увидели бункер и бросили туда гранату. Там начало дымиться, и мы решили отойти, потому что увидели вокруг еще несколько бункеров. Просто решили не рисковать. В такие моменты нельзя быть героем. Отошли в сторону, и в ту же минуту там, куда мы бросили гранату, что-то взорвалось. Сильный взрыв. Снаряды, наверно, взорвались. Взрывная волна была настолько сильной, что нас прямо бросило на землю. А если бы мы там остались стоять, от нас бы ничего не осталось.

Это было в первую неделю, и больше террористов мы уже не видели. Прочесывали роцци, но там ничего не было, кроме змей, бананов, апельсинов. Потом нас перевели охранять лагерь пленных в Сидоне. Сказали, вот вам неделя отпуска — будете пленными охранять. Пленных там было много. Каждый день приезжали автобусы, и увозили их, и снова привозили. Новых. Целый день они ничего не делали. Просто сидели на улице. Их допрашивали. Обращались с ними неплохо. Хотя надо было им дать условия гораздо хуже. Я бы им, например, не давал пить. Но у меня не было выхода: я знал, что он пленный, что завтра я сам могу быть в плену, что если я ему не дам пить, то и мне могут не дать. Так я давал. Пленный — он и есть пленный. Человек без оружия. С одной стороны, было их жалко, с другой — все вещи, которые они проделывали... так я скажу, что какая-то ненависть к ним, конечно, была. С начала войны это у меня было. Ребята наши, которые говорили по-арабски, с ними разговаривали, так те, террористы, говорили, что они не виноваты, не хотят войны, хотят жить в мире, но не могут, потому что у них нет государства. В общем, оправдыва-

лись. Я скажу, что их надо было брать в плен, потому что завтра эти люди опять возьмут оружие и начнут стрелять. Надо было им дать понять, что они ведут войну не с теми, кто хочет их уничтожить, а с людьми, с которыми можно вести переговоры. Среди них были такие, которые вообще не имели представления, что такое Израиль, потому что их пропаганда хаяла Израиль с ног до головы. Они не получали точной информации, как оно есть. И, когда они убедились на самом деле, как с ними обращаются, гуманно, так они, видимо, просто поменяли свое мировоззрение. И мне кажется, что эти люди уже больше не возьмутся за оружие. И дети... Я думаю, что им надо было воспитательную работу пройти. Когда их, 200 детей кажется, отпустили, я думаю, это очень правильный шаг был. Потому что ребенок, как баран. Куда пастух его погонит, туда он и идет. Ребенок просто не понимает, что он делает, на то он и ребенок. Даже после того, что они в нас стреляли, ранили кого-нибудь, убили... Потому что ребенок — он всегда остается ребенком. У него не может быть никакой ответственности. Но мне кажется, что эти дети больше не возьмутся за оружие, потому что они уже попробовали вкус этого оружия. Не знаю. По-моему, с ними сделали правильно.

И еще. Я человек верующий, так что на войне я каждый свой шаг взвешивал. В этой войне можно было взвешивать. Например, когда мы прочесывали местность, то выскочили террористы из-за деревьев и стали стрелять в воздух. Не в нас. Наверно для того, чтобы мы их заметили, хотели сдаться. По ним сразу открыли огонь, потому что никто не мог знать, куда они стреляют. И я первым их заметил, увидел, что они стреляют в воздух, и я закричал, чтобы наши перестали стрелять. Чтобы зря не убить человека. И у нас даже был точный приказ: ни в коем случае не стрелять, пока в нас не стреляют. Мы были сначала даже удивлены этим приказом, потому что ждать выстрела, а потом отвечать, это было бы даже самоубийством с нашей стороны.

Вся эта война была другой, не такой, как я представлял в Союзе. Очень гуманная война. Прежде всего отношение к жителям. И они нас хорошо встречали. Говорили, хорошо, что вы прогнали палестинцев, они нам уже надоели, как пиявки. И это было приятно слушать.

## САПЕР

*(Юрий Портной, род. в с. Единцы, Молдавской ССР, в Израиле с 1972 г. зубной техник)*

Победителем я себя не чувствую, я чувствую себя проигравшим. Потому что это мои солдаты погибли. И в моем понимании нет целей, которые оправдывали бы эту смерть. Я не знаю, есть ли исключения. Я не думал об этом. Возможно, есть. Вероятней всего, что нет. Конечно, войны без смертей не бывает. И все-таки нам, израильтянам, из этой войны ни черта не вышло. И в самом начале было понятно, что ни черта не выйдет. Есть здесь такое понятие "опьянение силой". Есть много легенд об этом. А выиграть — мы ничего не выиграли. Вот навяжем мир этим ливанцам... А их нужно видеть, этих ливанцев, как я их видел. Нужно видеть этих фалангистов! Отглаженные, одеколоном побрызганы... наверно, целый литр одеколона он на себя вылил. А грязную работу делать не будет, ты за него должен эту работу делать. Он так и говорит: "Вы эту войну начали, вы ее и кончайте!" Кроме того, у них все можно продать и купить. И это распространяется на всю их страну. За бронжилет они были готовы отдать "калашников" или три пачки гашиша. За меховой комбинезон, "хермонит", он свою сестру был готов отдать. И когда мы не хотели продавать, он просто не понимал, как это может быть. Самое главное, что ему это не нужно. Но он, как примитивное животное, видит, что это красиво, и хочет купить. И я уверен, что они точно так же продадут этот мир, когда увидят, что им выгодно это сделать.

Представляя себе будущую войну, я всегда думал о ней с восторгом. Да, это был восторг. А на самой войне произошла такая вещь: будто какой-то автомат отключил весь восторг. И он превратился только в страх. Это было на четвертый день моей войны, когда палестинцы обстреляли базуками один из наших передовых постов. В 150 метрах от нас. И мы пошли туда вытаскивать тех, кто остался. Убитых не было, только двое тяжело раненых. И вот как отключился весь этот восторг: когда человек ранен, ночью, на нем пишут номер. Мажут черной краской лицо и руки и пишут его личный номер. Чтобы ночью, если он умрет и не успеет сказать, кто он такой, можно было его опознать. Моя форма тоже вся была исписана. Нет, ранен я не был — на всякий случай это сделал. Сам. Авторучкой. Так вот, когда я увидел эти номера на раненых, тогда у меня кончился восторг. И начался страх. И я по-

думал: “Господи-владыка, в конце концов ты остаешься только номером!” И если мне страшно и я пишу стихи, чтобы выкричать свою боль, так это только из-за того, что в конце концов, когда отгремят все оркестры и все отплачут свое, человек остается номером. И это мне страшно напоминает громадные кладбища немецких солдат в России. Там только номеров не было — просто кресты с касками. Вот и все.

Мне недавно сказали, что я миролюбив. Я сказал, что я не миролюбив, а жалко мне, что солдаты погибают. А этот человек говорит, что эта большая честь для нас, что есть нам, где умирать. В России негде было. Я уверен, что у этого человека нет детей, у него дети не погибали.

Работа у нас тяжелая. За несколько дней до войны открываются минные поля. И после войны, на протяжении долгих лет (это то, что было в Синае) ты работаешь как чернорабочий: строишь-взрываешь, строишь-взрываешь, строишь-взрываешь. Есть очень много вещей, которые для нас превратились в обыкновенную рутину и которые у других вызывают большой страх. Например, минировать поля против пехоты. Это маленькая мина. 700 грамм. И вот, когда ты прорываешь землю... если это в Синае, там не так страшно, потому что в Синае песок, а вот на Голанах — там страшнее всего, потому что там земля такая комковатая. И каждый комок бросаешь и думаешь, это моя или это не моя, моя-не моя. Я написал об этом стихи:

Мины взрывают так:  
Сперва роят яму  
И думают, эта — моя,  
Потом заряжают мину  
И думают, эта — моя,  
Потом ее засыпают  
И думают, эта — моя,  
Но все кончается тихо,  
И не шевелится земля.  
Потом далеко и долго  
Тянут запал вокруг  
И очищают медленно  
Землю с колен и рук.  
Тебе говорят, как кончишь —  
Пойди и напейся всласть,  
Потом возвращайся снова,

Новое поле класть.  
И снова он роет яму  
И думает, эта — его,  
Потом он положит мину  
И думает, эта — его,  
Потом он ее засыпает  
И думает, эта — его,  
И мина взорвалась.  
Поле. Багровый туман.  
Ничего.  
Тебя подняло не больно  
На метров пятнадцать в небо,  
И видишь ты сверху: солдаты  
Роят минное поле,  
И жизнь твоя — небыль.  
И смерть твоя — небыль.

Вот это ощущение — “моя” — всегда возвращается. Не только в минах, но и когда идешь взрывать что-то. Вначале думаешь,

что это не ты сам дрожишь, а руки твои дрожат. На самом деле это внутренняя дрожь. Ты не знаешь, что будет. Иногда не взрывается, и тебе надо пойти и посмотреть, почему не взорвалось. И каждый шаг, как будто приближение к вечности, потому что ты никогда не знаешь, где взорвется и когда. И вот тогда начинаешь верить в Бога. Я верю. Я не религиозный, но я верю глубоко. На войне это очень помогает, эта вера. Всегда есть какая-то молитва к Нему. Даже не молитва, а часто одно-единственное слово: Боже! И что интересно: эта молитва к Богу не только для того, чтобы Он тебя спас от твоей мины, но и для того, чтобы Он тебя спас от чужой мины. Потому что, когда ты минируешь поле, ты не один, это пять человек идут в ряд, в двух метрах друг от друга. И, если взрывается противопехотная мина, так в тебя может попасть осколков пятьдесят. Есть, конечно, и вражеские мины: палестинцы ими весь Ливан нашпиговали. Но здесь ты уже превращаешься в солдата. Если лег на вражескую мину, ты солдат, но, если лег на свою, ты сапер.

Врагов я в этот раз видел просто в бинокль — и сирийских “коммандос”, и палестинцев. Кто они были для меня? Мишени? Нет, не мишени. Арабы? Нет, не арабы. Это люди, которые силой обстоятельств, навязанных им, ведут войны с нами, а мы с ними. Мы ненамного лучше их, иногда мы даже хуже. Мы сравнялись. И если я считаю, что мы — люди, значит, и они — люди. Но было какое-то дикое чувство от того, что я в Ливане и воюю с сирийцами. Дикое чувство безысходности. Потому что после Войны Судного дня все почему-то считали, что это последняя война. Но она не была последней. И война в Ливане тоже не последняя. И вся эта страна мне напоминает какой-то громадный военный лагерь. Это не наемная армия, нет. Но в средневековье были такие государства, которые занимались войной, этим они и жили. Вот в такой стране я живу. И остаюсь здесь потому, что очень ленив и никуда отсюда не поеду.

## ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Амос Оз

### О МЯГКОМ И НЕЖНОМ

(монолог мошавника)

“По мне, можешь называть меня, как тебе угодно. Чудовищем, убийцей, — мне все равно. Только запиши, пожалуйста, что у меня нет ненависти к арабам. Ничего подобного. Среди арабов, особенно среди бедуинов, я чувствую себя куда лучше, чем среди жидов. Арабы — те, которых мы еще не испортили, — люди гордые, умные, когда нужно — жестокие, когда нужно — щедрые. А у наших жидов душа кривая. Чтобы ее выпрямить, нужно здорово перегнуть их в другую сторону. Вот тебе вся моя “Тора на одной ноге”.

По мне, можешь обзывать наше государство, как тебе угодно. Можешь даже назвать его иудеонацистским — как профессор Лейбович. Пожалуйста. Как это говорится? — лучше живой иудеонацист, чем мертвый праведник, да? Так вот: я хочу жить. И хочу, представь себе, чтобы мои дети тоже выжили. С благословения Папы Римского или без него. А также всех этих умников из “Нью-Йорк таймс”. И если кто-нибудь поднимет руку на моих детей, я готов его уничтожить — нарушит это пресловутую “чистоту нашего оружия” или не нарушит, мне плевать. И мне плевать, будет это христианин, еврей, мусульманин или язычник. Потому что в истории ведь как? — если человек не способен убить врага, то враг является к нему в дом и убивает его. Железный закон.

Даже если ты докажешь мне как дважды два четыре, что война, которую мы сейчас ведем в Ливане (а мы ее еще не закончили!), — нехорошая война, грязная, фу! — нееврейская война, — мне, знаешь ли, все равно. Скажу больше: даже если ты мне докажешь как дважды два четыре, что мы не достигли и не достигнем в Ливане ничего — ни установления дружественного правительства, ни разгрома сирийцев, ни изгнания Ашафа, ни Хадада, ни сорока километров, — мне без разницы. Все равно она стоит того, эта война. Даже если через год по Галилее опять начнут лупить из “катюш” — тоже без разницы. Ну, что ж, будет еще одна война, будет вдвое больше смертей и разрушений — пока им не надо-

ест. И знаешь, почему она стоит того, эта война? Потому что она снова возбудила против нас гнев так называемого “цивилизованного мира”, и на сей раз, быть может, окончательно. И это, быть может, раз и навсегда положит конец всей этой болтовне об уникальной еврейской морали, об этическом уроке Катастрофы, о евреях, которые, мол, вышли из газовых камер чистыми и возвышенными. Может быть, мы наконец покончим со всем этим дерьмом. Тот погромчик, что мы устроили в Тире, Сидоне и Эйн-Хильве (жаль, что не прикончили весь гадюшник), и наши замечательные бомбежки Бейрута, и пресловутая резня (пятьсот арабов — тоже мне “резня”!) в тамошних лагерях (жаль, что не мы это сделали, а фалангисты) — все эти наши добрые дела похоронят наконец, быть может, бесконечную болтовню об “уникальном народе” и “светоче наций”. Дерьмо на постном масле! Кончено! — нет уникальности, нет светочей, слава Богу — кончено!

Можешь записать: я вовсе не стремлюсь быть лучше Хомейни, или Брежнева, или Каддафи, или Асада, или госпожи Татчер, или Гарри Трумэна, который двумя бомбочками прикончил сразу полмиллиона японцев. Быть умнее, чем они, — да! Быть хитрее, сильнее, действовать эффективней — да! Но я не вижу нужды быть лучше или добрее. Скажи, разве злодеям так уж плохо в нашем мире? Разве им чего-нибудь не хватает? Да они руки-ноги оборвут тому, кто на них полезет! А иногда и тому, кто не полезет, — тоже. А если им чего захочется и у них есть на это силы, они запросто заглатывают все, что подвернется, и нет на них расстройства желудка, и кары небесной — тоже нет. Так вот, я хочу, чтобы Израиль тоже вошел в этот клуб “избранных”. В добрый час! Может, нас наконец-то перестанут жалеть и начнут бояться. Перестанут наконец восторгаться нашей “прекрасной душой” и начнут бояться нашего безумия. Пусть бояться! Пусть называют нас безумными. Пусть считают нас бандитами, дикарями, варварами. Нецивилизованными людьми, способными впасть в истерику оттого, что у них убили одного — “всего” одного! — ребенка. Способными из-за этого взбеситься и сжечь все нефтяные поля на Ближнем Востоке. Кстати, если это — упаси Боже! — окажется твой ребенок, ты заговоришь по-другому. Пусть в Вашингтоне, Москве, Дамаске и Пекине помнят, что, если стреляют в нашего посла — даже в консула, даже в чиновника, наклеивающего марки на дипломатическую почту! — мы способны “вдруг”, “ни с того ни с сего”, еще до завтрака начать третью мировую войну. И знаешь? — не

улыбайся — такой облик даже привлечет к нам некоторую симпатию всей этой современной западной молодежи, этих “милых” западных интеллектуалов, этих расфуфыренных светских дамочек. Еще бы — если мы так себя ведем, значит мы доведены до отчаяния. А если нас довели до отчаяния, значит мы жертвы несправедливости. А если мы жертвы, значит нужно срочно организовать демонстрации в нашу поддержку и отождествиться с нашим “правым делом”. Такова уж извращенная логика этих свихнутых прекраснодушных. Почитай Фанона. Впрочем, не в демонстрациях дело. Главное — что вокруг нас начнут ходить на цыпочках, чтобы, не дай Бог, не раздражить раненого зверя. Вот и пусть ходят вокруг нас на цыпочках своих копыт, — пришло время!”

Мы сидим на веранде приятного деревенского дома, в одном из преуспевающих израильских мошавов. Мы смотрим на запад, где заходит солнце. Пахнет апельсинами. Айс-кафе стынет в тонких высоких стаканах. Мой хозяин, человек около пятидесяти, грузный и сильный, в коротких спортивных брюках без майки (тело отликает синеватым загаром), сидит, задрал натруженные за день, потрескавшиеся ступни на край деревянного стола. Это человек, довольно известный в определенных кругах, трезвый и прагматичный. Сейчас его глаза задумчиво скользят по окрестным холмам. Хриплым прокуренным голосом он диктует мне конспект своих раздумий:

“Есть еще одна штука — может, поважней всего остального, самый сладкий плод этой сочной ливанской войны. Сегодня ненавидят уже не только Израиль. Сегодня, с нашей помощью, ненавидят уже и всех наших благоухающих еврейчиков во всех дырах и щелях, куда они позалезали — в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, во Франкфурте, в Монреале. Наконец-то коснулось этих симпатичных, милых жидков, которые из шкуры вон лезут, чтобы доказать, что они не имеют ничего общего с “израильскими бандитами”, что они другие — чистые, порядочные — евреи. Помнишь, как наши ассимилянты в Вене и Берлине умоляли антисемитов, ради Бога, не путать их с вульгарными и вонючими “остюде”, которые прямо из своих украинских и польских гетто лезли в их “цивилизованный” круг? Нашим чистеньким жидкам ничего не поможет — как не помогло их предкам в Вене и Берлине. Пусть кричат хоть до завтра, что они осуждают Израиль, что они не такие, что они всегда предпочитали быть жертвой, а не палачом,

что они вообще призваны преподавать гоим правила христианской морали, обучать тому, как подставлять вторую щеку, — ничего им не поможет! Сегодня они там получают из-за нас, и я скажу тебе — одно удовольствие видеть это. Душа радуется! Разве не эти жидаы убедили гоев уступить подонкам во Вьетнаме, уступить Хомейни, уступить Брежневу, разве не они убедили гоев, что любовь лучше войны, а доктораты о любви и войне — еще лучше?! Ну, так вот — теперь с этим покончено! Теперь самый хитро замаскировавшийся жид с рождения отмечен: мало того, что он распял Христа — он еще распял Арафата, в Сабре и Шатиле. Его отождествляют с нами, что бы он ни орал, — и это прекрасно! Оскверняют его кладбища, поджигают его синагоги, обзывают всеми милыми древними кличками, выгоняют из всех порядочных клубов, немножко убивают его детей, немножко подталкивают снимать мезузы с домов, менять квартиры, менять профессии, еще немного — и напишут на его бруклинском дворце: “Жиды, убирайтесь в Палестину!” И знаешь — они таки уберутся в Палестину. Выбора не останется!

И все это — наш навар с ливанской войны. Так разве она того не стоила? Еще немного, и начнутся славные деньки: евреи повалят в Израиль. Репатрианты перестанут эмигрировать, эмигранты начнут репатрироваться. Наши ассимилянты поймут наконец, что не помогут все их попытки демонстрировать свою добрую волю и подвизаться на ролях “совести человечества”. Эта “совесть человечества” получит через задницу все то, что она упрямо не желала впустить в свою тупую башку. И ей останется одно: вернуться домой. Сколотить здоровенный забор вокруг своей страны, поставить по углам вышки с автоматчиками и бить по мозгам всякого, кто осмелится пикнуть. Всякого, кто осмелится поднять на нас руку, — придушить, силой, навсегда! Половину его земли — захватить, другую — сжечь, вместе с нефтью, если понадобится — даже атомной бомбой. Пока у него не пропадет охота лезть. И знаешь, что в конце концов из этого выйдет? Только не свались со стула, потому что тебя ожидает маленькая неожиданность. Получатся те самые, высокоморальные, высокосправедливые результаты, которых ты сам хотел бы достичь, да не знаешь как. Мы уничтожим галут. Мы соберем наш народ в Сионе. И мы установим подлинный, прочный, поистине жизнеспособный мир. Да, да. А после этого мы успокоимся — лет на сорок или больше. А после этого — да сбудется все, о чем мы мечтаем. А после это-

го — никто уже не сумеет выкорчевать то, что мы тут создадим. “Да живет человек в мире в стране своей...”.

А когда мы завершим эту неприятную, эту насильственную главу нашей истории — милости просим: настанет ваша очередь! Пожалуйста, создавайте нам здесь культуру, стройте гуманистические ценности, возводите братство народов, возжигайте свечки нациям — что вашей душе угодно! Этика пророков? — пожалуйста. Образцовое государство, чтобы все гои умилялись? — пожалуйста. Можете даже умиляться вместе с ними. Срывайте для нас аплодисменты человечества, завоевывайте для нас кубки мира по фигурной морали и этической акробатике! Так-то, друг мой: сначала Иошуа Бин-Нун и Йефта из Гиль-Ада очищают поле и стирают из памяти имя Амалека, а уж потом наступает очередь Йсайи с его овцами, волками и прочим зверинцем. При условии, что и тогда мы останемся волками, а гои — овцами, так оно надежней...

Ты спрашиваешь, не опасаясь ли я наплыва жидов, которых антисемиты выгонят в Израиль? Не размячат ли они нас своим оливковым маслом, не сделают ли такими же мягонькими, как они сами? История диалектична, друг мой, она насмешлива. Кто расширил еврейское государство до Давидовых пределов, от Хермона до Рас-Мухамеда? Вот именно, этот последователь Гордона, этот вегетерианец, эта баба — Леви Бен-Двойра Эшкол. А кто пытается вернуть нас в крохотное гетто, кто эта глупая ворона, из басни Крылова, заслушавшаяся лисицу, кто отдал весь Синай, чтобы выглядеть “цивилизованным”? Вот именно — вождь “героического” польского Бейтара, “не склоняющий головы”, Менахем Бен-Хасия господин Бегин! Так что никогда не нужно зарекайтесь заранее. Одно скажу: когда люди защищают свою жизнь, им все позволено. Даже то, что запрещено — тоже позволено. Даже выгнать всех арабов с Западного берега, точка!

Ага, “иудеонацисты”? Ну, что ж, Лейбович прав. А почему, собственно, нет? В чем дело? Послушай, друг мой, — народ, который согласился на то, чтобы его уничтожили, чтобы из его детей варили мыло, а из кожи его женщин делали абажуры, такой народ — еще больший преступник, чем его палачи. Он хуже нацистов. Жить в волчьем мире и не защищаться когтями и зубами — это более страшное преступление, чем быть волком. Факт: внуки Гиммлера, Гейдриха и Эйхмана живут припеваючи, нагуливают себе жирок и даже нас поучают сегодня этике и морали по та-

кому радостному для них случаю. А внуки Баал-шем-това и Виленского Гаона, которые так прекрасно разглагольствовали в Праге и Берлине, уже никого морали учить не будут. Потому что их нет — и не будет никогда!

Иди, почитай стихи Ури-Цви Гринберга, вместо того, чтобы читать оливковые сопли Гордона и Бубера. Прочти его стихотворение, которое называется “Мой Бог — Бог народа”. Может, тебе стоит выучить его на память. Может, это когда-нибудь спасет твоих детей. Если бы наши милые, симпатичные предки поменьше писали книг о любви к человечеству и не шли в газовые камеры с пением “Шма Исраэль”, а вовремя вернулись сюда и сами вырезали бы тут — только не падай со стула! — пусть не шесть миллионов, пусть один миллион, как ты полагаешь, что бы с нами сделали? Вот именно: нам посвятили бы одну-две неприятных страницы в учебниках истории и обозвали бы нас разными неприятными именами. И все! Зато сегодня нас было бы здесь двадцать пять миллионов! И наши писатели были бы живы и писали не менее замечательные романы, чем Гюнтеры Грассы и Генрихи Белли, — о нашем чувстве вины, о нашем стыде и раскаянии. И может быть, даже получили бы за это парочку-другую Нобелевских премий по литературе и морали. И может быть, наше правительство даже отчислило бы несколько капель из наших нефтяных рек — на репарации недорезанным арабам. Но народ Израиля жил бы на своей земле. Двадцать, двадцать пять миллионов! От канала до нефтяных полей. И поверь мне, — несмотря на все наши преступления, эти подонки из Москвы, Вашингтона и Пекина сегодня ухаживали бы за нами...

Слушай, что я тебе скажу! Я и сегодня готов, ради народа Израиля, добровольно взять на себя эту грязную работу. Я готов, если уж так необходимо, убивать, жечь, изгонять, вызывать ненависть к нам, трясти землю под ногами галутных жидов, пока им не придется, со скрежетом зубным, дать деру в Израиль. И если мне придется ради этого поджечь парочку-другую синагог — плевать. И если через пять минут после того, как я закончу эту работу, ты устроишь мне Нюрнбергский процесс, приговоришь меня к пожизненному заключению, отправишь на виселицу, а сам отмоешь — хорошенько, с хлоркой! — свою еврейскую совесть, и тебя — такого чистенького, сильного, здорового — пустят в уважаемый клуб цивилизованных наций, — тоже плевать! Я беру на себя эту грязную работу, а ты можешь называть меня, как тебе

заблагорассудится. Чего вы никак не можете понять — может, от вашего чрезмерного ума, — что грязная работа сионизма еще не закончена. Далеко не закончена. Мы могли ее кончить в сорок восьмом году, но вы нас остановили, помешали, не позволили. И все из-за ваших жидовских душонок, вашего государства, ваших хирбет-хизовских комплексов. Жаль! Сегодня все это было бы уже в прошлом, и мы были бы “нормальным” народом — с вегетарианскими ценностями и с немного преступным прошлым. как у всех: у англичан, у французов, у немцев, у американцев, у всех, кто уже успел забыть, как они резали индейских, австралийских и прочих женщин и детей. А что особенного: цивилизованный народ с немного преступным прошлым? Это ведь так принято во всех порядочных семьях! И вообще: я ведь уже сказал — это преступное прошлое я готов взять на себя, вместе с Шароном, Бегинем и Эйтаном. И я готов к тому, что потом, на расчищенное мною поле, придешь ты — и создашь свое розовое, чистенькое, вегетарианское будущее. Свали на меня все грехи — тебе все простится, еще как простится! И “мировая общественность” даже восторгнется твоей совестью! Она впустит тебя в свои аристократические салоны — но только после того, как мои грязные пушки и грязный напалм отобьют у индейцев охоту сдирать скальпы с твоих или моих детей, только после того, как миллионы жидов вернутся домой, после того, как этот дом станет достаточно большим, сильным, просторным, с достаточным количеством комнат.

Почему я все время называю их жидами? Скажу. И не своими словами — я ведь не иудеонацист, а словами Моше Рабейну, того еврея с десятью заповедями, которому даже просвещенные гои выдали удостоверение на моральную чистоту. Вот что он сказал о жидях: “И рассеет тебя Господь по всем народам, но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей”. Вот тебе весь “галут на одной ноге”. Это точное описание жиды. Как под микроскопом. Именно это сионизм взялся уничтожить. Но это невозможно уничтожить, пока жиды не поймут, в каком мире они живут и что их ждет, если они не вернутся домой до наступления тьмы. Да разве жидам втолковать? Они народ жестоковыйный. Они “народ подлый и глупый”. Если ты откроешь глаза и хорошенько глянешь на мир, то уви-

дишь, что тьма уже приближается, она возвращается, и еврей, который будет застигнут тьмой снаружи... мы уже видели, что случается с такими. Так что неплохо, если от нашей небольшой войны в Ливане у жидов немного потемнело в глазах. Пусть страшатся, пусть бегут домой со всех ног — пока не наступила истинная тьма. Ты полагаешь, что я антисемит? Да? Хорошо, сотри то, что записал, зачем цитировать антисемита, запиши лучше вместо этого, что сказал Лиlienблум — он-то точно не был антисемитом, в Тель-Авиве есть даже симпатичная улочка, названная в его честь... (Ц. открыл брошюру, лежавшую на его столе еще до моего прихода, и прочел.) "Разве наши цыганские кочевья — не верный признак того, что мы, как и наши предки, являемся позором человечества и стыдом народов?" Это Лиlienблум, это не я. Послушай, друг мой, я перерыл всю сионистскую литературу, поверь мне, у меня на все есть квитанции. Хочешь послушать Герцля? Пожалуйста: "Главное, чтобы народ был здоров и дела его — справедливы, все остальное можно вытерпеть". Говорят, что Герцль не знал идиша, но эта фраза вышла у него как будто на идише, прямо из его жидовской глубины. Она намечает прямой путь в Освенцим. Тебе недостаточно Лиlienблума и Герцля? Послушай, что говорит Рамбам, наш философ, светоч нашей мудрости. "Это народ, который потерял свою страну, разрушил свой храм и продлил собственное изгнание, потому что не занимался войной и захватом других стран...". Захват, друг мой, — не "защита жизни"! Не "зеленая черта"! Не "война от безвыходности"! Кстати, можешь написать обо мне еще, что я — грязь рода человеческого. Я не возражаю. Напротив. Я предлагаю тебе снова: я сделаю все, чтобы отогнать арабов подальше, чтобы возбудить антисемитизм, а ты напишешь поэму о горькой арабской доле и выйдешь к воротам встречать тех жидов, которых я пригоню сюда, чтобы ты превратил их в "светоч наций". Я сожгу Хирбет-Хизу, а ты организуешь против меня демонстрации и напишешь гневные книги. Договорились?"

Не помню, в этот момент или раньше, я прервал монолог Ц. и высказал вслух промелькнувшую у меня мысль. Не могло ли быть, что злодеяния Гитлера были не только смертельным ударом, но и змеиным укусом? Не мог ли его яд проникнуть в некоторые из наших сердец? Ц. не возражал, не обрушился на меня, он продолжал говорить спокойно, как говорил и рань-

ше, как, наверно, говорил и в самые трудные минуты тех знаменитых операций, в которых когда-то принимал участие.

“Друг мой, если бы прославленные еврейские мозги, все эти Марксы, и Фрейды, и Кафки, и те же Эйнштейны, чуть меньше занимались спасением мира и исправлением человечества, если бы они вместо этого чуть поторопились, на каких-нибудь десять лет! — и создали здесь крохотное еврейское государство, такой независимый еврейский форпост, от Гедеры до Хадеры всего, если бы они вовремя придумали для этого крохотного государства крохотную атомную бомбу, если бы они сделали эти два дела — Гитлера не было бы вообще! Вообще не было бы, понимаешь?! И никто в мире не осмелился бы пальцем тронуть евреев. И мы сидели бы здесь сегодня — двадцать, двадцать пять миллионов — от канала до нефтяных полей. Нам даже не пришлось бы сбрасывать эти бомбы на немцев или на арабов — достаточно, если бы они лежали на нашем государственном складе году этак в 36-м или 39-м, и никакой Гитлер не осмелился бы тронуть ни одного еврея! И все те, кто погиб в газовых печах, были бы сейчас живы — со своими детьми, со своими внуками. Скажи, это действительно было выше сил мирового еврейства: основать здесь крохотное государство с крохотной бомбой уже в тридцатые годы? Знаешь, мы бы, возможно, даже сэкономили бы этим гоям их Вторую мировую войну. А себе — пять-шесть войн с арабами. Послушай, что говорит об этом Тора! “И останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал гласа Господа, Бога твоего”. У тебя не пробегает холодок по спине, когда ты это слышишь? А дальше там говорится о таких евреях, как ты: “Человек мягкий среди тебя и очень нежный... от мяса сыновей своих будет есть... в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой у врат твоих”. Ага, это тебе не нравится?! Видно по твоей физиономии, что ты не получаешь удовольствия от этих слов! Да, это не самое вдохновляющее в обетовании Израилю: есть мясо наших сыновей. Ты прав — это фу! это ужас! Но если мы не хотим, чтобы это случилось с нами еще раз, мы должны в конце концов излечиться от жидовской болезни. Перестать быть “человеком мягким и нежным”. Не на этой планете, во всяком случае. Может быть, на планете маленького принца. Но не на этой планете.

Вставай, друг мой, пошли в дом. Здешние комары недолюбливают израильских левых. Судя по твоему виду, тебе сейчас в самый раз стаканчик виски. Садись, у меня есть хороший виски, даже двух сортов. И "Кампари" есть. И вишневка. Что ты предпочитаешь? Хочешь подумать? Пожалуйста, думай, друг мой. Когда надумаешь — скажешь, и мы выпьем с тобой за жизнь. Бог с тобой. По правде, мне следовало вздернуть тебя и тебе подобных на одной веревке, а я, смотри, вместо этого произношу перед тобой речи и под конец угощаю тебя виски. Может, я и сам уже слегка ожидился? Это ведь липучая зараза...".

"Монолог мошавника" был опубликован в израильской газете "Давар" в рубрике А. Оза "Израиль, год 1982" и вызвал широкий общественный резонанс. Часть читателей восприняла текст как карикатуру на крайних израильских "правых"; другая часть, с теми или иными оговорками, солидаризовалась с тезисами г-на Ц. Писатель А. Мегед откликнулся на "Монолог" рассказом, в котором утверждал, что слова Ц. — просто вспышка горечи и гнева, вызванная бешеной антиизраильской кампанией лжи и клеветы во всем мире; израильский араб-журналист С. Натор отозвался на "Монолог" письмом к Озу, заявляя, что "идеология Ц." реализуется в практическом отношении Израиля к палестинцам. В своем ответе Натору Оз подчеркнул, что не разделяет и осуждает взгляды Ц., но не может принять "комплименты" Натора, который с легкостью осуждает чужой народ, умалчивая о человеконенавистнической идеологии и практике собственных кумиров — террористов из ООП и арабских экстремистов, непримиримость которых порождает явления, подобные "Монологу".

"Внутренняя полемика" г-на Ц. со своим "левым" гостем, равно как и приведенные выше весьма показательные интервью солдат-репатриантов, а ниже — "Письмо сыну" и статья М. Хейфеца свидетельствуют о том, какого накала достигла идеологическая поляризация в современном Израиле и какие мучительные вопросы задает себе израильское общество, пытающее сохранить достоинства и в то же время выжить в живущем по волчьим законам мире, только от евреев требующем "моральной безупречности". Может быть, эти материалы помогут читателю лучше понять позиции различных израильских групп и самому найти ответы на поставленные войной вопросы.

## ЛОЖЬ И ИДЕОЛОГИЯ

Говорят, соратники ругают Арафата за военное поражение в Ливане. Рискую вмешаться в чужие дела, замечу: напрасно. Арафат ни при каких условиях, будь он Наполеоном или Жуковым, не смог бы победить или хотя бы свести вничью битву с израильской армией. Его военное поражение было предопределено в тот момент, когда она получила разрешение атаковать. Неравенство сил было решающим.

Израильское руководство ругают за поражение в иной битве — политико-пропагандистской: мол, наша пропаганда никуда не годилась. В его защиту можно сказать то же самое: оно было обречено на поражение в пропагандном сражении в тот момент, когда приняло решение начать ливанскую войну. Никакой Цицерон или Черчилль не помогли бы ему выиграть битву за мировое общественное мнение. Неравенство сил предопределило исход сражения на страницах газет и журналов.

Все что могли израильские пропагандистские службы сделать. Но их главная линия борьбы проходила не в мире, а в самом Израиле. И здесь они добились немалых тактических успехов — прежде всего в “терминологических боях”.

Война была удачно названа “операцией” “Мир Галилее”. Кто может быть против мира? И если ради него надо провести не войну даже, а лишь “операцию”, то неужели мир не стоит какой-то операции?

Противник был удачно назван “террористами”. Правда, на сей раз он сражался в форме, на фронте, лицом к лицу, но все равно — само понятие “террорист” внушало презрение и отвращение к нему, делало его как бы “незаконным” врагом, “мнимым” солдатом.

Пропагандистский характер этих уловок стал выясняться лишь в конце, когда появился странный термин “милхемет Шлом ха-Галил”, то есть “война “Мир Галилее” (неудобно стало называть

операцией военные действия, длившиеся четыре месяца). Недавно в газетах появилось еще более забавное сообщение: "Из лагеря военнопленных освобождены еще триста террористов, признанных невиновными в террористических актах". Террористы, неповинные в терроре?

Но самой удачной терминологической находкой я считаю термин "резня в лагерях Сабра и Шатила".

"Резня" — дело в Ливане обычное, тут веками разные общины резали друг друга, да и сейчас продолжают резать. Употребление этого термина, сразу придавшего событию традиционный ливанский колорит, успокаивало многих в Израиле. Кое-кто так и писал: "Из-за чего шум? Разве они не резали друг друга всегда?"

Евреям незнакомо понятие "резни". Зато им хорошо знакомо другое понятие — "погром". Отличие резни от погрома состоит, наверно, в том, что резня завершает собой бой. В Сабре и Шатиле боев не было — там расстреливали безоружных и грабили все попавшееся под руку. Евреи такие действия всегда называли погромом, а в мире нет больших специалистов по распознаванию погромов, чем евреи.

Но почему так важно было назвать случившееся не погромом, а резней?

Потому что у погрома есть еще одно свойство, отлично знакомое евреям из их исторического опыта: погрома не бывает без покровительства властей — пусть даже молчаливого и стыдливого покровительства.

Острейшая реакция в Израиле на погром в Сабре и Шатиле, вершиной которой был колоссальный митинг на площади Царей Израилевых и создание комиссии по расследованию, объясняется, по-моему, именно этим обстоятельством. Не стоит переоценивать "абстрактный гуманизм" израильтян: не из-за жертв в Сабре и Шатиле люди спорили, страдали, ссорились, обвиняли друг друга. Убивали миллионы кампучийцев — мы не шевелились, тонули сотни тысяч вьетнамских беженцев — мы не митинговали. Не из-за жертв мы передрались, а из-за самих себя. Потому что погрома без властей не бывает, а властью в Бейруте были мы, выбравшие эту власть.

Сторонники правительства единодушно доказывали: произошел просчет, накладка, ошибка, неизбежные в любом крупном деле; виновные должны быть наказаны; кто именно — выяснит комиссия.

Израильская политическая оппозиция в принципе занимала ту же позицию, хотя, конечно, очень желала под шумок вернуться к власти (кстати, непонятно, почему ее за это желание ругали: если она убеждена, что может управлять страной лучше нынешнего правительства, то просто обязана рваться к власти, используя любой шанс; думаю, что Бегин и Шарон держатся за власть тоже не из одного властолюбия, а потому что считают себя людьми, которые лучше других сумеют защитить интересы Израиля в трудное время).

Итак, принципиальная линия оппозиции не отличалась от линии сторонников правительства.

Подлинная оппозиция правительственной линии возникла в среде израильской интеллигенции, в некоторых кругах молодежи и т. д. Здесь иногда высказывали даже такие фантастические обвинения, как "Израиль скатывается к фашизму" и проч.

Почему могло возникнуть такое поразительное в демократическом обществе обвинение? Почему кое-кто стал поговаривать даже о вероятности гражданской войны? Существуют ли для этого хотя бы слабые, но реальные основания?

Война "Мир Галилее" была первой в истории нашего государства войной, в которой не было единодушия нации (пресловутого "консенсуса"). Не буду касаться чисто политических тому причин — это увело бы меня в сторону. Факт состоял в том, что правительство сочло момент для превентивной войны на редкость удачным, но одновременно понимало, что сознание нации в целом к такой войне не подготовлено. В демократических странах в аналогичной ситуации правительства обычно проводят объявление войны через парламент и одновременно объявляют чрезвычайное положение, отменяя на время войны многие демократические свободы, запрещая митинги и демонстрации, вводя цензуру и так далее. При всех преимуществах такого способа действий для власти у него есть свой минус: армия в условиях чрезвычайного положения воюет гораздо хуже, чем в случае, когда в тылу есть "консенсус", — тем более такая народная по самой своей сути армия, как израильская.

Думаю, что именно поэтому израильское правительство избрало другой метод: глава правительства вызвал к себе лидеров оппозиции и просто солгал им, объявив, что военные действия распространяются только на зону 40—45 километров (теперь уже извест-

но, что в кабинете с самого начала постановлено было идти до Бейрута).

Я не ставлю под сомнение чистоту мотивов этого обмана, который в глазах его автора несомненно казался "святым": ведь благодаря ему он получил желанный "консенсус", единство армии и народа, а в итоге — исключительно успешные боевые действия при минимуме потерь. Сохранение жизни воинов в бою — разве это не оправдание для обмана, вернее — для политической хитрости?

Но у обмана есть липкое свойство: раз получив "законное обоснование", он распространяется далее уже по своим, не зависящим от автора, правилам. И вот мы узнаем от вышедшего в отставку министра, что кабинет (за исключением "избранных") не знал о важнейших военно-политических решениях — например, о вводе войск в восточный, а затем и западный Бейрут. Министры, конечно, равны, но, видимо, одни более равны, чем другие, как у Орвелла. Ликуд в точности повторил осуждавшийся им самим в прошлом метод правления Голды Меир — метод "кухни", а не коллективного руководства.

Дальше — больше. Если одним можно обманывать оппозицию, министров, парламент, народ — в их интересах, разумеется, — то почему нельзя другим? Страна с ужасом наблюдала, как рушатся дотоле незыблемые авторитеты. Великолепный генерал и всеобщий любимец Эйтан говорил о каких-то "неохранявшихся проходах в лагеря", о которых он ничего не знал, а на следующий день эта нехитрая солдатская ложь рассыпалась как карточный домик. Кумир нации, победоносный Шарон доказывал, что оппозиция повинна в резне в Тель-Заатаре, и его разоблачали назавтра. И наконец, Бегин на заседании комиссии по расследованию заявил, что узнал о резне только из сообщений английского радио. Но утаивание информации от главы правительства во время войны есть — ложь! Так Бегин, начавший с обмана "во благо", сам оказался жертвой обмана, рикошетом вернувшегося к нему со стороны его подчиненных...

В этой обстановке массового обмана со стороны людей, которыми лишь накануне Израиль гордился, закономерно возникли сомнения: а все ли в порядке в нашем обществе? И присматриваясь к нему, многие вдруг начали замечать весьма любопытные тенденции, ранее не так уж бросающиеся в глаза.

В нашей среде выходцев из России за подобным материалом не нужно далеко ходить (замечу, что наша среда, по моему убеж-

дению, отражает в своем сознании процессы, типичные для средней массы граждан Израиля). Вот, к примеру, статья, опубликованная в одном из русскоязычных журналов и посвященная памяти израильских спортсменов, погибших на Мюнхенской олимпиаде. История мюнхенской трагедии изложена в ней по классическим рецептам антисемитской литературы, только наизнанку: вместо "еврея" называется "немец". В остальном та же явная ложь, те же "фигуры умолчания", то же перекалывание всей вины на "отверженный народ" (немцев, не сумевших достаточно умно организовать полицейскую акцию против террористов, автор обвиняет в гибели спортсменов в **одинаковой мере** с террористами). А кончается статья таким выводом: "Правы те наши политики, которые предпочитают быть живыми агрессорами, чем мертвыми жертвами агрессии, и действуют по принципу — сначала убей врага, а уж потом спрашивай мнение света!"

В другом номере того же журнала было напечатано такое письмо читателя: "Жизнь безжалостно ломает розовые иллюзии социалистов о возможности мирного сосуществования в пределах маленького государства евреев и арабов... Мы здесь — завоеватели! Эту жестокую истину трудно переварить и еще трудней признать... Добрых захватчиков не бывает. У нас есть только три выхода: кончить жизнь самоубийством для блага палестинцев; покинуть Израиль; оставаться захватчиками. Я лично предпочитаю третий путь".

Выписки можно множить. Вот еще одна статья: "У арабов нет никаких прав на Палестину, так как они явились сюда где-то на рубеже первого и второго тысячелетий, а мы, евреи, прожили здесь тысячи лет, из которых в течение тысячи семисот — в собственном государстве... Мы можем принять как факт наличие палестинского народа на нашей территории, из милости приютить его, не более того. Никакой вины у нас перед ним нет, наоборот — они повинны в том, что поселились на нашей земле".

Проанализировав эти статьи, нельзя не прийти к выводу: в нашей среде существуют люди, исповедующие традиционный антисемитский комплекс идей. Признание человека другой крови и веры чужаком, сколько бы поколений его предков ни жило на данной земле; согласие терпеть его лишь из милости, как факт; готовность его изгнать, как только он покажется неудобным, и пусть о нем заботятся его единоверцы в других странах — все это неизменный комплекс идей, которые душили еврейскую общину на протяжении тысячелетий галута.

Я вовсе не хочу сказать, что “слово превратилось в дело” и так возник бейрутский погром. Наоборот, как все порядочные евреи, я молюсь, чтобы правительство и оппозиция оказались правы, и это был всего лишь просчет, ошибка, за которую виновные (если они есть) будут наказаны. Но что в духовной жизни Израиля существуют явления, по сути своей антисемитские, что суэта и погоня за сегодняшним мелким политическим успехом заставляет определенный круг людей пренебрегать фундаментальными ценностями цивилизации — это, видимо, факт. И этот факт может и должен беспокоить общественность Израиля больше того преходящего вопроса, будет или не будет у нас мирный договор с Ливаном. Ведь это вопрос жизни и смерти Израиля.

Приглядимся к политическим расчетам Арафата. Теперь, когда мы воочию убедились, чего на самом деле стоит его пресловутая “армия”, ясно, что она нужна была ему прежде всего для разыгрывания политических картишек, а не для нанесения удара по Израилю. На что же он тогда рассчитывал?

Он и ему подобные надеялись (и надеются) на то, что правы окажутся авторы вышецитированных статей. Если евреи — завоеватели, то евреям следует противопоставить многовековое сопротивление — его никакой завоеватель не выдержит.

Но еще более важный расчет арафатовцев строился на постепенном перерождении израильтян в народ, духовно подобный им самим, а потому неспособный их превзойти — в конечном счете, и на поле боя тоже. В одной из своих статей в “22” Н. Гутина цитировала Арафата: “Израиль не сможет устоять перед надвигающейся со всех сторон арабизацией: стакан холодной воды, опущенный в океан, не охладит океан, — он сам нагреется. Стакан холодной воды в океане — вот что такое Израиль”.

Если в нашей среде появляются люди, призывающие не соблюдать подписанный и ратифицированный нами договор только потому, что он кажется невыгодным, если появляются люди, провозглашающие, что противник — это, в сущности, тот же традиционный “жид” и теперь наша очередь покомандовать в роли народа-хозяина — значит, у Арафата могут быть надежды, что его предсказания осуществляются. И вот тогда, считает он, когда качественно мы с ними сравниваемся, возьмет верх и количество.

“Неужели вы не видите, — спрашивал Садат, — что евреи просто превратились в арабов другой веры? И именно поэтому я так уве-

рен в будущем. С евреями мы не умели справиться, но с арабами...”.

Поэтому неверен тот аргумент сторонников так называемой “национальной силы” (на деле извращающих великие принципы В. Жаботинского) — мол, мы живем на Ближнем Востоке, мы имеем дело с коварным и жестоким, диким врагом, не соблюдающим договоры, способным на погромы, любые насилия и любую подлость, — и глупо в борьбе с ним сохранять “розовые иллюзии социалистов” (так, кажется, это называют?). Противник-то, оказывается, именно на то и рассчитывает: что мы уподобимся ему. Он боялся нас, пока мы были другими...

Когда Жаботинский говорил, что джентльменом быть хорошо, но фофаном плохо, он был абсолютно прав. Это, однако, не означало, что не надо быть джентльменом. Это означало другое: не надо быть фофаном, оставаясь джентльменом.

Вот почему израильские интеллигенты и часть молодежи правы, по-моему, предупреждая об опасности духовной деградации нашего общества. Они в запале называют эту опасность фашизмом. Я думаю, правильнее и достойнее употреблять термин Арафата: “арабизация”.

И не стоит рассчитывать, что нас спасет личная порядочность и приверженность к демократии лидеров наших националистических сил (каковые качества я за ними безусловно признаю) или моральный и духовный облик множества израильтян. В воспоминаниях бывшего офицера гитлеровской армии, недавно опубликованных в журнале “Континент”, рассказывается, что немецкие офицеры вполне сознавали ужасы расовой войны: известие об уничтожении евреев в Житомире вызвало у многих ощущение, что мир рухнул, расовая политика по отношению к русским казалась им роковой ошибкой; штабы наводняли поток докладных записок с предостережениями. И автор заключает: “релятивизация и извращение права всегда мстят за себя, потому что, в конце концов, право основано на Боге и Его духовном законе”.

Вот почему я думаю, что столь излюбленные сегодня ссылки на преимущества, которые дает сила (и аморальность) в ходе борьбы, — ложны. На самом деле в итоге сила всегда оборачивается бессилием, ибо сила — это не только наши большие батальоны, как думают люди, впервые в жизни обрадованные их созерцанием. Большие батальоны — фактор необходимый, но недостаточный, — иначе Наполеон не оказался бы на острове св. Елены. Сила — это

и международное сочувствие (Арафат, увы, понимает это лучше многих израильтян; разрешите в последний раз процитировать еще одного араба: "Те же качества, которые делают из израильтян хороших солдат, делают из них плохих политиков"); сила — это и спокойная совесть, и глубокая убежденность в справедливости каждого поступка твоего государства. Сила — это и безусловное уважение к его руководителям, не поколебленное их моральной недостаточностью. Короче, сила — это когда мы без хитростей и лжи в душе можем произносить: "Израиль уверен в Боге". Имея вдобавок свою армию.

И потому голоса, которые в разгар военной победы предупреждают о духовных опасностях, мне представляются голосами искренних патриотов. Наверно, когда-то пылкие националисты малевали черной краской на стенах: "Иермияху — грязный предатель!" Наверно, такие же пылкие патриоты страшно гордились собой, когда перебили в Иерусалиме сдавшиеся римские когорты — накануне падения второго Храма. Если мы хотим сохранить третий Храм, нам необходимо с пристальным вниманием очищать себя от скверны главной опасности — опасности нагреться до той температуры, которая окружает нас в арабском океане.

По страницам израильской прессы

*Йоаш Цидон*

#### Письмо к сыну

*Это письмо полковника запаса к сыну-майору действующей армии и активисту движения "Мир сейчас" было написано в октябре 1982 года и опубликовано в израильской газете "Маарив"*

Дорогой сын,

сегодня я видел у тебя в руках два журнала — израильский "Аолам Азе" и американский "Ньюсуик". В первом сфотографирован израильтянин, потерявший на войне сына и выступающий на демонстрации вашего движения с лозунгом по-английски: "Бегин, ты убил моего сына"; во втором, среди прочих снимков той же демонстрации помещена карикатура на Шарона с подписью (тоже по-английски): "Шарон-чудовище!" — и сразу за ней идут фотографии убитых в Сабре и Шатиле.

Ассоциативная цель очевидна — связать в сознании читателей имя Шарона с этими трупами: вот убитые, а вот убийца.

В глазах читателей "Ньюсуика", хотите вы того или не хотите, Шарон

символизирует Израиль, а Израиль для них — это евреи. Их христианское — или мусульманское — воспитание помогает такой ассоциации закрепиться в памяти; а тот факт, что карикатуру нарисовали сами евреи, в памяти не задерживается. Христианство приучило их думать, что евреи убийцы: они убили Иисуса. То, что это было сделано руками римских солдат и что Иисус и его ученики сами были евреями, из памяти христиан давно стерлось.

Не останавливает ли тебя эта опасная параллель? Но она, увы, не единственная. И именно об этом мне хотелось бы с тобой поговорить.

Я не считаю себя вправе вмешиваться в твои политические взгляды, хотя и не согласен с ними. Меня останавливает не только естественная отцовская любовь, но и то уважение, которое я питаю к тебе, как к человеку достойному, глубокому, доброму, отличающемуся абсолютной личной и интеллектуальной честностью, то уважение, которое вызывает у меня твое отношение к своему военному долгу. В июне я встретил тебя в Ливане, после боя с сирийцами: танки и бронетранспортеры твоей части стояли ухоженные, заправленные, надежно укрытые и уже готовые к новому бою; в солдатах ощущались спокойствие и уверенность; ты недаром пользуешься репутацией отличного офицера, требовательного руководителя, хорошего товарища.

Я не считаю себя вправе вмешиваться в твои поступки еще и потому, что знаю: твоими устами говорит любовь к нашей стране. Как и я, ты хочешь видеть ее сильной, доброй, независимой и счастливой.

Но ты считаешь, что к этой цели ведет путь уступок и компромиссов. Молодость заставляет тебя видеть все в черно-белом цвете, и поэтому ты неколебимо убежден в единственности и правильности найденной тобой схемы.

Я думаю иначе. Я был свидетелем становления нацизма и той чудовищной трагедии, которую навлекли на себя своим поведением сами евреи и прочие обладатели "добрых намерений". Я был участником шести войн, которые пережила наша страна из-за нежелания соседей мириться с нашим существованием. Ты свидетель: это не сделало меня циником или пессимистом — просто я научился принимать действительность такой, как она есть, и понял, что благие намерения устилают дорогу в ад, тогда как дорога в рай вымощена трудностями и препятствиями. Жаль, конечно, но это так, всегда так, тому учит нас история.

Мой жизненный опыт научил меня сомневаться во всем и мыслить категориями вероятностей, а не достоверностей, а когда речь идет о вероятностях, то черное и белое исчезают, остаются только все оттенки серого. Это не означает, однако, что я ни во что не верю; напротив — я глубоко убежден в том, что на свете нет "абсолютной справедливости" и "абсолютной несправедливости".

Все, что я говорил до сих пор, — пункты нашего с тобой согласия — или согласия не соглашаться. Но сейчас я хочу сказать о явлении, которое мне представляется угрожающим, и хочу просить тебя отнестись к моим словам со всей серьезностью.

Ты и твои друзья выставили Израиль на "суд народов". Не удовлетворившись судом израильских граждан и, уж безусловно, недовольные дейст-

виями и просчетами израильских руководителей, вы привели правительство Израиля на суд мирового общественного мнения. Вы сделали это в том же порыве ненависти, с которым zeloty разрушали Второй Храм, враги Иисуса обращались к римлянам, чтобы те рассудили их с соперником, евреи-коммунисты призывали "отца народов" расправиться с их братьями-сионистами, а верующие из "Нетурей Карта" звали англичан и "добрейшего" короля Хусейна на помощь против соотечественников-израильтян. Той ненависти, которая побуждает Крайского предавать на заклятие собственный народ.

Ты не согласен со мной? Взгляни на ваши плакаты, выполненные по-английски — уж наверняка не для того, чтобы новым иммигрантам было легче их читать, не так ли? Взгляни на ваши заявления для газет, известных своей ненавистью к Израилю, как та же "Санди Таймс". Взгляни на ваши интервью для чужой и враждебной нам прессы в самый разгар войны. Взгляни вокруг себя!

Я согласен с Шимоном Пересом, когда он возмущается жителями Кирьят-Шмона, которые срывают его выступление, — такие действия недопустимы; но я не понимаю, почему тот же Перес не выступает против международной кампании клеветы, ведущейся против Израиля, и почему он не требует расследования той поддержки, которую это линчевание получает внутри Израиля, от вас.

Вы выставили руководителей своей страны на "суд народов", даже не удосужившись проверить: а кто эти судьи? А эти судьи не отличают — и совершенно справедливо — демократически избранных руководителей Израиля от самого Израиля и его народа.

Своими добрыми намерениями вы уже умостили очередной участок дороги в ад. С точки зрения истории это тяжелая ошибка, куда более тяжелая, чем недостаточный контроль за действиями фалангистов в лагерях (если окажется, что это имело место).

Я обращаюсь к тебе, сын мой: не взывайте к "суду народов"! Взывайте к собственному народу, убеждайте его, воспитывайте его, устраивайте демонстрации, если считаете это необходимым, — но пишите свои лозунги на иврите!. Видели ли вы когда-нибудь, чтобы французы или немцы выходили на демонстрацию по поводу своих внутренних дел под лозунгами, написанными по-английски, чтобы облегчить "Тайму", или "Таймсу", или американскому телевидению возбуждение ненависти к законным руководителям своих стран? Задумывались ли вы когда-нибудь о том, могут ли быть объективны "судьи", которые утопают в море петродолларов, барахтаются в пучине экономических кризисов или покорно следуют воле тоталитарных режимов?

Сверните с этого пути.

Любящий и верящий в тебя отец.

## НАЛЕВО С ЛЮБОВЬЮ, НАПРАВО — С НАДЕЖДОЙ

... Они на меня наседали с трех сторон — швейцарец, американец и еврей, а я, насколько возможно, защищалась.

— Израиль символизирует западные ценности, — сказал швейцарец, строго глядя на меня из-под своих очков. Это был средних лет либеральный интеллеktуал, из тех, с кем раньше было так легко и знакомо общаться, обсуждая часто сходные вкусы в литературе или кино. Обманутый в своей искренней любви к Израилю, он прибыл “убедиться самому” и “выяснить отношения”. Кто знает, может “еще можно что-то спасти”. “Выразить поддержку силам мира”. “Помочь Израилю вновь обрести себя”...

Я пыталась объяснить, что нести крест западных ценностей на Востоке и при этом выжить — невозможная миссия; что Запад пришел к своей демократии через века тираний, к пацифизму — через бесчисленные кровопролития, к идеалам свободы — через колониальные захватнические войны; что так называемые западные ценности — плод многовековых кровавых экспериментов; и что не всегда возможно усвоить готовый конечный результат. И вообще история страны не делается по готовым рецептам. Он не унимался. Я сорвалась, сказав, что у народа, который пережил на Западе Катастрофу, нет особой мотивации распространять западные нормы на Востоке, а у государства, которое видело капитуляцию Запада перед арабскими петрократами, нет оснований эти нормы защищать.

— Поэтому вы решили взять несколько уроков у ваших соседей? — сказал он с упреком. — Сабра и Шатила? Расчлененные трупы, подвешенные на крюках дети?

Я поморщилась, но сказала, что газовые камеры возникли в одной из самых цивилизованных стран Европы, и даже если считать фашизм временным помутнением, то как насчет Хиросимы и Нагасаки? Или вот последнее изобретение — нейтронная бомба? В полном соответствии с западным уважением к имуществу пора-

жает только человеческую плоть. Или “западные ценности” могут уживаться с массовым убийством, только если оно достаточно “технологично”? Лишь бы не топором? И кстати, если уж зашла речь о Ливане, почему именно этот из арабских народов, который поглотил самое большое количество западных товаров, переварил наибольшее количество французской еды, перечитал самое большое количество западных книг и усвоил рекордное количество западных привычек, именно этот народ оказался самым кровожадным?

— Западные ценности предполагают создание защитных механизмов. Происходит консолидация сил, которые этого не допустят...

— Только потому, что “лучше быть красным, чем мертвым”?

С другого фланга на меня наступал еврей (гражданство — американское, место жительства — Бельгия, место рождения — Польша, место отпусков — Израиль) :

— Израиль символизирует еврейские ценности...

“Западные ценности”, при всей расплывчатости этого понятия, еще можно обсуждать. Но с “еврейскими ценностями” — беда, потому что все об этом говорят, но никто не знает, что это такое. Каждый еврей — религиозный и атеист, националист и интернационалист, либерал и консерватор — изложит вам свою версию “еврейских ценностей”. Концепций и версий — не счесть, и каждая из них исключает другую, предлагая нечто совсем противоположное. Из всего прочитанного мной на эту тему у меня создалось впечатление, что под “еврейскими ценностями” чаще всего подразумевают некий набор отношений и норм, сложившихся **вне государственности**. Но попробуйте применить общинные нормы в государстве? Получится примерно то же, что с западными ценностями на Востоке. С еврейскими ценностями нужно обращаться особенно осторожно, иначе можно прийти к выводу Тиммермана. Этот аргентинский еврей отсидел в тюрьме в связи с левым подпольем и прославился разоблачительной книжкой на эту тему. Вынужденный покинуть Аргентину, он принял израильское гражданство, покрутился три года между Тель-Авивом и Нью-Йорком и снова написал разоблачительную книжку — на этот раз против Израиля. В книжке он требует создания “международного еврейского трибунала” (!), чтобы судить израильтян — в первую очередь правительство и генштаб — за “уничтожение... еврейских ценностей”. “Только евреи могут спасти Израиль!” — патетически восклицает Тиммерман. Действительно, евреи так долго спасали

всякие другие страны, что пора им уже начать “спасать Израиль”...\*

Объяснять все это еврею было невозможно, оставалось только воззвать к его доброму сердцу. “Неужели вы не можете оставить эту маленькую страну в покое?” — взмолилась я и нарвалась на истерическую реакцию человека, оскорбленного в своих лучших чувствах.

Но самый главный удар последовал со стороны американца. “Если бы на месте президента Рейгена сидел я, — сказал он, — то во время осады Бейрута я позвонил бы Бегину и поставил ему ультиматум: либо он прекращает бомбить Бейрут, либо я отдаю приказ шестому флоту бомбить Тель-Авив”.

“К сожалению, я не президент, — продолжал он, — но я американский гражданин, который платит налоги. Таким образом, я тоже несу бремя помощи Израилю и вправе требовать, чтобы мои деньги и мое оружие было использовано исключительно в целях обороны”.

Этот типичный американец — бизнесмен солидного вида (седина, клетчатый пиджак, упитанный — настоящий дядя Сэм, как их изображают на картинках) — назвался ярым сторонником Израйля: он считает, что Израиль должен выжить и что палестинцы и арабы должны признать его право на существование. (Если американские “друзья Израйля” — это те, кто признают за ним всего лишь право на существование, то американцев можно назвать также “друзьями” всех остальных государств земного шара — за ними ведь тоже признается “право на существование”!)

Мой американский собеседник “всего лишь” против Бегина и Шарона, потому что “их политика подрывает американские интересы на Ближнем Востоке”. Он жертвует много денег в пользу израильского движения “Мир сейчас” и прибыл в Израиль для участия в конференции “Мир на Ближнем Востоке”, организованной журналом “Нью-Аутлук”.

Я сказала, что не знаю, подрывает ли политика Израйля американские интересы или укрепляет, но что наверняка возможны куда худшие — с точки зрения этих интересов — варианты, чем нынешнее израильское правительство. Он наострил уши. В кон-

---

\*Наш министр иностранных дел Шамир, находясь в Аргентине с официальным визитом, заговорил о том, что много евреев сидит в тамошних тюрьмах. “А как там наш Тиммерман?” — спросили его аргентинцы. Шамир вынужден был ответить, что после истории с неблагодарным Тиммерманом он “на многое смотрит другими глазами”.

це концов, сказала я, когда-нибудь можно и помириться с палестинцами. Или использовать их для дестабилизации реакционных арабских режимов. Палестинцы давно собираются затеять небольшую региональную революцию, но до сих пор их удачно отвлекали "сионистским врагом". А с помощью Израиля такая революция могла закончиться победой, — ведь более половины режимов на Ближнем Востоке давно прогнили. Израиль и палестинцы вместе — непобедимы, вместе они дойдут аж до Рида, сметая на своем пути всех этих ставленников американского империализма — саудитов и хашимитов...

— Я рад, что вы выехали в Израиль, а не в Америку, — ехидно заметил американец. — Эти радикальные идеи вы привезли с собой, конечно, из СССР?

Я ответила, что Советский Союз для меня недостаточно радикален.

— Экспансия угрожает израильской демократии, — сказал швейцарец.

— Зачем вам эти арабы? — сказал еврей.

— Делайте все что вам вздумается, затевайте любые революции, но в пределах зеленой черты! — вскипел американец. — Слышите? В зеленой черте! В черте...

Мы сидели в иерусалимском ресторане, нам подавали вкусную еду, но у всех был порядком испорчен аппетит — пища, казалось, была отравлена желчью. Еврей и швейцарец сохраняли вежливость, мы с американцем еле сдерживались, флюиды взаимной ненависти так и отскакивали от нас. Они все втроем на меня сильно наседали — я переживала личный опыт "американского давления" и "осуждения мировой общественности". Я мешала адскую пропагандистскую смесь: баасизм смешивала с марксизмом, всплывшие из памяти цитаты из советских газет — с декларациями Шарона, "Бейтар" — с "Мацпенем"; я собирала взрывчатку откуда только возможно, и мне было плевать, как и из каких элементов будет собрана моя самодельная адская машина — лишь бы взорвалась!

— Провинция Социалистического Интернационала, которая когда-то существовала в зеленой черте, — сказала я, — действительно была инородным телом на Ближнем Востоке. Она действительно не имела права на существование. И она действительно была уничтожена в 1967 году. На ее месте было создано ближневосточное государство нового типа. К власти пришли генералы, соединившие

западную технологию с региональной психологией. В 1982 году это государство провозгласило свою независимость от американского диктата и начало освободительную войну против намерения реакционных феодальных режимов при поддержке американского империализма уничтожить его как независимую региональную силу, загнав в зеленую черту...

Американец перестал улыбаться и оставил десерт, еврей схватился за сердце, один швейцарец, на первый взгляд, не пострадал. Меня тошнило. Террор — оружие слабых.

— Мы маленькое государство. У нас в руках ничего, кроме шароновской бомбы. И потому — схватить американских заложников в Бейруте и, затягивая смертельный узел с двух концов — израильского и сирийского, топить, топить их в кровавом ливанском болоте, пока не разожмутся пальцы, судорожно сжимающие "Рах Americana"...

Мои декларации, обращенные к иностранным борцам за мир, были в значительной степени рассчитаны на взрывной эффект. Но была в них и доля истины. Конечно, акт уничтожения не состоялся. Просто "провинция Социалистического Интернационала" сама по себе трансформировалась в региональное государство. Из-под социалистического сионизма сами собой вылезли "библейские границы"; из-под доктрины безопасности — региональные геополитические концепции. Израиль меняет кожу. Возникла оптическая иллюзия, будто старая кожа морщинится слева, а новая блестящая чешуя лезет справа. Достаточно совершить небольшую экскурсию по нынешнему политическому ландшафту Израиля, чтобы в этом убедиться. Понятия "левизны" и "правизны", однако, смещены сейчас во всем мире, на Ближнем Востоке особенно, в Израиле еще особенней. Поэтому при осмотре политических достопримечательностей местного пейзажа следует помнить, что обозначения условны. "Правыми" называют обычно тех, кто себя таковыми считает, "левыми" — тех, кто себя за таковых выдает.

— Посмотрите налево, господа! Нам предстоит первое знакомство с израильским социализмом. Вам нечего опасаться: не красный тигр мировой революции и конечно же не черная пантера, что бродит в темных переулках кварталов бедноты. Израильский социализм, господа, — это вон та породистая ангорская кошка с голубыми глазами и розовым бантиком, что резвится на кибуцной лужайке. Ваши дети могут безопасно играть с ней во время банановых сезонов.

Нельзя представить себе ничего более элитарного, чем израильский социализм и его кибуцные заповедники. Если где-то пытались создать социализм с человеческим лицом, то в Израиле вывели социализм с лицом аристократическим. Видимо, в отличие от идеологических родственников где-то в России, израильские отцы-основатели с самого начала поняли, что социалистом может быть не всякий, а лишь тот, кто обладает особыми психологическими и интеллектуальными свойствами. Они не надеялись переделать человеческую природу и привить всем и каждому "повышенную сознательность". В молодом израильском государстве кибуцы выполняли роль инкубаторов по выращиванию местной элиты. Нормы, сформированные кибуцами, хоть и оказались во многих сферах жизни основополагающими, в своей эссенции остались недоступными для большинства израильтян, не говоря уже о соседях. Поэтому забор, отделяющий кибуц от остального Израиля (и всего Ближнего Востока), является не просто забором, а жизненной философией. Проекция этого забора на весь комплекс региональной политики является краеугольным камнем психологии изоляционизма.

— Посмотрите направо, господа. Там, среди белых камней, маячат поселения Гуш Эмуним. Идеология Гуш Эмуним не имеет ничего общего с той изысканной смесью либеральных европейских и русских социалистических идей, которая произрастает в кибуцах, — она, скорее, напоминает фундаменталистские течения, нынче распространенные на всем Ближнем Востоке. Видите этого бородатого еврея с покрытой головой? Рядом с ним фанатичного вида мусульманин. Они молятся рядом в пещере Рахили. Отсутствие прогрессивной идеологии делает это возможным. Обратите внимание: поселения Гуш Эмуним, построенные на холмах, как и арабские деревни, выглядят в Иудее и Самарии менее инородным телом, чем распластанные в низинах, огороженные кибуцы в Галилее.

Напрашивается общий вывод, будто существуют "два Израиля", и кое-кто даже пытается объяснить это демографическими и этническими сдвигами. В действительности, однако, два Израиля "видны только из окна автобуса. И кибуцы, и поселения на территориях сделаны из одного и того же этнического и социального теста. Лишь разная идеологическая начинка меняет вкус пирога. Не так уж редко под кипой "возвращенца к ответу" скрывается внук ярых атеистов из "Ашомер Ацаир". Происходит медленный процесс регионализации Израиля — процесс, который продлится не одно десятилетие и может закончиться самым неожиданным

образом, в первую очередь — для тех, кто сегодня является его невольными инициаторами.

— Посмотрите налево, господа. Перед вами представитель молодого поколения кибуцного движения "Юный страж". Что вы думаете о палестинской проблеме и как вы относитесь к политике израильского правительства в Ливане? Перевожу с иврита: "Я пойду на любую демонстрацию за права палестинцев жить за пределами моего кибуца и моего государства. Я готов сражаться на любых баррикадах за их равные **неправа** в хашимитском королевстве. Поскольку мои ценности самые ценные и мой гуманизм самый гуманный, то мои войны должны быть самыми справедливыми. Поскольку моя демократия самая демократическая, то оккупация — угроза моему моральному комфорту. Кроме того, по ночам меня преследуют демографические кошмары: я не знаю в точности, сколько арабских детей рождается ежедневно на Западном берегу, но я знаю твердо: сколько бы их ни рождалось, для меня это слишком много. Поэтому отгородите от меня Ливан, уберите от меня Западный берег!"

... Как вы могли убедиться, уважаемые господа, юный страж стоит на страже своей демократии и своей демографии...

Здесь, конечно, нельзя удержаться от того, чтобы не повернуть голову направо и сравнить: даже самое крайнее правое парламентское крыло (Тхия), несмотря на всю арrogантность его лидеров, которых нельзя заподозрить в любви к арабам, все-таки ввело в свою программу предоставление гражданства и равноправия арабскому населению Иудеи и Самарии. Конечно, выдавая желаемое за возможное, "правые" надеются на эмиграцию арабов. Однако факт остается фактом: они готовы поделиться своей демократией и не одержимы идеей расово-религиозно-этнической однородности государства.

Я далека от мысли упрекать левых за их подсознательный, замаскированный расизм. Когда речь идет о маленьком израильском племени в арабском море, этот "расизм" является, скорее всего, защитной реакцией. Справа же империалистические инстинкты преобладают над всеми прочими инстинктами. А удовлетворение империалистических потребностей требует своей цены.

И переводя взгляд с одного края на другой, нельзя удержаться от оценки шансов. Изоляционизм не имеет за собой никакой идеологической мотивации, кроме абстрактной моралистики на тему "что такое хорошо и что такое плохо", никакой психологической мотивации, кроме элементарного страха. Империализм имеет за собой геополитическую концепцию и мотивационные подспорья

в виде истории, географии и религии. Провинция Социалистического Интернационала не могла иметь аналога в регионе. "Большой Израиль" имеет аналога хотя бы в лице "Большой Сирии" — не случайно эти геополитические близнецы составили равнобедренный ливанский треугольник. Изоляционистский Израиль мог абстрагироваться от палестинской проблемы, считая ее внутренним делом арабского мира. Но "Неделимый Израиль" должен был неизбежно вступить в конфронтацию с "Неделимой Палестиной".

Означает ли это выбор между "войной и миром"?

— Посмотрите налево. Перед вами массовая демонстрация движения "Мир сейчас". Присмотритесь к плакатам, многие из которых для вашего удобства выполнены по-английски. Подойдем поближе. Попросим известного писателя, участвующего в демонстрации, проанализировать стилистические особенности лозунга "Мир — да, Шарон — нет!". Перевожу с иврита: "На иврите мир — шалом. Первый слог фамилии министра — "ша". Таким образом, мы получаем эффектную звуковую и графическую комбинацию — вы можете легко уловить на слух ее достоинства: ша-лом-кен, ша-рон-ло". Мы просим одного из многих интеллектуалов, участвующих в движении, разъяснить идеологический смысл лозунга: "Лучше мир, чем неделимый Израиль!" Перевожу с иврита: "Как известно, государство Израиль создано для евреев. Мы не можем предложить арабам территорий израильское гражданство и тем самым превратить Израиль в бинациональное государство — наша сионистская идеология слишком эксклюзивна. Но мы не можем также держать их в подчинении и управлять ими, как другим религиозным меньшинством, наподобие того, что имеет место в Сирии или Иордании. Как вы сами понимаете, у нас неизмеримо более высокие стандарты. Стало быть, раздел — моральная и экзистенциальная необходимость. Разделенные забором доброй воли, мы с арабами будем жить в мире и согласии по принципу: "Ты меня не трогай, и я тебя не трону..."

— Что вы думаете по поводу палестинского государства?

— Об этом еще рано говорить. Как видите, кто-то попытался протащить на демонстрацию палестинский флаг — мы его тут же исключили из движения. Честно говоря, для нас принципиальным вопросом является отсоединение Западного берега от себя, а к кому его присоединить — это совершенно другой вопрос. Вначале палестинцы должны а) признать Израиль, б) отказаться от террора, в) изменить Хартию, г) ...

— Достаточно, все ясно. Обратите внимание, господа, на характер демонстрации. Никаких нарушений порядка. Образцовое поведение участников. В сущности, здесь нет ничего такого, что помешало бы лидерам оппозиции выступить перед демонстрантами...

Теперь посмотрите направо, господа. Перед вами демонстрация протеста ультраправых сил против отступления из Синая. К сожалению, подобные вещи мы не можем наблюдать в натуре — это слишком опасно. Здесь имеют место явные нарушения порядка и законности. Сопrotивление силам армии и полиции, выливающиеся в открытый бунт...

Протест и демонстрации сторонников неделимого Израиля чаще всего являются радикальными по форме. Небольшая репетиция перед отступлением из Синая продемонстрировала, что они способны спровоцировать гражданскую войну, если речь пойдет об Иудее и Самарии. Они не являются автоматическими попутчиками “правого” правительства. Если им покажется, что Маарах имеет больше шансов удержать территории, чем Ликуд, они поддержат Маарах. Они будут с теми, кто “не отдаст”, и против тех, кто “отдаст”, — независимо от каких-либо идеологических расчетов. Их зачаточная идеология сводится в конечном счете к географии, а не к политической доктрине: Они не склонны считаться с интересами соседей, физическая и географическая близость с ними на территориях вынуждает их к контактам и взаимодействию. Всякий, кто хочет забрать у них Иудею и Самарию — их противник, и в черном списке их врагов американское консульство в Иерусалиме занимает то же место, что и ООП.

В то время как “Мир сейчас” почти открыто сотрудничает с интересами американского империализма в Израиле и на Ближнем Востоке, поселенцы и представляющая их интересы в парламенте крайне правая Тхия являются на сегодняшний день чемпионами антиамериканизма — вплоть до того, что призыв сменить американскую карту на советскую прозвучал из уст ультраправой Геулы Коэн. “Правый” Ариэль Шарон, которого газета “Нью-Йорк таймс” называет “самым антиамериканским из всех израильских лидеров”, делает одно антиамериканское заявление за другим. И кто его больше всех одергивает и призывает к вежливости? Левосоциалистическая партия Мапам! Дожили, как говорится... Даже Бегин неоднократно выступал с резкими антиамериканскими заявлениями (“Израиль — не Чили, а я — не Альенде!”), а официальный орган Ликуда “Йоман Ашавуа” опубликовал недавно серию разоблачительных статей под общим заголовком “Так работает ЦРУ в Израиле”. Из опроса, проведенного газетой “Джерузалем пост”, выяснилось, что из 70% заявивших, что США вмешиваются во внутренние дела Израиля и мешают осуществлению израильских целей в Ливане, более половины являются сторонниками Ликуда. Антиамериканские настроения явно концентрируются справа, и чем правее — тем заряд антиамериканизма сильнее.

Конференция “Мир на Ближнем Востоке”, организованная из-

ральским журналом "Нью Дутлук", была яркой иллюстрацией ограниченных возможностей израильского лагеря мира. Из 400 участников конференции израильтяне составляли меньше половины. Собрались в основном представители западных стран, в большинстве — евреи. Палестинцев (с территорий) было около десятка, египтян не было вообще. Из четырех сессий конференции две ("Израиль и диаспора" и "Облик израильского общества") имели весьма натянутое и отдаленное отношение к теме "Мир на Ближнем Востоке". На сессии "Израиль и палестинцы" было зачитано несколько интересных докладов, из которых выделялся доклад И. Амита. Кроме того, что он был хорош сам по себе, он был примечателен еще и тем, что Амитай осмелился заявить, что его не пугает Палестинская Хартия. Он, однако, был исключением из правила. Конференция в целом оставляла впечатление, что левые настроены по отношению к Хартии еще более параноидно, чем правые. Все споры, заключившие сессию, свелись к тому, что ООП должна изменить Хартию и признать право Израиля на существование. Беседа участников конференции с бывшим мэром Эль-Бире Ибрагимом Тауилем (у него дома) выглядела примерно так:

— Мы хотим признать право палестинцев на собственное государство, — сказал представитель Бельгии. — Но в вашей Хартии написаны такие ужасные вещи насчет уничтожения Израиля... Вы должны принять новую Хартию!

— Я не думаю, что это что-нибудь изменит, — устало возразил Тауиль, очень интеллигентный и обаятельный человек.

— Это поможет нам загнать Бегина и Шарона в угол! — воскликнул представитель Франции.

— Я не думаю, что Бегин и Шарон можно таким образом загнать в угол, — снова возразил Тауиль.

Тогда некий дирижер из Европы решил прочесть Тауилю лекцию о еврейских ценностях, еврейских страданиях и еврейской гуманности (без "еврейских ценностей" не обходилась ни одна сессия конференций, что имело целью доказать, что такие личности, как Шарон, у евреев просто недоразумение).

— Поймите, — говорил дирижер, — мы, евреи, пережили Катастрофу... Нас уничтожали нацисты...

— Но мы не нацисты, — пытался вставить Тауиль.

— Но в вашей Хартии написано, что еврейское государство

должно быть уничтожено, — настаивал дирижер, явно требуя, чтобы его успокоили на этот счет. — Поймите, мы боимся!

— Я не думаю, что Шарон боится, — возразил Тауиль. — Наоборот, он считает Израиль самым сильным государством Ближнего Востока...

Но никто не желал ему верить.

— Пожалуйста, — зывали к нему борцы за мир, — помогите нам противостоять Бегину! Убедите Арафата изменить Хартию! Это нам поможет убедить общественное мнение, будто вы на самом деле...

Вообразите себе эту парадоксальную ситуацию, когда группа израильтян, американцев и европейцев, граждан демократических независимых государств, просит Ибрагима Тауиля (находящегося под домашним арестом и, естественно, лишеного многих человеческих прав): а) помочь им сменить израильское правительство, б) убедить Арафата изменить политический курс, в) немедленно доказать, что будущее палестинское государство будет демилитаризованным, миролюбивым, любящим евреев и признающим сионизм и г) провести для них всех коллективный сеанс психотерапии.

Разумеется, никто из них (кроме, разве что, меня) даже не подумал обсудить с Тауилем его проблемы.

Преобладание иностранных участников безусловно придало конференции антирегиональный характер, потому что эти участники привезли из Европы и Америки не только себя, но и свое западное восприятие ближневосточных проблем, и свои западные концепции. А участие евреев из Франции с их частыми выступлениями внесло в работу конференции вообще гротескную ноту. Поскольку в израильском "лагере мира" больше востоковедов, чем выходцев с Востока, французские сефарды решили "спасти честь" своих израильских собратьев. Забавно было наблюдать, как эти люди, из поколения в поколение занимавшиеся в Северной Африке насаждением французского влияния и помощью французскому колониализму (за что они и были в конце концов изгнаны вместе с французами на свою истинную культурную родину — во Францию), как эти потомственные проводники западной экспансии на Востоке, ныне живущие в Париже, кричали: "Мы, евреи Востока, за мир!"

Разумеется, израильские участники движения "За мир с арабами и палестинцами" не выглядят так гротескно, как их загра-

ничные попутчики. Однако тот факт, что они так отчаянно нуждаются в моральной поддержке из-за границы, их настойчивое стремление продемонстрировать эту поддержку (“Без евреев диаспоры мир на Ближнем Востоке недостижим”, — сказал редактор журнала “Нью Аутлук” Симха Флапан) свидетельствуют об отсутствии у них твердой почвы в собственной стране. К сожалению, из-за границы приходит не только моральная поддержка. Граждане государств, интересы которых не всегда совпадают с израильскими, играют роль не только тех, кто платит деньги, но и тех, кто заказывает музыку. Слухи о том, что “Мир сейчас” получает деньги от ЦРУ, нельзя так просто отмести как необоснованные.

Антирегиональность левых сил имеет органический характер и определяет их интерпретацию мира. Поскольку эти силы заранее ориентированы на раздел, то весь их “диалог с арабами” нередко сводится к попыткам убедить в необходимости раздела также и палестинцев. Темы этого диалога предсказуемы и потому неинтересны: изменение Хартии и взаимное признание в качестве условия для раздела. Изоляционизм исключает борьбу с общим врагом, антирегионализм делает невозможным осознание общих интересов в регионе. Кстати, когда Шарон в 1976 году пытался встретиться с Арафатом и носился с идеей помочь тому прийти к власти в Иордании, он почему-то меньше всего интересовался Хартией. Сегодня идея помощи палестинцам в деле свержения Хашимитской династии стала почти официальной линией парламентских и внепарламентских правых кругов. А что это такое, как не идея поддержки палестинской революции, когда-то возникшая на “левом фланге”, потом подавленная левой средой, а теперь неожиданно всплывшая справа в империалистическом издании Шарона? Такова, увы, судьба многих радикальных идей и концепций, которые оказались слишком острым региональным блюдом для либерального левого желудка.

— Внимание, господа. Мы прибыли как раз к началу всеизраильского матча на “Кубок радикалов”. Радикализм не является в Израиле массовым спортом, поэтому круг участников ограничен. Выступают радикалы-тяжеловесы, оба — чемпионы своих клубов. Левый клуб представляет генерал в отставке Мати Пелед, правый клуб — генерал в отставке Бени Пелед. Мати Пелед в прекрасной спортивной форме после своей недавней встречи с Арафатом. Но Бени Пелед — опасный соперник, и его появление сопровождается свистом и воплями недовольства с левых трибун. Он высказал многое из того, что левые хотели бы сказать, но не решаются произнести...

В отличие от многих других “левых”, лишь выдающих себя за таковых, Мати Пеледа и некоторых других, примыкающих к партии Шели, можно действительно назвать левыми. Идеологическое достоинство этих людей — и одновременно их политический недостаток — в том, что они часто формулируют идеи, становящиеся приемлемыми для остальных лет этак через двадцать.

Мати Пелед участвовал в выборах в составе неконформистской, но все же сионистской партии — таким образом, в своем идеологическом бунте против системы он не зашел слишком далеко. Тем не менее ни одна из его радикальных идей не была включена в партийную программу. Бени Пелед в выборах никогда не участвовал вообще — ни в качестве кандидата, ни в качестве избирателя; он считает израильский парламент незаконным, требует его роспуска — даже путем применения силы — и принятия конституции. Отрицая сионизм как идеологию современного Израиля, он видит в нем просто один из способов решения еврейской проблемы для евреев диаспоры. Он — за предоставление гражданства всем жителям страны в ее больших границах независимо от веры и за равные права для всех арабов, включая право быть избранным главой правительства. Он против государства апартеида, он хочет отменить и устранить идентификационные барьеры между евреями и арабами, проживающими на территории Израиля, и ради этого готов отказаться от еврейской идентификации. В левой среде сегодня не существует равного по степени радикализма, и вызов Бени Пеледа там принять некому.

Как это произошло? Радикальные идеи, носителями которых в израильской левой были сошедшие со сцены Сиах, Мацпен и другие группы, были успешно репрессированы еще во времена Маараха. Их глашатаи были частично изгнаны из страны, частично приручены. И в настоящее время левые достигли в израильском обществе и средствах информации положения и статуса, которыми они не желают рисковать. Слева накопилось много знаний, мыслей и доктрин. Многие идеи кристаллизовались там, многие были отброшены. Левая среда имеет сегодня свои границы, устоявшиеся идеи, сложившиеся концепции. Радикалу, если он пробует протолкнуть свои идеи через “левую дверь”, приходится преодолевать сопротивление материала. Справа же постепенно аккумулируется запас энергии, не растроченной за годы бесплодных дебатов. Там есть также интеллектуальный вакуум, который покамест заполняется радикальными неофитами.

Радикализм, конечно, не домашняя кошка. Однако именно он — пусть в небольших дозах, пусть прошедший фильтровку умеренными слоями — является тем самым гормоном, без которого любое политическое движение обречено на интеллектуальное бесплодие. Интеллектуальное убожество лозунгов движения “Мир сейчас” не случайно. Оно отражает истинное положение вещей — можно иметь в своих рядах сколько угодно интеллектуалов, писателей, профессоров, а сказать своему народу и противнику поистине нечего, кроме: “Мир сейчас”. Механистически следуя доктрине, “чем правее, тем страшнее,” а потому “только бы не Ликуд” и “пусть уж лучше Маарах”, левые подрубили сук, на котором сидели, что в конечном счете привело к их исчезновению из израильского парламента и замене их там псевдолевыми суррогатами. А кроме того, вынужденное (тактическое) сотрудничество с самой истеблишированной партией Израиля превратило левых в глазах избирателей в то самое яблоко, что падает недалеко от яблони.

“Кубок радикалов” перешел в правый клуб.

— Внимание, господа, мы приближаемся к Институту Сионизма. Во время краткой экскурсии по залам Института вы сможете увидеть, сколько существует разных видов сионизма. Есть сионизм социалистический и сионизм ревизионистский, есть религиозный (несколько изданий), есть также небольшие комнаты с табличками “сионизм практический”, “сионизм осуществляемый”, “сионизм революционный”, “сионизм эволюционный”. Нельзя не отметить, что социалистический сионизм составляет фундамент здания Института. Здесь мы видим сионизм как примененный метод, состоявшуюся революцию, которая завершилась созданием сионистского государства, народа и культуры. Чем занимается этот уважаемый Институт сегодня? К сожалению, мы не сможем, видимо, получить объяснений — на воротах Института замок и надпись: “Закрото в связи с мобилизацией на региональный фронт”.

С некоторых пор Израиль превратился в страну, очень занятую региональной политикой, и сионизм как способ решения еврейской проблемы отодвинулся на задний план. Тем не менее (за исключениями, которыми можно пренебречь) сионизм декларируется всеми израильскими движениями и партиями. Увы, никакой анализ их программы и деклараций не укажет на различие истинного отношения к сионизму справа и слева. Здесь можно опираться лишь на стилистические сравнения, потому что говорить и декларировать можно что угодно, печать же стиля — нестираема.

Так вот, даже самый поверхностный стилистический анализ говорит о том, что “слева и до середины” к сионизму относятся как к прекрасному трупу. Но трупом этим восхищаются, о нем по-прежнему много говорят и пишут, так что налицо — типичный пример идеологической некрофилии. Справа же преобладает доктрина реанимации, согласно которой сионизм хоть и мертв или полумертв, но его еще можно попытаться оживить. Идеологический некрофил может весьма долго заниматься предметом своей страсти. Не то реаниматор: его действия сведутся к нескольким энергичным попыткам — либо он оживит труп, либо окончательно его похоронит. Именно поэтому справа не исключены идеологические сюрпризы вплоть до фактического вытеснения сионизма региональными идеологиями.

— Посмотрите налево, господа. Мы приближаемся к месту демонстрации движения “Мир сейчас” против поселений. Как вы можете заметить, амплитуда протеста совпадает с амплитудой гневных антипоселенческих деклараций Белого дома. Посмотрите направо — перед вами контрдемонстрация движения Гуш Эмуним. Посмотрите прямо — там, чуть поодаль, стоит толпа арабских крестьян — жителей соседней деревни. Они равнодушно наблюдают за дерущимися еврейскими демонстрантами. “Какие у вас отношения с соседним поселением?” Перевожу с арабского: “Неплохие. Мы к ним ходим на работу, они к нам ходят в магазины. Они нам не мешают, мы им не мешаем”. Как вы могли убедиться, господа, местные палестинцы гораздо меньше озабочены проблемой поселений, чем движение “Мир сейчас”, король Хусейн и президент Рейген...

Во время встречи участников конференции “Мир на Ближнем Востоке” с Ибрагимом Тауилем я спросила отстраненного мэра:

— А как насчет поселений?

— Они должны быть эвакуированы, — сказал он, — потому что они созданы с помощью силы.

— Ну, а взамен на определенное количество палестинских поселений внутри “зеленой черты”? — спросила я.

— Обеими руками “за”! — ответил Тауиль.

То, о чем мы за пять минут “договорились” с Тауилем, является в данный момент “табу” как для правых, так и для левых. Поселения задевают национальные права палестинцев в той же мере, в какой их задевает создание Израиля на земле, которую они считают своей. Право евреев селиться в Иудее и Самарии подчеркивает отсутствие права жителя Хеврона селиться в Тель-Авиве. Как повело бы себя в такой ситуации идеологически честное,

принципиальное левое движение? Но израильским левым, возводящим раздел в ранг идеологии, не нужно искать трудных решений: раздел — панацея от всех болезней! Тот факт, что палестинцы не имеют равных прав в Тель-Авиве, им необходимо как можно тщательнее затушевать, отказавшись от израильских прав в Хевроне.

Но пока “добрая воля” левых возводит забор, “злая воля” правых его разрушает, мало-помалу строя совместное существование по принципу “стерпится-слюбится”. И снова переводя взгляд слева направо и справа налево, изучая не только красоты виднеющихся из окна пейзажей, но и “геологию” правой и левой почвы, подумаем: на какой почве все же произрастет зерно идеологического компромисса?

Объективная логика подсказывает, что те, кто решился на физическое сосуществование, не пожелают, да и не смогут вечно полагаться на силу. Идея идеологического компромисса как осознанной необходимости может когда-нибудь возникнуть именно в их среде, но не среди тех, кто ориентирован на тотальный раздел. Само согласие на операцию раздела избавляет от мучительных поисков соглашения. Сепаратизм не нуждается в создании общности. Идея идеологического компромисса не может вырасти на левой почве, потому что она там никому не нужна. К сожалению, территориальный компромисс исключает компромисс идеологический.

Анализ левой почвы на ее идеологическую плодородность не дает повода для оптимизма. Растительность здесь становится все более худосочной, урожай идей — почти нулевым, да и сама “левизна” выглядит дешевым подвохом туристических брошюр. Когда конструктивного диалога с противником нет, когда социального протеста нет, радикализма нет и антиамериканизма тоже нет, то что остается от так называемой “левизны”? “Мир немедленно”? Эта узурпация левой вывески, это приобретение диссидентской окраски очень истеблишированными, очень консервативными элементами является на самом деле международным идеологическим подлогом.

Повернем головы направо. Там простирается не выработанное за годы бесплодных дебатов идеологическое поле. Там пока еще ничего не произошло. Империалистический стиль правых, бравада силой, нежелание считаться с чувствами и комплексами проиграв-

шего противника — все это сводит на нет даже те разумные и революционные идеи, которые время от времени возникают в их среде.

Суммируя диалектику лево-правых отношений, приходится сказать, что слева очень много доброй воли и слишком мало идей, а справа — довольно много идей и слишком мало доброй воли.

И все же эстафета перешла направо. Именно там вовсю идут сегодня ускоренные процессы регионализации, радикализации, девестернизации. Регионализация может завершиться компромиссом с врагами, радикализация — “окончательными решениями” и оздоровительными социальными процессами, антиамериканизм — освобождением; реанимация сионизма — либо ликвидацией диаспоры, либо тотальным разрывом с ней. Поверните головы направо, господа.



*Израиль, февраль 1983 года: член “Комитета против войны в Ливане” и его оппоненты (улица Бен-Иегуда в Иерусалиме, день принятия правительством выводов комиссии Казана)*

## ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Во II веке до н.э. пало могучее Скифское Царство. Скифы успешно отразили в свое время натиск Персидской державы в эпоху расцвета ее могущества. Они угрожали затем существованию Македонского Царства еще в пору ранней юности Александра Великого. Во II веке до н.э. Скифское Царство давно было органической частью политико-экономической системы античного Средиземноморья. За скифами стояла вся мощь этого процветавшего мира, жизненно заинтересованного в обильном скифском хлебе, в рабах, в грандиозных рынках сбыта.

Скифы посредничали в выстроенной веками системе торговли с племенами Восточной Европы вплоть до Ледовитого океана и с племенами степной зоны до Алтая. Богатейшие греческие колонии причерноморья были их надежными вассалами. С запада на скифов наступали кельты, но смертельный удар был нанесен Скифскому Царству с востока сарматами, точнее — сарматскими женщинами.

Греческие источники сообщают, что сарматы были "гинекократами" — женоуправляемыми. Сарматская девушка не имела права взять мужа, не доказав предварительно своей зрелой женственности — убив двух врагов. Для сравнения, у патриархальных древних германцев,

*Евгений Наклеушев*

**ВПЕРЕД,  
К МАТРИАРХАТУ!**

также отнюдь не страдавших от пацифистских настроений, юноша приобретал все права взрослого члена племени, убив лишь одного врага. Нетрудно понять, почему оказались обречены героически сражавшиеся скифы со всеми их вассалами и союзниками.

Труднее понять, что обуславливает перевес одного пола над другим в физической силе и энергии. Еще недавно господствовало убеждение, что причиной перевеса — разумеется, мужчин над женщинами — являются-де вечные законы природы. Природа предназначила женщину для деторождения и вскармливания новорожденных, а значит — делался энергичный вывод — для тихой семейной жизни. Последняя не требует ни больших физических сил, ни героической энергии, ни, скажем откровенно, большого ума, но выносливости к монотонному домашнему труду, кротости и любви. В свою очередь мужчина предназначен той же природой к роли защитника и добытчика, а потому физически силен, сравнительно умен, энергичен и агрессивен. Ну, а что касается всяких там “амазонок”, так это — мифические выдумки. (Слышали бы это скифы!)

Нынче о “вечных законах природы” на Западе рискованно и заикнуться. Несмотря на свою относительную до сих пор малочисленность, активные феминистки оказались поразительно агрессивным и энергичным народом (какая там кротость!) и так обработали общественное мнение, что оно послушно устремилось в обратную крайность. Нынче все готовы приписать культуре (в частности, конечно, любую слабость современной женщины) — “порочной, эгоистической, эксплуатирующей женщин” культуре патриархата.

Нельзя отрицать, что культура способна на поразительно многое. Можно согласиться даже, что культура способна творить чудеса\*. Но культура не способна *стоять* на чуде, как не способна

---

\* В конце концов, что такое “чудо”? Классическая механика убедила нас было, что любые события предопределены их причинами абсолютно однозначно, а потому “чудо”, как воображаемая “щель” в абсолютно жестком и цельном порядке событий, абсолютно же невозможно. Нынче представление об абсолютно жесткой связи событий отвергнуто для физики квантовой механикой. Тем более это относится к связи исторических событий, в сравнении с которыми даже мир квантовой механики кажется еще сверхупорядоченным. Таким образом, мы, подобно нашим предкам, жившим в дремучие донаучные времена колдунов, оказались, хотя на более высоком уровне, в мире, не огражденном стеной абсолютно невозможного. Снова, хотя мы не продумали всех далеко идущих следствий из это-

стоять на лотерейных выигрышах экономика порядочного человека. Таким образом, культура способна только акцентировать или приглушать природные тенденции. И если культура способна в разных местах и в разное время двигаться, по-видимому, в прямо противоположных направлениях — к закреплению господства то женского, то мужского пола, это значит, что сами природные тенденции периодически меняют свое направление.

Это особенно очевидно в наше время. Даже в СССР, где все, что упустили предсказать “классики” марксизма-ленинизма, как бы и не существует, слово “среднеархат” проскочило на страницу “Комсомольской правды” еще в апреле 1969 года\*.

В наше время женщина уже явно не то слабое, робкое и, добавим ради справедливости, нежное и любящее существо, каким рисует ее старая традиция нашей культуры. В свою очередь мужчина уже не тот, что раньше. Он и мягче, и слабее. В совместных видах спорта женские результаты все ближе подходят к мужским. Изменяется сама антропология женского тела, и женщины вторгаются уже во все “чисто мужские” по традиции нашей культуры виды спорта. Уже не кажется так странно свидетельство Ибн Фадлана в X веке, что у саков (более поздних родичей сарматов) молодые супруги единоборством решали, кто будет главою семьи.

Итак, перевес физических сил и энергии подобен мячику, которой справедливая мать-природа перебрасывает то своему женскому, то мужскому дитяти. Чрезвычайное уважение, даже благоговение, которое вызывала к себе женщина времен матриархата, свидетельствует, что в этой переброске участвует и творческая энергия и что, пожалуй, в руках женщины она в каком-то смысле более на своем месте.

Но не будем варварски переупрощать правила этой игры. Во-первых, сразу ясно, что перебрасывается не один “мячик”. Наряду с силой существует, например, и любовь, явно с нею не совпадающая — вспомним опять, что в традиции нашей культуры наиболее любящим существом оказывается женщина, — но вместе с тем

---

*го, мы живем в мире, где различимо только более и менее вероятное или, подходя с другой стороны, более и менее обычное. Заметим, что именно как чрезвычайную необычность видели чудо наши предки. Отсюда выражение “чуда морские” в применении к редким морским животным.*

\* В двадцатых числах апреля 1969 г. “Комсомольская правда” публикует статью “Среднеархат, что дальше?”

далеко не тождественная со слабостью как таковой: существует сколько угодно физически слабых натур, обделенных и душевно, — холодных и эгоистических; встречаются и поразительно добрые богатыри, и наконец давно признано, что любовь сама является “силой” — и даже величайшей из ‘сил’. Итак, не все, что не есть сила, есть только слабость.

Во-вторых, так ли точно на первый взгляд очевидное — число самих дитятей? Все ли мужчины “одинаковы”? Все ли женщины? Только крайне неразвитые люди в это всерьез верят. По самой упрощенной оценке каждый пол несет в себе два потока: восходящий и нисходящий. Здесь мы имеем в виду не подъем и упадок тех или иных “жизненных сил”, всегда исторически преходящий, но некоторые постоянные тенденции в отношении людей к миру, на которые сила и слабость, любовь и эгоизм только накладываются, только оттеняя их, или затушевывая, или окрашивая в разные цвета. Принято, например, признавать за мужчиной большую способность к рассудочному мышлению, а за женщиной большую интуицию. Обратим внимание на то, что рассудок лучше всего работает там, где ситуации относительно просты или поддаются рациональному упрощению, и пасует там, где сложность задач в принципе не сводима к якобы скрытой за ней простоте. В последних случаях на передний план выходит интуиция. В способности находить за сложностью простоту в рассуждении, в умении конструктивного упрощения в действии — сила мужчины. В невероятной — для характерного мужского ума — способности ориентироваться в неразрешимо сложном и усложнять конструктивно (!) — специфическая сила женщины. Сказанное относится, однако, только к “светлым” сторонам (одни назовут их “прогрессивными”, другие “благодатными” — и то и другое определения далеко не покрывают всего спектра указываемых тенденций с их приземленной и возвышенной сторонами; чтобы не скандалить из-за терминологии, я называю их нейтрально — “восходящими”) мужественности и женственности. “Есть мужик — и мужик” — штурмовики затаптывали людей насмерть тоже ради простоты, только ничего конструктивного в этой простоте не было. То была простота не рациональности — но примитива, не света — но тьмы. Точно так же сложность сложности рознь. За одной сложностью — гармония небесных сфер, за другой — дикий хаос. И вместе с тем за всеми тенденциями “нисходящего” — не одно лишь жуткое недоразумение природы или воспитания, но свое собствен-

ное основание в ограниченной природе вещей нашего дольного мира: *нужно* быть в вещах хаосу, ибо как иначе ухитриться упрощению быть конструктивным? *Нужно* быть и примитиву, ибо как еще осветит мир усложнение? В свою очередь принцип — “есть мера в вещах” — объясняет, почему ни упрощение, ни усложнение не способны оставаться конструктивными неограниченно долго, но неизбежно приобретают на каком-то этапе разрушительный характер.

Обозначим “восходящие” потоки в мужской и женской половинах человечества (в просторечии — “положительные”, “светлые” стороны мужественности и женственности) знаком “+”; “нисходящие” (“темные” стороны) — знаком “-”. Введем также, для сокращения записи, значки:

♀ — традиционный символ женского, а ♂ — мужского пола.

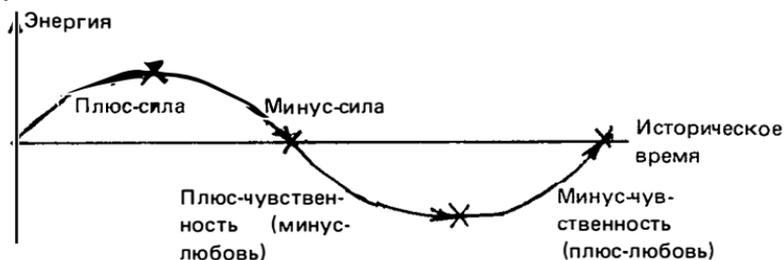
В исторической игре участвуют, таким образом, четыре основных типа: +♂ восходящее мужское начало, -♂ нисходящее мужское начало, +♀ восходящее женское начало и -♀ нисходящее женское начало. Изобразим эту **основную схему** типов табличкой:

- ♀	+ ♀
+ ♂	- ♂

Эта схема нема, пока не подвержена воздействию времени. Что же с ней происходит в истории?

На протяжении истории каждый из типов периодически переживает приливы и отливы жизненной энергии, которые усиливают или (соответственно) ослабляют выражение его основных особенностей. В период прилива энергии данный тип обладает как бы “плюс-силой” и потому активно, доминирующе выражается в жизни и культуре своего времени; в период отлива он находится, так сказать, в фазе “минус-силы”, когда его влияние становится менее заметным. Затем для него наступает третий этап — когда кривая энергии, меняясь по синусоиде, уходит в область, противоположную “силе”. Этой противоположностью “силе” является не

“любовь”, как обычно принято думать, а “чувственность”\*. То, что называют прекрасным именем любви, есть в отношении к чувственности именно ее обуздание\*\*. Поэтому на графике изменения жизненной энергии фазе роста чувственности (“плюс-чувственности”) соответствует спад любви (“минус-любовь”), а фазе спада чувственности — подъем любви (“плюс-любовь”). Эти последовательные переходы каждого человеческого типа из фазы в фазу на протяжении истории изображаются таким несложным графиком:



Итак, на протяжении истории каждый из четырех основных психофизиологических типов может находиться в одном из четырех состояний:

минус-сила	минус-любовь
плюс-сила	плюс-любовь

В этой табличке скрыто отражается движение времени, то есть смена одних господствующих в культуре типов другими, а значит — смена типа самой культуры.

В самом деле: рассмотрим тот исторический период, когда в фазе “плюс-силы”, то есть активности, доминирования, находится восходящий мужской тип (  $\oplus \text{♂}$  ), а в фазе “плюс-чувственности” (“минус-любви”) — восходящий женский (  $\oplus \text{♀}$  ).

\* Об обратной корреляции разнузданной чувственности и силы по-своему говорят и все развитые религии, и приземленные спортивные тренеры. Та же обратная корреляция прослеживается в истории всех высокоразвитых культур. Становящиеся культуры в большей или меньшей степени обуздывают чувственность, декадентские — разнуздывают ее.

\*\* Разумеется, любовь есть еще и нечто, абсолютно большее, чем простое обуздание чувственности.

Эту ситуацию можно очень наглядно изобразить, наложив табличку состояний на табличку типов; мы получим тогда культуру такого типа:

 минус-сила	минус-любовь 
 плюс-сила	плюс-любовь 

Это, как мы сейчас убедимся, — схема мира античности (или, как его еще можно назвать, “патриархата-1”).

А как изобразить переход к следующему этапу? Глядя на график энергии, мы видим, что на следующем этапе восходящий мужской тип переходит в фазу “минус-силы”, а восходящий женский — в фазу “минус-чувственности” (“плюс-любви”). Мы можем получить этот тип культуры очень просто, — если повернем табличку состояний на 90° против часовой стрелки относительно таблички типов:

 минус-любовь	плюс-любовь 
 минус-сила	плюс-сила 

Получившаяся схема изображает исторически следующий тип культуры — “патриархат-2”, или наш (ныне уже разлагающийся) мир.

Очевидно, что продолжая поворачивать одну табличку относительно другой, мы можем ожидать появления еще несуществующих, будущих типов культуры. Но прежде, чем заглядывать в будущее, поговорим об уже известном — настоящем и прошлом.

При патриархате-1 “плюс — сила” принадлежит  , то есть *восходящему* мужскому типу. Таким образом, здесь “плюс — сила” явно более на своем месте, чем при патриархате-2. В самом деле, насколько позволяют судить дошедшие свидетельства о спортивных рекордах античности, это эпоха людей, поразительно превосходящих наших современников своей физической одаренностью.

“В здоровом теле — здоровый дух”. С портретов античных мыслителей смотрят, как правило, не астеничные треугольные физио-

номии "интеллигентов", а крепкие, с тяжелыми челюстями лица воинов. В философских школах Эллады преподаются борьба и бокс, считающиеся необходимыми в воспитании мыслителей. Пифагор — олимпийский чемпион по борьбе. Платон — один из лучших бойцов своего времени. Само прозвище ("платон" значит "широкий"), под которым он вошел в историю, он получил не за широту познаний, как привычно было бы нам предположить, а за буквальную необычайную ширину груди и плеч. Одареннейший народ древности — греки — наиболее всех одарен и физически. И юный Сократ поражает сограждан выносливостью в боевых походах и выделяется мужеством в боях.

Не имеет аналогии в современности и общественное влияние мыслителя в древнем мире. Сократ оказался политически крайне опасен для своих противников и был казнен, потому что приставал с глубокомысленными вопросами ко *всем* прохожим, вплоть до рабов и мальчишек. В наши дни подражатель Сократу приобрел бы репутацию полоумного шута — чем одареннее наш современник, тем к более узкому кругу слушателей обречен он обращаться. Никто, кроме горстки оригиналов, не верит в наши дни в разум как таковой, не облеченный полномочиями. В свою очередь облеченные полномочиями политики, не желая их терять, если и обращаются ко "всем", то неизменно на языке откровенной глупости. Другой фантастический для нас пример из древности: разгневанное народное собрание Абдер собирается изгнать из города Демокрита, беспутно растратившего огромное наследство; вместо того чтобы оправдываться, Демокрит читает согражданам два своих глубочайших труда — и получает пылкое признание и пенсию для продолжения своих занятий.

Но, быть может, все это характеризует "греческое чудо" и не имеет никакого отношения к древности в целом? Рождению Будды предшествует столетие яростных философских споров, захлестывающих все общество Индии. Зороастр объединяет духовную жизнь Ирана прежде, чем это делают для политической жизни цари. Никем не назначенные пророки *властно* обличают грехи народа и правителей Израиля. И в Китае идеолог тоталитарного государства Шан Ян с ужасом свидетельствует, что простые мужики, "разверженные" странствующими философами, рассуждают о природе категорий "твердости" и "белизны".

В страхах Шан Яна нетрудно разглядеть зерно политического здравого смысла. Характерный мужской ум в высшей степени ин-

дивидуалистичен. Это не обещает ничего хорошего сколько-нибудь крупным государственным образованиям, где определяющий стиль политики с необходимостью безличен. Действительно, мы знаем, что вплоть до эпохи кризиса античных культур, обусловившей создание Римской Империи на Западе и объединение Китая (происшедшее, кстати, по рецептам Шан Яна) на Востоке, единственным островом относительной политической стабильности древности был город-государство, где большинство граждан лично знали друг друга. Мы привыкли думать, что индивидуализм не способен быть серьезной силой на Востоке. Но даже в Китае, относительно современных ему культур всегда наиболее просоциальном, у величайшего его социального мыслителя Конфуция ученый — “не подданный”!\* Кто из солидных мыслителей современного “индивидуалистического” Запада решился бы заявить принародно такую дерзость?!

Благоговевая перед античностью и проповедуя в своем интеллигентном XIX веке восстановление ее идеала гармонии духовной и телесной силы, Ницше продемонстрировал в этом решительное непонимание того мира, в котором он жил. В современном мире сила и дух не идут рука об руку, но, скорее, враждебны друг другу. “Сила есть — ума не надо!” — ключ к пониманию современности. В политическом словаре нашего времени выражение “сильный человек” совершенно однозначно толкуется как синоним солдафона и реакционера.

Эта фундаментальная ошибка Ницше послужила причиной, почему его философия силы оказалась орудием в руках как раз тех, само существование которых воспринималось им как непереносимое личное оскорбление, — в руках “человеческой сволочи”. Тех, кого он сам собирался вдохновить своими сочинениями, в его мире просто не было. Современный среднестатистический интеллигент (  $\oplus$   ) с необходимостью астеничен (“минус-сила”) и телесно, и по влиянию в обществе.

---

\* В “Ли-цзи”, одной из книг конфуцианского пятикнижия, в главе “Поведение ученого” читаем: “Если говорить о высочайших, то ученый не подданный даже для сына неба; если сказать о более низких, то ученый не работает и на правителей. Внимательный и спокойный, он превыше всего ставит широту души... Даже получив в удел царские земли, он не ставит это ни в грош. Не подданный он и не служилый...” (“Древнекитайская философия”, М., 1973, т. 2, с. 139). Характерно, что эта глава в позднейший период не признавалась подлинной многими конфуцианцами за “гордыню и заносчивость перед государем”.

При патриархате-1 еще относительно силен нисходящий женский тип: — ♀ —. Еще только восходит к силе мужской тип + ♂

Поэтому, хотя, как мы заметили, минус-сила находится в этом обществе более на месте, чем в современности, общий баланс сил распределен здесь между полами гораздо равномернее, чем при патриархате-2. Как известно, спортивная тренировка женщин античности мало отличалась от мужской, а у спартиатов различалась только в степени интенсивности. У тех же спартиатов женщины считались вполне надежной военной силой, на которую полагались в самообороне и наведении внутреннего порядка в отсутствие мужского войска\*. Проницательнейший, но склонный ориентироваться на прошлое мыслитель, Сократ считает женщин во всем равными мужчинам и хочет для них равных прав и одинакового с мужчинами воспитания. В несколько более ранний период женщин просто боялись как не вполне усмирившей враждебной силы. В течение всего периода античности место и влияние женщин в обществе снижаются почти беспрерывно.

Плюс-любовь находится при патриархате-1 у — ♂, что, конечно, не способствует ее авторитету. Плюс-чувственность зато выигрывает в глазах общества, принадлежа + ♀. Отсюда античные институты гетер, баядер и более поздних, но продолжающих ту же традицию гейш и отношение к этим женщинам как к аристократкам женского пола, столь непохожее ни на современное отношение к "продажным женщинам", ни на отношение античности к "порядочным женщинам", которых те же, например, высококультурные греки держали на вторых этажах домов — вместе с рабами. Отсюда же сугубо чувственный характер отношений полов в период классической античности, их неспособность подняться над уровнем простой эротике. Отсюда же, наконец, бессилие могучих разумом древних разрешить проблему рабства, пагубные следствия которой были слишком очевидны в течение нескольких последних столетий античности, — последняя более чем разума требовала нерассуждающей любви к ближнему.

Другим препятствием на этом пути было странное для нас выпадение из круга моральных представлений античности способности

---

\* Последняя задача была более чем просто ответственной: спартиаты, напомним, жили, как на вулкане, в среде порабощенных и численно превосходивших их илотов и перизков.

к самокритике\*. В самокритике человек обращается против самого себя — это, таким образом, есть буквально минус-сила. Но последняя, напомним, оказывается при патриархате-1 у — ♀.

(Разумеется, проще истолковать неспособность древних к высокой любви и к самокритике, как и все их слабые, в сравнение с нами, места, в духе вагнеров исторической психологии и “умозаключать из их работ, как далеко шагнули мы вперед”. Только чувство меры и вкуса в самооценке, а также способность к уважению чуждой нам, но не менее от того великой культуры, способны оградить нас от такого ура-оптимистического взгляда на прогресс человечества.)

Кризис античного мироощущения выдвинул на авансцену истории “нищих духом” — нисходящий женский тип в фазе минус-силы и нисходящий мужской тип в фазе минус-чувственности.

Что, казалось, могли сделать на авансцене истории нищие духом? По всему здравому смыслу их выступление обещало быть сумбурным, эпизодическим и не оказать никакого положительного влияния на судьбу более благополучных эпох. Но в уникальных условиях Израиля уникальная личность Христа сфокусировала в себе тенденции времени так мощно, что христианство стало судьбой Запада на много веков.

Христианство передало патриархату-2 освященную традицию осуждения плюс-силы и плюс-чувственности и превознесения плюс-любви и минус-силы. Но в условиях патриархата-2 это означало, что в десятках поколений на Западе нисходящие типы не могли быть вполне самими собой, ибо находились как раз в фазах, “достойных осуждения”, тогда как восходящие приобрели могучую и авторитетную поддержку своему мироощущению. Разумеется, эта операция христианства на теле западной психофизиологии была

---

\* Протагор говорит в одноименном диалоге Платона Сократу: “...когда дело касается справедливости и прочих гражданских добродетелей, тут даже если человек, известный своей несправедливостью, вдруг станет сам о себе говорить всенародно правду, то такую правдивость, которую в другом случае признавали рассудительностью, все сочтут безумием: ведь считается, что каждый, каков бы он ни был на самом деле, должен провозглашать себя справедливым... Поэтому необходимо всякому так или иначе быть причастным добродетели, в противном случае ему не место среди людей”. Какое странное, на взгляд современности, представление о нравственном долге! Что же возражает на это Сократ, никогда не упускающий слабое место в рассуждениях собеседника? — Ничего!

скорее варварски жестокой, чем идиллической; десятки поколений на Западе прожили жизнь, отравленную страхом греха и немощи ему противостоять. Лицемерие стало в условиях христианской культуры, как никогда и нигде, необходимым условием жизни. В усугубление жестокости христианского существования тезис: “Блаженны нищие духом...” —остался органической частью священного предания, хотя в новых условиях он вступил в неразрешимое противоречие с “Бог есть любовь”.

Более того, именно анафемствование разума, скомпрометированного своим преобладающим влиянием в отвергнутой культуре античности, было определяющей струей христианства раннего средневековья. И западное средневековье было самым диким во всей культурной Евразии — вплоть до эпохи Возрождения.

Чтобы понять психофизиологическую подоплеку евразийских возрождений, заметим, что, в отличие от движения в пространстве, движение во времени имеет нормальную цикличность: путь от настоящего к будущему неизменно ведет через временное возвращение к прошлому. Патриархат-1 оставил нам смутные, но многочисленные и совпадающие в тенденции свидетельства о временном грозном возрождении силы и влияния женщин, связанном, в частности, в Греции с дионисическим движением. Совершенно аналогично, подоплекой движения Возрождения древних культур в средневековой Евразии было временное возвращение плюс-силы к восходящему мужскому типу.\*

Повсеместно в Евразии Древность, а затем Возрождение были эпохами мощного интеллектуального творчества. И повсеместно конец Древности, а затем конец Возрождения значили конец интеллектуальности как *организованного социального института*. Существовали иногда отдельные ученые и даже складывались изредка и ненадолго их объединения, но большая наука погибала. Уникальным чудом явилось выживание и дальнейший прогресс науки на Западе с концом его Возрождения.

Этому не могли быть причиной “особые качества” европейского ума. Даже то немногое, что изучено в наследии азиатских

---

\* На картинах и рисунках европейского Возрождения мы видим тела невероятно могучего, на наш взгляд, вида, резко контрастирующие не только с более поздними, но и с более ранними средневековыми изображениями. Интеллектуализм, индивидуализм, эротическая чувственность и даже перипетии социальной жизни городов-государств Италии периода Возрождения воспроизводят ситуацию классической древности удивительно детально.

Возрождений, свидетельствует со всей ясностью, что качество китайских, индийских и исламских мозгов по меньшей мере не уступало европейским. Решающим фактором в этом европейском чуде была, на мой взгляд, переакцентировка западного христианства в борьбе и конструктивном преодолении Возрождения с рокового — “Блаженны нищие духом...” — на “Бог есть любовь”\*. Последний момент никогда не заявлял себя так выпукло ни в культурнейших конфуцианстве, даосизме, буддизме и индуизме, рожденных патриархатом-1, ни в слишком посюсторонне сильном исламе, порожденном уверенным в себе духом патриархата-2.

В нашу эпоху кризис мироощущения христианской культуры снова выдвинул на передний план истории “нищих духом”: — ♂, +С и — ♀, —Л. Их религиями стали коммунизм и фашизм, и, разумеется, в соответствии с особенностями современной нищеты духа, это были религии ненависти, уголовной морали и протитуированной нравственности. “Я — ничто, мой народ — все!” — гласит афоризм нацистов, запечатлевший это единство уголовной морали и протитуированной нравственности в кристально ясной форме. “Я — последняя буква в алфавите”, — учили нас в стране Октября.

В более благополучных странах уцелевших до сих пор христианства и демократии происходит, однако, все тот же стихийный и естественный для нашего времени процесс переориентации с плюс-любви на плюс-силу, с минус-силы на плюс-чувственность (или просто “похоть”, как называли ее наши суровые предки). Я не думаю, что христианство способно пережить нашу эпоху: “Блаженны нищие духом...” — мстит за себя и стоит на дороге у будущего. Нынче в изобилующих духом — единственная надежда времени.

Я не хочу сказать, что мы “переросли” христианство, как детское платье. Но и плохим ученикам нельзя без конца оставаться

---

\* Разумеется, действительный процесс переакцентировки был слишком сложен, чтобы пытаться его описать в нескольких словах. “Бог есть любовь” — яснее всего звучит в христианском гуманизме так называемого “предвозрождения”, в частности, в “Троице” Рублева. “Блаженны нищие духом...” — с яростной силой заявляло себя не однажды и после конца Возрождения и никогда не умрет, пока живо христианство. Тем не менее именно западноевропейское Возрождение (быть может, только потому, что слишком велик был контраст его радостного духа с предшествующим средневековьем, и страшно оказалось возвращение вспять) кажется решающей в этом процессе силой.

в одном классе, иначе они вообще разучатся научиться. Положительным уроком нашего времени (ибо ни одно время, каким бы разрушительным оно ни было, не бесплодно положительным уроком) является все возрастающая очевидность для человека нового поиска Бога.

Обратим внимание на внутреннюю самонедостаточность и глубокое противоречие патриархата-2, при котором плюс-любовь принадлежит +  . Отсюда: "об уровне культуры общества можно судить по степени уважения в нем женщины" — суждение, столь же справедливое в отношении к современности, сколь бессмысленное в отношении к древности. Отсюда расцветающий со времен раннего средневековья культ Прекрасной Дамы, в особенности акцентированный христианским превознесением любви, но известный также в той или иной степени всей культурной Евразии и особенно молодым народам, не стесненным авторитетом Древности. Беспрецедентная устойчивость этого явления на Западе также имеет главной своей причиной христианство.

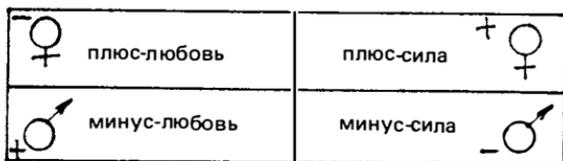
Патриархат-1 был, напротив, вполне самодостаточен этически: плюс-сила и плюс-любовь равно были там достоянием мужественности. Не в этом ли причина, почему для благороднейшего Платона (см. "Пир") высокая полая любовь есть — вне всяких дискуссий — любовь однополая? Иная любовь по Платону вульгарна — ей покровительствует "площадная Афродита"!

Итак, уже только в пределах "патриархата" нам открываются два глубочайше различных мира. Между ними пропасть во всем: в понимании любви и долга, жизни и смерти, искусства и науки. Вспомним, что утверждение тезиса о решающей в познании роли опыта — презиравшегося большинством древних классического периода — решило на заре Нового Времени вопрос быть или не быть новой науке.

Начав с нуля научных знаний о мире и опираясь только на собственный разум и непосредственное наблюдение, древние создали все основные приемы научного мышления и едва ли не все основные идеи современной науки. Этой базой современность овладевала с величайшим трудом и неизменно с оглядкой на приобретенный ею опыт. Древние рассуждали *обо всем*, казавшемся им достойным исследования. Современность сделала принципом познания пришибевское "Не рассуждать!" или, как выразился Ньютон, "Не измышлять гипотез" — до тех пор, пока на это не наталкивает

высшее начальство: опыт . В этой скромности своих теоретических притязаний современность, разумеется, только права, но она слишком много на себя берет и проявляет черную неблагодарность по отношению к вскормившей ее Древности, когда самодовольно заверяет, что сама природа научного знания требует такого самоусекновения. Будущее, начинающееся уже сегодня с кризисом современной науки, должно вернуть нам могучую свободу суждения и вчувствования в тайны мира.

Повернем нашу схему "сила-любовь" относительно основной еще на 90° против часовой стрелки. Мы получим психофизиологическую структуру грядущего "матриархата-1" – еще неведомого мира, в котором, надо думать, будут жить внуки (в крайнем случае – правнуки) нынешнего поколения молодых людей.



Переход плюс-силы к *восходящему женскому типу* может привести к таким изменениям в культуре, равных которым не было на памяти культурного человечества.

При матриархате-1 возобладает тенденция к пониманию иерархически-сложной стороны явлений, и человечество тем самым избавится от тысячелетиями укорененных предрассудков – наподобие того, что сущность обязана быть во всех случаях проще явления, или что люди могут быть свободными, только оставаясь индивидуалистами. Человеческий разум получит возможность систематического исследования вещей, до тех пор открытых только поэтам и мистикам. И существование Бога раз и навсегда станет столь же очевидным для человечества, как очевидно в наше время существование, например, иррациональных чисел\*.

\* Что женщина по природе своей предназначена к более, в сравнении с мужчиной, глубокому пониманию существа Бога, ярко свидетельствует такой, например, факт: во всем мире традиционной одеждой священнослужителей остается *женская* одежда. Когда с началом патриархата мужчина узурпировал жреческую функцию женщины, бывшую орудием колоссального социального влияния, он настолько отчетливо чувствовал святотатство своего шага, что предпринял все меры к маскировке своей мужественности. Широчайше, в частности, была распространена кастрация жрецов, и повсеместно удержался обычай маскировочного – женского – ритуального одевания.

Возникнут условия для решения таких проблем, которые лучше и не пытаться решать нам, какие мы есть до сего времени, например, проблемы создания мирового правительства. И произойдет высокая эстетизация жизни.

Как не однажды прежде, но более, чем когда-либо, "мужественный" Запад станет учеником "женственного" Востока.

Совершим наконец последний поворот схемы — к "матриархату-2".

	плюс-сила	минус-сила	
	плюс-любовь	минус-любовь	

При матриархате-2 психофизиологические условия человеческого существования вновь вступают в относительно неблагоприятную фазу, но даже если матриархат-2 будет не более удачлив в стремлении человека к самому себе, чем оказался патриархат-2, это все еще будет мир, в котором очень и очень будет стоить жить.

В заключение зададим вопрос, который так или иначе зададут многие: какое отношение способна иметь любая более или менее точная схема к перипетиям человеческого существования? Наиболее распространено мнение, что никакого отношения тут быть не может вообще, что человеческое существование *беззаконно*.

Последнее есть в самом деле правда, но не вся правда, и не главная правда. Пессимизм в отношении применимости точных методов к истории имеет под собой справедливое ощущение, что история в чем-то принципиально сложнее физики (которая и сама лишь потому может пользоваться точными методами, что наблюдаемый в явлениях относительный порядок имеет опору в абсолютной точности стоящего "за явлениями" идеального мира). Но история в особенности "беззаконна" просто потому, что она далеко еще не сложилась, лишь начинается, ей всего несколько тысяч лет. "Вещи еще нет, когда она начинается", — говорит Гегель, и, разумеется, тем более нет у нее строгого закона. В этом смысле история "абсурдна" и допускает *все* возможности — и самые дурацкие и подлые исторические "эксперименты". Но обнаружить это и на том остановиться — жалкая мудрость. Ибо, подобно всем вещам, история начинается, чтобы быть. Или, как выражали сходную мысль наши предки: "Все минется — одна правда останется".

## ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

*В. Литвинов*

### МАХНО И ЕВРЕИ

Существует закономерность: чем радикальнее политический деятель, тем более многочисленными и злобно-клеветническими становятся всевозможные мифы, создаваемые вокруг него противниками. К числу таких мифов относится и советская "легенда о погромщике Махно".

Нестор Иванович Махно (1883–1934) был одним из крупнейших деятелей революции и гражданской войны на юге Украины в 1917–21 гг. Созданная и руководимая им Революционно-Повстанческая армия сыграла решающую роль в разгроме армий Деникина (осень 1919) и Врангеля (осень 1920). Мало кому известно, что именно армия Махно нанесла в октябре 1920 года решающий удар по силам Врангеля под Екатеринославом, Александровском и Мелитополем. Замалчивается сегодня тот факт, что именно РПА осуществила знаменитый рейд через Сиваш с заходом в тыл врангельцев и захватом их столицы Симферополя 13 ноября 1920 года (одновременно со взятием Перекопа частями Фрунзе).

Махно, однако, был не только крупным военачальником, но еще и создателем первой в мире анархо-советской республики, которая несколько лет просуществовала на юге Украины. Эта республика, включавшая пять нынешних областей (Запорожскую, Днепропетровскую, Ждановскую, Херсонскую и Николаевскую), по площади и численности населения (15 миллионов человек) превосходила многие современные государства Европы. Как руководитель этой республики, Махно последовательно проводил принципы "самоуправляющегося общества" и выступал против тоталитарного строя, уже тогда навязывавшегося республике коммунистическим правительством Украины. Поэтому ему приходилось вести борьбу на два фронта – против угрожающих республике "справа" белых и угрожающих ей "слева" красных.

Рукопись прибыла по каналам Самиздата

Последнее обстоятельство и объясняет, почему вокруг имени Махно было создано столько советских легенд и мифов, направленных на его дискредитацию (а заодно и дискредитацию анархизма). В чем только не обвиняют Махно?! И в том, что он брался с кулаком, и в том, что открывал фронт Деникину, и в том, что был агентом польской шляхты и Петлюры, и во многих других мыслимых и немыслимых грехах. Но одно обвинение пронизывает буквально всю антимяхновскую мифологию — обвинение в махровом антисемитизме. Оно так настойчиво внедрялось в общественное сознание, что сегодня приобрело уже прочность закоренелого предрассудка. За примерами далеко ходить не приходится. Несколько лет назад в Москве вышел в свет “Парижский дневник” некоего Рощина, бывшего белоэмигранта, записи которого показались советским идеологам столь пропагандистски ценными, что часть их, связанная с Махно, была даже перепечатана в еженедельнике “Голос Родины” — органе советского “Общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом”. В этом “Дневнике” Рощин вспоминает (запись от 16 мая 1943 года): “Мы наняли такси и приехали во французский “Голливуд” — Жуанвиль под Парижем... Во время одного из перерывов я увидел, как снизу поднимался по переходу какой-то человек со связкой бутаторских биноклей через шею и на невозможном французском языке спрашивал: “Ки жумель?” (“Кто бинокль?”) “Знаете, кто это?” — сжал мой локоть Морской. “Догадываюсь, что русский”. — “Это Нестор Махно”. Я впился глазами в низенького худого человека с бабьим лицом. Во время гражданской войны мне пришлось в Донбассе видеть небольшой поездный состав в шесть вагонов, отбитый белыми у Махно. Теплушки были пестро размалеваны всяческими лозунгами — не столько анархическими, сколько разбойничьего, против всего и всех, содержания, а на самом видном месте был нарисован повешенный еврей, и надпись под рисунком гласила: “За каждого жида — три пуда муки!...” Я знал, что владелец жуанвильской студии, ее директора, почти все служащие, административный и технический персонал и режиссер Абель Ганс были евреи. Я ничего не понимал. “Евреи? — пояснил мне Морской. — Ну, что ж, очевидно, им доставляет удовольствие держать у себя одного из самых жестоких погромщиков. Он служит здесь плотником уже много лет и, уверяю вас, вполне доволен своим местом...”. Перед отъездом из студии я попросил Морского показать мне Махно поближе. Передо мной стоял маленький кастрат

с волнистой шевелюрой белокурых волос, насупленными бровями и почти сумасшедшим взглядом маленьких глаз...

Этот отрывок является весьма типичным для всей советской мемуаристики, посвященной Махно. В сущности, весь он — плод чистого вымысла, и Рошин, по-видимому, в действительности никогда не видел Махно вблизи. Иначе он не написал бы всей этой нелепицы, а кроме того, как писатель, обязательно заметил бы и его хромоту, и глубокий шрам на правой щеке от пулевого ранения, и большие темно-синие глаза. И уж, конечно, никогда бы не назвал его "кастратом с бабьим лицом", — этот портрет сразу же опровергается фотографиями Махно того периода, помещенными, например, во втором и третьем томах его воспоминаний или в книге Аршинова "История махновского движения". Видимо, Рошин описывал Махно, пользуясь теми трафаретами, которые бытуют в советской мемуаристике и не имеют ничего общего с действительностью. То же самое следует сказать и относительно антисемитского лозунга, намалеванного на теплушке: такие лозунги действительно существовали, но не у махновцев, а у шкуровцев — и Рошину, служившему в Белой армии, следовало бы об этом знать.

Мифы о еврейских погромах, якобы проводившихся Махно на юге Украины, широко распространены в советской литературе. В последнее время, однако, здесь наметилась новая и очень показательная тенденция — связать мнимый антисемитизм Махно с... сионизмом. Причем представить дело так, будто между зверским антисемитизмом и сионизмом существует такая глубокая связь, что антисемитизм на Украине, по существу, являлся якобы результатом интриг и козней всемирного сионизма.

В 1975 году в Днепропетровске вышла из печати на украинском языке книга некоего Гамольского "Трезубец и звезда Давида", в которой утверждается, что известный анархист, бывший одно время председателем культурно-просветительного отдела Военно-Революционного совета Украинской Повстанческой армии Всеволод Михайлович Волин (Эйхенбаум), в действительности вовсе не являлся революционером-анархистом, а был прожженным сионистским политиканом, который якобы намеренно втерся в доверие к Махно, чтобы провоцировать его на еврейские погромы и тем самым толкать еврейское население Украины в ряды всемирного сионизма. У Гамольского, естественно, нашлись сторонники и покровители. Один из рецензентов его книги, старший преподаватель Днепропетровского металлургического института Потапов в "Журналисте" буквально поет Гамольскому панегирик за то, что он "раскрывает два полярных, будто бы взаимоисключающих явления — украинский буржуазный национализм и сионизм — и беспощадной логикой доказывает не только их идейное сходство, но и одинаковую классовую природу, реакционную контрреволюционную сущность...".

Опровергать эти вымыслы, конечно, не стоит времени. Другое дело — каковы были истинные отношения между крестьянским анархо-коммунизмом на юге Украины в годы гражданской войны и еврейским освободительным движением в те же годы? Вопрос этот потому имеет важное значение, что, как мы убедимся, часть российского еврейства пыталась обрести свое национальное и социальное самоопределение именно в рамках анархо-повстанческого движения, которым руководил Нестор Махно. И в этом

не было ничего удивительного. В анархо-коммунизме имелось, конечно, много утопических элементов, но в то же время в нем не было места для социального угнетения и национальной вражды. Анархо-коммунизм проповедовал “братство труда” и неограниченное право не только каждого народа, но и каждой личности на свое культурное самоопределение. Узконационалистическое мировоззрение было ему чуждо; патриотизм, пользуясь выражением американской анархистки Э. Гольдман, считался в нем “последним аргументом прохвостов”. Если оценивать анархо-коммунизм с той точки зрения, насколько полно он отражал социальную психологию и устремления широких масс (включая трудовое еврейство Украины, среди которого особенно широко бытовали хилиастические чаяния “царства божьего” на земле и немедленно), то придется заключить, что в этом отношении с ним не могло сравниться ни одно из других социалистических учений. Привлекательность анархо-коммунизма для евреев подтверждается хотя бы тем фактом, что первая анархо-коммунистическая группа, возникшая накануне революции 1905 года, была создана евреями. Она называлась “Борьба” и состояла в основном из евреев Белостока. В отчете Особого отделения Департамента полиции по делу этой группы в числе ее руководителей названы “братья Брумеры, Рубинштейн, Пикис, Каплан (французенка), Раковский, Куприц, Трейвиш, Каган, Тыктынь, Шойхет, Цитрон”. Группа создала дочерние организации в Гродно, Заблудове, Бельске, Хороше, Тростянах и в других местах. Видную роль играли революционеры-евреи также в анархических организациях Одессы, Харькова, Екатеринослава и прилегавших к этим промышленным центрам уездов. В годы революции и гражданской войны участие еврейства в анархо-повстанческом движении приняло уже массовый характер (хотя, разумеется, подавляющую часть движения составляли местные крестьяне). Эта картина не имеет ничего общего с приведенными выше советскими историческими мифами и заставляет нас обратиться к тем подлинным фактам, которые только и могут позволить нам ответить на вопрос об отношении Нестора Махно (и махновского движения) к евреям.

Родина Махно — местечко Гуляй-Поле бывшей Екатеринославской губернии. Накануне 1905 года Гуляй-Поле и прилегающие к нему волости представляли собой своеобразный этнографический “Ноев ковчег”: здесь жили украинцы и русские, немцы и евреи, поляки и татары, греки и сербы — всех не перечислить! Национальный антагонизм был здесь выражен слабее, чем в иных местах, потому что все национальные группы пользовались почти одинаковыми экономическими правами; в частности, евреи имели здесь право заниматься земледелием и создали многочисленные колонии (только вблизи Гуляй-Поле их было свыше десяти). В целом, евреи составляли не менее двух процентов сельскохозяйственного населения уезда. Среди них был многочисленный слой бедноты и немногочисленная торгово-промышленная элита, более близкая к немецко-украинской элите уезда в целом (заводовладельцы

Кернер, Кригер, Вичлинский, торговец Гельбух и др.) . В годы первой русской революции это социальное размежевание приняло характер классового антагонизма. Представители еврейской молодежи вошли в руководящий состав первой гуляй-польской анархистской организации, созданной в начале 1906 года сыном чеха и немки Вольдемаром Антони и получившей название "Союза бедных хлеборобов". Это руководящее ядро состояло примерно из двадцати человек и довольно точно отражало национальный состав населения уезда: в нем были представлены украинцы, русские, немцы, а также евреи — Шмерка Хшива, Лейба Горелик, Абрам Шнейдер, Наум Альтгаузен. Тактика "Союза" сводилась к нападениям на представителей "власти и капитала" — в том числе и на богатых немцев и евреев. В операциях "Союза" против еврейских богачей неизменно принимали участие и еврейские "боевики". Экспроприации имели, конечно, социальный, а не антисемитский характер, и единственным исключением из этого правила был случай, когда, раздосадованный неудачным нападением на еврейского торговца, Наум Альтгаузен обозвал его "жидовской рожей". Самому Махно, возглавлявшему гуляй-польских "боевиков", антисемитизм был вообще чужд — хотя бы потому, что после смерти отца (он умер, когда Нестору было всего год) семье Махно (его матери Евдокии и четверем малолетним детям) помогали прежде всего еврейские семьи городка. Близкие связи с гуляй-польскими евреями сохранились у Махно и впоследствии. В 1908 году он был выпущен из Александровской тюрьмы под огромный по тем временам залог в 2000 рублей, который внес за него Иосиф Вичлинский. Тот же Вичлинский (об этом вспоминает сам Махно) посоветовал ему позже бежать из Гуляй-Поля, когда получил сведения, что за Нестором охотится полиция. Создатель "Союза бедных хлеборобов", Антони вспоминает, что гуляй-польские анархисты сразу заняли непримиримо-воинственную позицию по отношению к попытке помещиков создать в Гуляй-Поле осенью 1906 года организацию "Союза русского народа". "Мы собрались и решили: пока не поздно, мы должны разогнать это сборище "истинно русских". Я написал печатными буквами и оттиснул на гектографе прокламацию, в которой угрожал от имени нашей организации, что мы будем бороться "огнем и оружием". И как помещики были главными организаторами, мы объявили нашим массовикам, чтобы поджигали самых рьяных из них. В первую очередь зажгли помещицу Черноглазиху, игравшую пер-

вую скрипку в их Союзе, а потом запылали ближние и дальние помещики, и пожары пошли и пошли во все стороны. Стало сумрачно и жутко ночами от этого огнища. Подожгли и хату одного крестьянина, очень ретивого члена "истинно русских". На пожар сбежался народ, но никто не хотел помогать ему тушить огонь — стоят, смеются и говорят: "Хай тоби Георгий помогае!" Тогда крестьянин сорвал с груди жетон и бросил в огонь. "О, теперь ты наш, теперь мы тоби поможем тушить". Союза "истинно русских" не стало — его как водой смыло..."

Осенью 1908 года полиции удалось арестовать весь актив "Союза бедных хлеборобов", за исключением самого Антони и его заместителя Семенюты. Военный суд приговорил большинство арестованных к длительным срокам заключения, а некоторых, включая Махно, — к повешению. Шмерка Хшива, Егор Бондаренко и Иван Шевченко были казнены, а Нестору Махно и другим смертная казнь была заменена бессрочной каторгой. Махно отбывал срок в московской центральной тюрьме — Бутырках, закованный в ручные и ножные кандалы как особо опасный государственный преступник. Он пробыл там почти семь лет и был освобожден только Февральской революцией. В интернационалистской атмосфере политической тюрьмы укрепились и интернационалистские взгляды самого Махно; в годы Первой мировой войны он выступал как против великодержавных шовинистов, так и против националистов всех толков. В своих воспоминаниях он рассказывает, что ближайшими его друзьями по каторге были заключенные-евреи, а с одним из них, "боевиком" из Ковно Иосипом Адырем, он "жил в тюрьме "коммуной", как с родным братом". Эти симпатии Махно сохранил и тогда, когда в конце марта 1917 года возвратился в Гуляй-Поле, чтобы начать там борьбу за "безвластную" республику.

Весна 17-го года была временем духовного и государственного пробуждения Украины. В апреле в Киеве состоялся Всеукраинский национальный съезд, на котором была избрана Центральная Рада, взявшая на себя политическое представительство украинского народа (сначала в рамках единой демократической России, а затем — суверенного украинского государства). Съезд потребовал превращения России в федерацию и создания в ее рамках национальных республик. Однако попытка Рады добиться признания у Временного правительства потерпела полный крах. Тогда 23 июня Рада приняла свой "Первый универсал", в котором в явочном порядке провозглашалось создание Украинской республики с ее законодательным органом и национальным правительством — самой Радой и Генеральным Секретариатом. Рада и Секретариат представляли собой широкую коалицию бур-

жуазных и мелкобуржуазных партий, с большинством из меньшевиков и правых эсеров. Вскоре в состав Рады влились и такие представительные органы, как Всеукраинская Рада сельских депутатов. Всеукраинская Рада войсковых депутатов. С формальной стороны, Рада была, пожалуй, самым демократическим и представительным органом во всей тогдашней России. Во главе Секретариата стояли его руководитель и секретарь внутренних дел В. Винниченко и секретарь военных дел — социал-демократ С. Петлюра. Хотя Секретариат на словах заверял в своей преданности идее единой российской государственности, на деле он с самого начала взял курс на "самостоятельность" Украины в виде буржуазно-демократической республики. Его политико-просветительская деятельность, возглавлявшаяся Всеукраинским обществом "Просвита", была целиком подчинена задаче последовательной украинизации, а его войсковой комитет во главе с Петлюрой усердно формировал отряды "украинского казачества", признававшие только власть Рады. Рада выдвинула и социальную программу, предусматривавшую, в частности, социализацию всех помещичьих, государственных и монастырских земель, но проведение этой программы в жизнь шло медленно и непоследовательно. Между тем именно на Украине социальные проблемы, в особенности аграрная, были особенно острыми и требовали немедленного решения.

В этих условиях только анархо-коммунисты с их лозунгом немедленного передела всех земель и введения "коммунизма" выражали реальные настроения масс. К тому же они призывали к прямому действию (что исходило из общего анархистского убеждения, что действие, даже когда оно осуществляется в виде разрушения, выражает страсть к созиданию). Все это обеспечивало анархистам поддержку крестьянских масс. Махно вдобавок, возвратившись в Гуляй-Поле, избрал тактику, резко отличавшуюся от тактики московских анархистов, которые были против вхождения в какие бы то ни было общественные организации, кроме чисто "боевых". Махно сразу же поставил перед гуляй-польскими анархистами задачу вхождения во все общественные и правительственные организации, чтобы превратить их в органы "самоуправления народа". Уже в сентябре межволостной объединенный съезд советов рабочих и крестьянских депутатов Гуляй-Поля провозгласил в своей резолюции: "Гуляй-польский районный съезд трудящихся решительно осуждает претензии Временного правительства в Петрограде и Украинской Центральной Рады в Киеве на управление жизнью трудящихся и призывает Советы на местах игнорировать всякие распоряжения этих правительств. Народ — правитель для себя в своей среде. Трудовое крестьянство — хозяин земли, рабочие — хозяева фабрик и заводов. Перед крестьянами стоит задача — изгнать всех помещиков и кулаков, не желающих заняться собственным трудом., из усадеб и организовать в усадьбах сельскохозяйственные коммуны. Инициатором этого дела съезд считает группу анархо-коммунистов и поручает им руководить организацией его".

Среди руководителей гуляй-польских анархистов, как в 1906 году, было много евреев: Хаим Горелик, Абрам Шнейдер, братья Шаровские, Степан Шепель, Лев Горелик. Евреи были представлены также и в непартийных общественных организациях уезда, прежде всего в уездном "Общественном комитете", где выделялся максималист (позднее правый эсер) Василий Тарановский. Проводимые анархистами социальные преобразования встре-

чали активное сопротивление помещичье-кулацкой верхушки, которая в своей борьбе с анархистами пыталась сыграть на их союзе с еврейскими бедняцко-средняцкими массами. В июле 1917 года, на одном из бесчисленных митингов в Гуляй-Поле, где Махно выступил со страстной речью против Временного правительства, кто-то из толпы вдруг бросил провокационный вопрос: "А как вы, Нестор Иванович, смотрите на жидов, что вместе с ними заседают в Общественном комитете?" Краткое изложение своего ответа Махно приводит в своих "записках" (опубликованных в 1923 году в берлинском "Анархическом вестнике"): "Еврей, вздохни свободно. В дни царства Крушеванов, Пуришкевичей и Марковых вторых ты не раз был принужден покидать свои мирные лачуги и долгие годы скитаться вдаль от родины без крова, ласки, утешения. Ты изнемог. Вздохни и будь свободным, как все народы". Весьма примечателен комментарий Махно к этому месту "Записок": "И я своих слов не забыл. Я не отрекся от них, как Петр от Христа. Когда я видел, что на пути моей ответственной революционной работы эти слова не оправдывались, когда свобода и жизнь еврейства насильновались, я всех насильников уничтожал".

Судя по всему, слова Махно на митинге получили поддержку, потому что националистские силы не решились тогда на прямую атаку против анархистского руководства уезда. Организация анархо-коммунистов продолжала расширять свои действия, которые стали особенно активными после октября 1917 года. В этот период, продолжавшийся до апреля 1918 года, анархисты осуществили в уезде создание широкой сети сельскохозяйственных и рабочих коммун в соответствии со своей принципиальной программой. Такая "коммунизация" жизни стала возможной, не в последнюю очередь благодаря двум декретам Всероссийского Совнаркома. Декрет о рабочем контроле, подготовленный наркомом труда Шляпниковым, человеком, прошедшим большую синдикалистскую выучку, по существу, выражал анархо-синдикалистскую программу управления промышленностью и ставил национализированные предприятия под прямой контроль самих рабочих в лице фабрично-заводских комитетов. А декрет о социализации земли предлагал превратить все бывшие помещичьи хозяйства в образцовые коллективные предприятия и одновременно ликвидировать всю налоговую систему в сельском хозяйстве, предоставляя крестьянам полную административно-хозяйственную самостоятельность. Это был период "коммунистического эксперимента" (окончившийся, впрочем, столь же быстро, как и "коммунистическая демократия"), и не удивительно, что он вызвал у анархистов такой энтузиазм, что они и десятилетия спустя вспоминали о "бакунизированном марксизме Ленина".

Увы, на смену эксперименту вскоре пришли тоталитарные тенденции большевизма. Однако в этот первый период анархисты видели в большевиках своих естественных союзников, которые помогали им превращать Гуляй-Поле в образцовую "самоуправляющуюся республику". Уже к декабрю 1917 года вся территория уезда покрылась сетью сельскохозяйственных и промышленных коммун, причем первые объединяли иной раз по несколько десятков, а то и сотен крестьянских семей (коммуна № 1 в бывшем имении Классона). Период их существования был непродолжителен и трудно сказать, как они развивались бы в дальнейшем, но то, что мы о них знаем,

зачастую заставляет вспоминать об израильских кибуцах и задумываться — не было ли среди основателей кибуцов и кое-кого из бывших гуляй-польских еврейских анархистов?..

Коммунистические эксперименты анархистов, их союз с большевиками и проводившаяся ими политика жесткого налогообложения крупных и средних собственников (душившая всякое частное предпринимательство, но необходимая для поддержания маломощных на первых порах коммун) — все это вызывало яростное недовольство зажиточных слоев населения уезда. У них реквизировали буквально все, и они попросту обречены были на физическое вымирание в гуляй-польской вольнице. Не удивительно, что при первой же возможности они предприняли попытку совершить антианархистский переворот.

Обстоятельства тем временем складывались не в пользу Махно и его организации. Общеполитическая обстановка на Украине становилась антибольшевистской. В ноябре 1917 года Рада своим “Третьим универсалом” отвергла октябрьский переворот в Петрограде, а когда Ленин предъявил свой знаменитый ультиматум, требовавший признать органы коммунистической власти на Украине, Рада разогнала Киевский совет и “Четвертым универсалом” провозгласила окончательное отделение Украины от России. Между РСФСР и только что созданной Украинской республикой началась война, и Рада вынуждена была пойти на сепаратный мирный договор с Германией и Австрией. Немецкие войска заняли Украину, и Рада тотчас приступила к жестокому подавлению тех очагов большевизма, которые успели возникнуть на украинской земле в первые месяцы после Октябрьского переворота. К их числу относился и Гуляй-польский уезд.

Во всякой революции, а особенно сопровождающейся гражданской войной, расстановка сил и групп всегда запутанна и неоднозначна. Эта закономерность в полной мере проявилась и в гуляй-польской ситуации весной 1918 года. Зажиточные националистические круги здесь объединялись вокруг местного филиала “Просвита”, включавшего практически всю уездную украинскую интеллигенцию. Крестьяне в целом поддерживали Махно, однако значительная их часть вошла в состав “Селянской спилки”, признававшей власть Центральной Рады. Параллельно с вооруженными отрядами анархо-коммунистов в конце 1917 года в уезде начали создаваться отряды “вольного казачества”, которые к весне насчитывали уже около трехсот человек. Эти отряды с нетерпением ожидали прихода немецко-гайдамацких частей, которые в середине апреля уже приближались к Гуляй-Полю. Расслоение затронуло и ряды гуляй-польского еврейства. “Еврейская рота”, состоявшая из трехсот бойцов и подчинявшаяся “Общественному комитету”, включала многих представителей мелкобуржуазных слоев, а ее руководители Тарановский и Шаровский склонялись к компромиссу с местными националистами из “Просвита”, поддерживав-

шими Центральную Раду. Воспользовавшись передислокацией анархистских отрядов Махно на позиции южнее Гуляй-Поля, "просвитовцы" вошли в контакт с руководителями еврейской роты и предложили им заключить "перемирие", разоружить ревком и секретариат анархистской организации и арестовать их руководителей — "во избежание кровопролития", как было сказано в секретном соглашении.

В ночь с 14-го на 15 апреля еврейская рота провела намеченную "операцию". Была, разумеется, горькая историческая ирония в том, что разгром гуляй-польской республики взяли на себя евреи. И был, конечно, глубокий скрытый расчет "просвитовцев" на то, что "операция" породит вражду между анархистами и еврейством. "Просвитовцам" особенно повезло с одним из руководителей операции — Львом Шнейдером. Будучи личным врагом Махно, Шнейдер во время захвата помещения анархистского секретариата продемонстрировал злобную ненависть к собственной организации: он срывал со стен портреты Кропоткина и Бакунина, плевал на них, топтал их ногами, выкрикивал бессвязные ругательства. Для анархистов измена еврейской роты была полной неожиданностью. Обманулись в своих ожиданиях и руководители роты Тарановский и Шаровский. Еще до прихода немцев и гайдамаков им стал очевиден план "просвитовцев" расправиться с арестованными анархистами. Тогда под собственную ответственность они тайком выпустили арестованных на свободу. Это, однако, не спасло рядовых анархо-коммунистов. Захватившие власть националисты устроили подлинную охоту за ними. Ужасной смертью погибли Хаим Горелик (которого Махно впоследствии в своих воспоминаниях назвал "неподкупным евреем" и "славным революционером"), Степан Шепель, Моисей Калиниченко и многие другие. Историческая правда требует отметить, что пропасть непримиримой ненависти расколола все национальные группы: в "охоте" за украинскими и еврейскими анархистами участвовали не только украинские националисты, но и еврейские собственники (например, хозяин гуляй-польского мыловаренного завода Левинский).

В конце апреля уцелевшие анархисты собрались на конференцию в Таганроге, специально посвященную "контрреволюционному перевороту в Гуляй-Поле. Обсуждение вопроса о причинах сдачи Гуляй-Поля немедленно переросло, понятно, в дискуссию об отношении анархизма к еврейскому населению вообще. В адрес ев-

реев было сказано немало горьких слов. Некоторые из анархистов предлагали отказаться от "революционного союза" с еврейством. В этом, как выразился позднее Махно, был "крик духовной боли тех, кто так много потрудился в борьбе против антисемитизма и кого евреи не только арестовывали, идя рука об руку с антисемитами, но и готовы были "охранять" до вступления в Гуляй-Поле немцев, австро-венгерцев и шовинистов — прямых погромщиков-украинцев, чтобы выдать затем их на казнь палачам." Впрочем, даже этот "крик духовной боли" не помешал конференции принять решение о том, что анархо-коммунисты должны и впредь вести революционную работу с евреями и непримиримую борьбу со всеми видами антисемитизма. Это решение, принятое в один из, пожалуй, самых трудных моментов в истории межнациональных отношений в районе, контролируемом анархистами, свидетельствует о необычайной устойчивости их политических принципов. Оценивая много лет спустя это решение, Махно мог не без гордости и основания заявить: "Все те, кто называет махновцев погромщиками, лгут на них. Ибо никто, даже из самих евреев, никогда так жестоко и честно не боролся с антисемитизмом и погромщиками на Украине, как анархо-махновцы".

Между тем положение Центральной Рады оказалось катастрофическим. Она не сумела дать обещанной земли и воли крестьянству и рабочим, не смогла восстановить имущественное положение зажиточных слоев, ею были недовольны и немецкие оккупационные власти, поскольку она плохо выполняла обязательства по поставке в Германию сельскохозяйственных продуктов и промышленного сырья. В конце апреля немцы разогнали Раду и привели к власти гетмана Скоропадского, который начал свое правление с реставрации крупного землевладения и экспроприации у крестьян хлебных запасов и инвентаря, приобретенного во время раздела помещичьих имений. В июле крестьян уже заставляли свозить возвратившимся в имения помещикам урожай, если он был собран на землях последних. В подкрепление этого приказа на село были направлены многочисленные карательные отряды. Понятно, что это вызвало бурный протест крестьянства. Большевики, вообще плохо связанные с крестьянским населением, не сумели использовать этот протест; его подлинными политическими выразителями оказались поэтому анархисты и левые эсеры. Они и возглавили массовую вооруженную борьбу крестьян против гетмана и поддерживающих его немцев. В этой борьбе национальные и социальные элементы переплелись настолько тесно, что можно говорить даже об особой "украинской анархо-эсеровской революции", в ходе которой повстанческие части, организованные поначалу Махно, а затем и левыми эсерами, успешно громили немцев и держали фронт против Деникина и Петлюры задолго до того, как в январе 1919 года на Украину вторглась Красная армия, привезя в своем обозе Временное Украинское Советское "правительство".

В этот период махновского движения его отношение к еврейству оставалось тем же, что и осенью 1917 года. Оно основывалось на союзе с еврейской беднотой и защитой ее от проявлений антисемитизма. В декабре 1918 года в армию Махно влился эсеровский партизанский отряд из Одессы под командованием некоего Метлы. Когда штаб повстанцев распорядился влить отряд в один из полков (видимо, Метла вызвал какие-то подозрения), эсеры взбунтовались и ушли с передовой под Екатеринославом, по дороге разгромив одну из еврейских колоний. Махно тотчас направил в Гуляй-Поле телеграмму: "Настичь отряд Метлы и обезоружить. Главарей расстрелять". Главарей не удалось поймать — они скрылись из уезда, но махновцы, услышав о событии, стали слать своему командиру коллективные письма поддержки: "Батько! Мы, по борьбе истинные ваши сыны, сыны нашего народа. Верьте нам, что мы, услышав о разгроме отрядом Метлы еврейской колонии № 2, знаем и чувствуем, как это отозвалось на вас. Верьте, что с такой же болью, как и вы, мы вместе с вашим сердцем и разумом переживаем этот позор. Клянемся вам, батько, что среди нас в наших частях такого отношения к еврейству не замечается, а если появится, то вашим именем мы его уничтожим. Поддержите нас в этом".

И Махно их поддерживал. Он издал приказ, в котором писал, что всякий грабеж, изнасилование или убийство не только еврея, но и мирного жителя любой другой нации повлечет за собой расстрел командиров соответствующей части. В том же приказе он писал далее, что в случае невыполнения его указания застрелится сам, "чтобы не видеть и не слышать о подлых людях, творивших моим именем нечеловеческие преступления". Естественно, он не думал стреляться из-за такого рода фактов, но зато свою угрозу в отношении насильников и мародеров насколько возможно выполнял. Об этом свидетельствует один из членов Всероссийской "Комиссии по расследованию белогвардейских зверств" американский анархист Беркман. В статье "Большевицкая ложь об анархистах", напечатанной в 1922 году в газете "Американские известия", Беркман рассказывает о том, как в связи с погромом 12 мая 1919 года в еврейской колонии "Горькое" "махновский штаб назначил комиссию для расследования, которая установила, что евреи были убиты крестьянами деревни Успеновка. Хотя эти крестьяне не входили в состав армии Махно, их приговорили к смертной казни за погром". Таких фактов можно привести много.

Это не говорит, конечно, о том, будто вся махновская армия была чуть ли не “юдофильской”, но свидетельствует о высоком интернационализме ее руководства и ее принципиальных установках. Достаточно привести такой показательный в этом отношении эпизод: когда упоминавшиеся уже “изменники” Тарановский и Шаровский, раскаявшись, явились с повинной в секретариат анархокоммунистов, то были не только полностью прощены, но и назначены на крупные посты в Революционно-Повстанческой армии; Тарановский даже стал впоследствии начальником ее штаба, то есть вторым человеком после Махно, в самый ответственный период — борьбы повстанцев с Врангелем, а затем — с частями Красной армии под началом Фрунзе. Оба они оказались верны махновскому движению уже до конца.

1919 год был годом апогея махновского движения. Его армия, выросшая до ста тысяч человек (в отдельные моменты она превышала двести пятьдесят тысяч!), громила отборные части Деникина и водружала черно-красные анархистские знамена в Херсоне, Николаеве, Бродянке, Мариуполе, Екатеринославе, Кривом Роге, Волновахе. Вся эта территория стала единой “Азово-Черноморской республикой”, где “безвластные Советы” осуществляли самоуправление трудящихся. Естественно, что еврейская беднота массами шла в ряды махновской армии — тем более что во многих случаях это прямо диктовалось необходимостью защиты от погромщиков. Итогом этого стихийно сложившегося союза и его выражением явилась резолюция Второго гуляй-польского съезда Советов и подотделов повстанческих частей по национальному вопросу. Она гласила:

“Второй Районный съезд фронтовиков, Советов, подотделов и штабов имени “Батько Махно”, заслушав доклад делегатов с мест о чинимых во многих местах разными бандами грабежах, насилиях и еврейских погромах, постановил:

1) Все бесчинства, вылившиеся в форме грабежей, самочинных реквизиций и насилия над мирными жителями, вызываются и поддерживаются темными контрреволюционными элементами, присосавшимися к честным повстанцам и позорящими имя славных честных революционеров, борющихся за торжество свободы и справедливости.

2) Национальный антагонизм, принявший в некоторых местах форму еврейских погромов, — результат отжившего самодержавного режима, который натравливал несознательные трудовые массы на евреев, надеясь все свои преступления взвалить на еврейскую бедноту и этим отвлечь внимание всего трудового народа от истинных причин его бедствий...

3) Порабощенные всех национальностей... должны объединиться в одну общую дружную семью Рабочих и Крестьян и сильным, мощным напором нанести последний и решительный удар классу капиталистов, империалистов и их прислужников...

4) Все лица, принимавшие участие в вышеупомянутых бесчинствах и

насилиях, являются врагами Революции и трудящегося народа и должны быть расстреляны на месте преступления.

Долой капитал и власть! Долой религиозные предрассудки и национальную ненависть! Да здравствует единая великая семья трудящихся всего мира. Да здравствует национальная революция!"

Факты свидетельствуют, что эта резолюция составляла постоянную основу всей национальной политики махновского движения. Когда, например, в мае 1919 года "красный атаман" Григорьев поднял свой антисоветский мятеж и написал на своих знаменах лозунги "самостийности" и антисемитизма, это последнее обстоятельство было одним из важных причин, побудивших Махно объявить войну Григорьеву. В специальном воззвании Махно писал: "Что говорит Григорьев? Он говорит, что Украиной управляют люди, распявшие Христа, и люди, пришедшие из московской обжорки. Братья! Разве вы не слышите в этих словах мрачного призыва к еврейскому погрому?" Разорвав временный союз с Григорьевым, вызванный совместной борьбой против Деникина, Махно арестовал и расстрелял "красного атамана". Разумеется, тому было много и других, идеологических и тактических причин, но интересно, что Махно счел необходимым указать, как на одно из преступлений Григорьева, на его звериный антисемитизм.

Пожалуй, лучше всего интернационализм махновского движения доказывается его личным составом. В районе действия повстанческой армии ведущие гражданские и военные должности зачастую были заняты евреями (председатель гуляй-польского Совета Коган, начальник штаба РПА Тарановский, начальник контрразведки Зиньковский, руководители политуправления Эйхенбаум и Барон). Многие части махновской армии были полностью еврейскими. Прогрела история гуляй-польской еврейской артиллерийской батареи во главе с Абрамом Шнейдером, которая, столкнувшись с конницей Шкуро и расстреляв все снаряды, не бросила позиций (как сделала соседняя красноармейская 9-я дивизия Южного фронта, панически бежавшая из-под Волновахи), а перешла в рукопашный штыковой и погибла вся до последнего, включая командира. Жители еврейских колоний уезда формировали свои подразделения, уходившие на передовые сражаться "за вольную республику". Стали бы они так поступать, если бы на махновских теплушках, как пишет Роцин, написаны были антисемитские лозунги?! Впрочем, интернационалистский характер политики Махно вынуждена была признать и сама советская власть — в один из тех коротких периодов, когда была жизненно заинтересована в военной помощи повстанцев для разгрома Врангеля. Осенью 1920 года один из активных советских деятелей Екатеринослава Равич-Черкасский (между прочим, тоже еврей) писал в брошюре "Махно и махновщина": "Махно и его идейные руководители не ведут шовинистической агитации ни против "кацапов", ни против московской обжорки", как атаман Григорьев, ни против "жида". Но так писалось давно, в те годы, когда даже Троцкий вынужден был признать, что обвинение Махно в связях с Петлюрой и Врангелем (выдвинутое Яковлевым и Дзержинским) ложно. С тех пор, однако, утекло много воды, и свидетели тех событий в большинстве погибли в сталинских лагерях, не оставив после себя письменных показаний. Остается надеяться, что историческая правда тем не менее восторжествует. Ее засвидетельствовали

даже независимые еврейские исследователи, занимавшиеся в 20-е годы, по горячим следам, историей еврейских погромов на Украине. Изданная в 1922 году в Харбине "Багровая книга", представляющая собой подлинный мартиролог чудовищных страданий еврейского народа Украины, отмечает все самые мельчайшие случаи еврейских погромов, инспирированных командованиями всевозможных армий и банд, но не содержит ни единого (!) упоминания о погромах, связанных с махновским движением. В книге указывается, конечно, что махновцы "реквизировали" имущество евреев (хотя умалчивается, что это относилось, в подавляющем большинстве случаев, к евреям зажиточным и представляло собой не национальную, а социальную политику). Но иначе и быть не могло: на черно-красных знаменах махновцев не случайно был написан их неизменный лозунг: "С угнетенными против угнетателей навеки".

С начала 1920 года Красная армия развернула широкомасштабные боевые операции против РПА. Эта война на уничтожение гуляй-польской "вольницы" была начата тотчас вслед за тем, как махновские части помогли большевикам разгромить Деникина. На подавление Махно была брошена 60-тысячная армия. Одновременно анархистам приходилось защищаться от армии Врангеля, которая основной свой удар на север наносила как раз через повстанческий район. Занятое борьбой с "идейным противником", красное командование некоторое время не обращало внимания даже на поражения своих частей на врангельском фронте. И лишь когда Врангель захватил Александровск, Бердянск и Мариуполь и вплотную подошел к Екатеринославу, в Москве спохватились и вновь, как в 1918–19-м годах, обратились за помощью к Махно. В октябре 1920 года между Красной армией и РПА был заключен военно-политический союз. Он, однако, просуществовал немногим более месяца — до того момента, когда махновские части, форсировав Сиваш и захватив Симферополь, помогли Фрунзе вернуться в Крым. Покончив с врангельской угрозой, Москва немедленно повернула свою армию против недавнего союзника. Поздней осенью 1920 года на махновцев были брошены также части Красной армии, снятые с польского фронта. Необходимость в этих подкреплениях вызвана была тем, что повстанцы раз за разом громили красноармейские подразделения. Достаточно просмотреть соответствующие публикации, появившиеся несколько позже в советском военном журнале "Военный вестник", чтобы убедиться, что в тактическом единоборстве Махно с красным командованием победа всегда оказывалась на стороне Махно. Силы, однако, были неравными. Революционно-Повстанческая армия не была даже разгромлена — она просто растаяла в бесконечных боях с превосходящим по численности противником. В августе 1921 года Махно вместе с небольшой группой сторонников ушел за границу. С 1926 года он осел в Париже, где до самой смерти работал художником-оформителем на жуанвильской киностудии.

Вместе с гибелью РПА и разгромом всего анархо-махновского движения погибла и надежда украинского революционного еврейства на обретение "нового Сиона". Она возродилась в другом месте и в другое время — пусть и не в том виде, в каком мечтались евреям в махновском движении, но все же в какой-то сте-

пени близком: это было национальное возрождение еврейства, правда — в рамках государства, но государства все же национального, а не “межнационального”, в котором, как показал исторический опыт, евреи как нация так и не смогли обрести своего Сиона. История оказалась куда более сложной, чем это думали повстанцы-махновцы и их красные северные соседи. Но при всем том следует сказать, что в исторической перспективе повстанцы были ближе к истине, чем их противники: история показала, что национальная независимость и возрождение возможны лишь как социальная независимость, как социальное “самоуправление”, пусть даже и в государственной форме. И Махно как руководитель повстанческого движения на Украине имеет неоспоримые заслуги перед еврейством не только потому, что в кровавые годы гражданской войны неизменно выступал его защитником от всевозможных погромщиков, но, пожалуй, в еще большей степени потому, что опыт “безвластного” решения еврейской национальной проблемы углубил и прояснил вопрос о путях и формах еврейского национального возрождения.

Судя по всему, еврейство еще при жизни Махно подходило к пониманию этой его роли. В искаженной форме, но это вынуждены были в конце концов признать даже белогвардейские газеты, которые с недоумением констатировали, что, живя в Париже, Махно был постоянно в еврейском окружении и что на его смерть (25 июля 1934 года) из всех неанархических газет более или менее доброжелательно откликнулась только парижская еврейская газета. В действительности в этом нет ничего удивительного, как ничего удивительного нет в том, что похоронен Махно был в колумбарии кладбища Пер-Лашез как революционер и борец за интернациональные интересы трудящихся. И наверное, есть что-то закономерное в том, что он похоронен в столице европейской свободы, а не на своей родине, где добрая память о нем живет только в народе, а официальная пропаганда смыкается с белогвардейской прессой.

## ПРОКЛЯТОЙ ВОРОВСКОЙ ДОРОГОЙ

(окончание, начало см. в № 27)

... Свидетели как один показывали, что я убил Агу во время драки. Адвокату почти не дали выступать. Родные узнали о суде слишком поздно, так что они не успели подкупить ни судью, ни прокурора. Меня осудили на десять лет за предумышленное убийство. Вместе с недосиженным мне предстояло пробыть за колючей проволокой четырнадцать лет, два месяца и двадцать дней...

Нас подвели к воротам Ванинской пересылки. Остановили, раздели, обыскали. Начальник, возглавлявший конвой, сказал:

— Предупреждаю заранее: в зоне вас ждут воры со всего мира. Если у кого есть хоть малейшие провинности перед ними — вспомните. "Грешникам" рекомендую лучше в эту зону не входить...

Некоторые переглянулись — и отошли в сторону. Оставшуюся группу завели в зону.

Нас окружила молчаливая толпа, сверлящая новичков настороженными взглядами. Один из воров смотрел на меня так упорно, что я не выдержал:

— Что ты zenки устави́л?

— Откуда будешь, земляк? — спросил он с явным кавказским акцентом.

— Махачкалинский.

— Давно сидишь?

— Пятый год пошел.

— Сейчас откуда привезли?

— Из Башкирии. А ты откуда?

— Из Китойлага. Слышал о таком?

— Не только слышал, но и сам там сидел...

Узнав, что я был в Китойлаге, меня окружили кольцом. Посыпались вопросы. Спрашивал и я. Меня интересовала судьба оставшихся в лагере...

Начальник Китойлага генерал Бурдаков выполнил свое обещание устроить вора́м "варфоломеевскую ночь". Миша-Зверь, с

Глава из готовящейся к печати книги

которым я когда-то переругивался, был согнут окончательно. Его отослали на Иркутскую пересылку, а там он решил пойти в воровскую зону, хотя ему уже следовало идти в сучью. Воры решили его убить. На шею Мише набросили полотенце — и повесили. Полотенце не выдержало тяжести: Миша сорвался. Закон есть закон: дважды не вешают. Но Миша не выдержал позора. Ночью он связал петлю из двух полотенец — для страховки — и повесился сам: встал на верхних нарах и медленно опустился на руках вниз.

Два других ссучившихся вора, Коля Барнаульский и Миша Потеш, попав в воровскую зону, собрали сходку сами и умоляли воров о прощении. Но воры хорошо знали, что представляет собой согнутый. Обоих изрубили на куски.

Я вынужден еще раз обратиться к теме “согнутых”.

Бывало так, что согнутые воры, несмотря на капитуляцию, отказывались выполнять задания начальства и жили, как “мужики”. Бывало и так: когда суки отчаивались согнуть честного вора, они его насильовали и слух об этом распространяли по всем лагерям. Изнасилованный уже не мог быть вором-законником. Однако законники, зная обстоятельства дела, обычно не отталкивали несчастного, и он тоже оставался среди своих. А бывало и иное: по возвращении в бараки, изнасилованные воры ночами собирались группами и убивали своих мучителей, а затем шли к вахте с криком: “Эй, охрана, забирай своих опричников!”

Была и другая категория воров, более дерзких. Они заявляли начальству, что не хотят жить в воровской зоне, и попадали — группой в несколько человек — в зону сучью. Загодя подготавливали оружие и в одну ночь, по плану, вырезали сразу десятки сук. Таким образом зона из сучьей становилась воровской. Начальство, видя воровскую спайку, отступалось. Такими методами — при содействии “мужиков” — воры произвели перевороты в нескольких зонах...

Мне рассказали, что в Китойлаге начали строить гигантский подземный химкомбинат. Каторжники месяцами не выходили на поверхность. Их убивали пачками, произвол начальства был абсолютный. Но и заключенные охотились за своими палачами: многие охранники и офицеры нашли свою смерть, заживо похороненные в бетоне. Тогда Бурдаков срочно собрал всех начальников режимов и других высших офицеров, и они разработали план, выполнение которого было возложено на майора Кириленко.

Тот организовал группу провокаторов из среды самих заключенных и повел "национальную работу". Доведенные до полного физического и духовного истощения, люди легко поддавались на провокации. Национальная рознь распространилась по всему лагерю. Когда страсти накалились достаточно, был подан сигнал — и началась резня. Не было ни единого выстрела, шли в ход кирки, лопаты, ломы, железные прутья, русские и украинцы резали чеченцев, ингушей, башкир, азербайджанцев, узбеков, а те в свою очередь приканчивали русских и украинцев. В котловане погибло несколько тысяч человек. Еще вчера они противостояли начальству рука об руку, а сегодня — все вместе — полегли в далеком студенном краю, под злобный хохот обрадованных провокаторов...

Потянулись дни ожидания в Ванино. Мы встали на ноги, отъелись, отоспались среди своих, не опасаясь сук и начальства. В этой зоне сук даже не резали: разоблачив, их живьем топили в туалете. Почти каждый день надзиратели крючками выволакивали трупы из отхожих мест.

С одним из очередных этапов прибыл новый вор из Воркуты. В его рассказе проскользнула кличка "Ландыш". Услышав ее, я наострил уши:

— Ты говоришь — Ландыш?

— Ну да.

— Дай-ка я тебе кое-что расскажу...

С Ландышем я когда-то познакомился в спецлагере, и мне сразу почудилось, что он — скрытая сука: часто посещал "кума", из карцера выходил, не досидев срока, пользовался поблажками у начальства. Я рассказал об этом некоторым ворами, потом — по их настоянию — на сходке. Но прямых доказательств у меня тогда не было — и Ландыш мне отомстил: чуть не завалил меня и товарищей в котловане камнями.

Выслушав меня, вор из Воркуты затрясся от злости:

— Скажи, у него шрам на щеке, сам из Казани?

Все совпадало...

— Так это он! Сучий потрох, подлая тварь!

Оказалось, что Ландыш раньше сидел на Чукотке, в бухте Певек. Там он был одним из самых ярых сук. Ему поручали гнуть воров, и он проделывал это с огромным наслаждением. Если вор попадался особенно упрямый, Ландыш привязывал его к пню, специально вкопанному посреди зоны, надевал ему на голову железный цилиндр и разводил в нем огонь — прямо на голове не-

счастливого. А то просто сажал упряма на горящие угли. Лагерное начальство не пропускало эти его "спектакли".

Наш новый знакомый стянул с себя рубаху:

— Смотрите, что он со мной сделал. Я выжил, но многие...

Все его тело было буквально изжарено железными прутьями. С головы до ног на нем не было живого места. Я бы не выдержал такого...

Прошло еще несколько дней, и этап погнали на пароход. Знаменитый "Жан Жорес" — это название известно многим, побывавшим в северных лагерях. Мы оделись потеплее, на ноги обули кирзовые сапоги, в сапожные швы заложили финки.

На "Жореса" набили 1200 человек. Трехъярусные нары, посреди отсека — параша, рядом с ней, в точно такой же посудине, — питьевая вода.

Караван судов — "рабовозов" двинулся на север. Путь пробивал ледокол "Микоян", за ним шли "Баку", "Ленинград", "Жорес" и еще какие-то корабли. Член политбюро пробивал дорогу каторжникам.

В бухте Певек нас разгрузили. Многих, впрочем, не довели: они остались в океане либо вмерзли навечно в плавучие льдины. Кормили в дороге ужасно, и люди мерли как мухи. Каждый день с пароходов выбрасывали жуткие костяки, обтянутые кожей; у костяков были огромные головы с провалами глаз...

После разгрузки нас погнали по трассе в гору, загнали в огромные палатки, окруженные колючей проволокой. Палатки стояли на болоте: не то что бежать — идти было тяжело. Кормили здесь еще хуже, чем на корабле. Сырость добивала тех, кого пощадила дорога. Мерли прямо на нарах — трупы оставались коченеть, никому не было до них дела...

В этой адской трясине мы пробыли двадцать дней. Затем нас вновь вернули на пароход: оказалось, что высадка была временной, пока "Жорес" разгружал продукты для заключенных в еще более далеких лагерях.

Корабли снова набили битком. Только на второй день пути выдали паек, на всех сразу: несколько мешков хлеба и сахара. Хлеб был сверху совсем обгорелый, а внутри словно глина, — многие буквально выли от резей в животе... Мешок с сахаром воры оттащили в угол трюма. Кто-то предложил "мужикам" сахар не давать, оставить весь вора́м. Я был против, но меня и слушать

не захотели, начался большой шум. В конце концов, однако, решились и “мужикам” выдать — по полпорции.

“Мужики” все отлично видели и понимали, но жаловаться боялись. Услышь их воры, они бы убили их мгновенно: “мужикам” жаловаться на воров — не положено.

Пятьдесят два дня провели мы в Ледовитом океане, пока не прибыли к устью реки Яны. От берега отошли баржи и взяли курс на наши “рабовозы”. Нас, человек сорок, осужденных за убийство, посадили в отдельный отсек баржи и повезли вверх по Яне, к поселку Батагай, километрах в восьмидесяти севернее Верхоянска.

С баржи я спускался одним из последних. В воздухе свистели пулеметные очереди: охрана стреляла над головами, чтобы мы “прониклись”. Людей, уже вышедших на берег, ударами каблуков и прикладов заставляли лечь, лежащих продолжали избивать, текла кровь, слышались проклятия. Ложась, я незаметно вытащил нож и бросил его в воду. Всплеск привлек внимание охраны:

— Ты что выкинул, подлая тварь?

— Ничего...

— Ах, ничего?!

Страшный удар сзади по голове. Нос уткнулся в камень, хрустнула переносица. Теплая кровь хлынула в грязь. Второй удар погрузил меня в беспамятство.

К вечеру мы прибыли в лагерь Эгейхай.

Снова продержав нас около часа ничком на ледяной земле, начали выкликать по фамилиям, по одному выводить в изолятор, а оттуда — в кабинет к оперуполномоченному.

— Национальность? — первым делом спросил опер.

— Еврей... — ответил я после недолгой запинки.

— Еврей... — странным тоном повторил он. — Ну, что ж, еврейчик, ты у меня будешь сидеть в крытой тюрьме, пока не поспеешь! Говори правду, кто ты на самом деле ?!

— Так вы ж мое дело держите — там все указано. И национальность...

— Которая?

Только теперь я все понял. По приговорам я шел под разными фамилиями: таджик Якубов, грузин Уберия, еврей Абрамов...

Я молча посмотрел на него.

— Увести! — крикнул опер. — Пусть сидит, пока не признается.

Уже потом я узнал, что опер и сам был евреем. Его фамилия была Гольдман.

Восемнадцать человек загнали в построенную на скорую руку деревянную тюрьму. Это была последняя остановка для тех, кого решили "списать" в мертвецы.

Еды было мало, вода — всегда подслащенная (позже мы узнали, что в нее добавляли жидкость, которую выкачивали из урановых рудников). Через день мы отдавали наши пайки сидевшим с нами "сухарям". Так назывались заключенные, которые за плату брали на себя вину за убийство сук, совершенные ворами. Мы опасались, что, не выдержав голода, "сухари" могут "выпулиться" и рассказать, кто из воров и когда на самом деле убивал сук (срок-то ведь за это крутили им, "сухарям"). Без еды, без воздуха мы таяли на глазах...

В какой-то из дней (я потерял им счет) меня вызвали в управление. В кабинете за столом сидел видный мужчина в майорских погонах — начальник первого отдела управления лагерей Верхоянска Цветков. О нем рассказывали, что, если ему перечили в разговоре, он расстреливал прямо в кабинете.

— Что, Ази, все ходишь? — спросил Цветков.

— А почему мне не ходить?

— Ничего, скоро перестанешь. Если не откажешься от своего воровского "закона", я тебя превращу в шестнадцать килограмм. Понял? А откажешься — сразу переведу в общую зону.

— Спасибо, гражданин майор, — сказал я, — только я хочу уйти из лагеря тем же, кем в него пришел.

— Увести в тюрьму! — приказал Цветков. — Заморить этого зверя черномазого!

Когда в январе 1953 года меня вызвали снова, встать я уже не смог. Майор Цветков свое слово сдержал, — я превратился в "шестнадцать килограмм". Кое-как, держась за стены, я дошел до двери камеры, переступил через порог. На мое счастье, кабинет находился недалеко — доползти можно. Все так же держась за стеночку, я подошел к столу.

— Ну, кто ты по нации, вспомнил? — спросил Гольдман.

Вместо ответа я плюнул ему в лицо.

Меня поволокли в карцер.

Через десять дней карцера я посинел, как мертвец. Ноги не держали совсем — я ползал по полу, как червь.

На одиннадцатый день меня вернули в камеру, как мешок, швырнули на нары. Никто не поднялся встретить меня. Голод и холод сделали свое дело: люди в камере стали безразличны ко

всему, они целыми днями лежали, точно в загробной дреме, царила могильная тишина, лишь изредка прерываемая тихими стонами. Все ждали смерти. Не сегодня? Ну, что ж, значит — завтра. Через неделю? Хорошо...

5 марта 1953 года все было как обычно. Внезапно открылась дверь, и перед нами возник начтюрмы Гуссейнов.

— Граждане заключенные, — сказал он, — сегодня утром скончался великий вождь мирового пролетариата Иосиф Виссарионович Сталин...

Все перевернулось во мне. Я... расхохотался. Сначала едва слышно, потом все громче и громче.

Я смеялся не переставая три дня подряд.

Еще через две недели нам приказали собираться "с вещами". Нас отправляли в больницу.

... Осенью того же года меня выписали из барака политзаключенных, куда сунули после больницы, и перебросили к ворам-законникам. Компания там подобралась необыкновенная. У каждого руки были в крови многих людей. Даже молодые имели за душой не меньше пяти-шести убитых.

Со мною на нарах спал Коля Курнос. Его специальностью была охота за суками.

Эта охота была его единственной страстью в жизни. Он разыскивал сук, вынюхивал и высматривал, вел настоящую слежку за каждым подозреваемым, а настигнув — убивал огромной чуркой-дубиной.

Рассказывали, что однажды Коле сообщили, что в зоне появился очередной сука. Коля поймал его, занес над головой дубину. Этот человек был его старинный друг, лучший товарищ. Но для Курноса в слове "сука" был окончательный приговор, который обжалованию не подлежал: друг, брат — все едино.

Обреченный стал умолять:

— Коля, лучше зарежь...

Договорить он не успел: с одного удара голова его раскололась на части.

Как-то я, шутя, сказал Коле:

— Эй, Курнос, пойдем сук мочить!

Словно дикий зверь, он кубарем скатился с нар:

— Где? Пойдем! Скорее!!

А кто он был, Коля Курнос? Обыкновенный вор-карманник.

Но лагерь превратил его в настоящего людоеда. Это не преувеличение.

Повстречал я здесь и своего старинного приятеля, которого не видел одиннадцать лет. Сам он был московский, звали его Саша-Собака. Мы вспомнили былые времена, Кавказ. От него я узнал еще кое-что из истории сук и воров. Саша рассказывал, что в 1946 году, по специальному указанию Берии и его заместителя Круглова, была создана передвижная "бригада" сук. В нее входили крупные рецидивисты со всей России. В моей памяти сохранились имена и клички главарей: Пивоваров, Упоров, Чечен, Контнис, Солдат. В их распоряжение был выделен специальный "столыпин" с охраной. Бригада перемещалась из лагеря в лагерь — от Новосибирска до бухты Ванино, от Советской Гавани до Колымы. Их запускали в зоны, а там они, при поддержке охранников, убивали воров, гнули кого могли, грабили все и вся. Награбленное было как бы зарплата этим убийцам, задание которых состояло в том, чтобы сломать воровскую спайку. Они творили немыслимые ужасы. В "бригаде" было всего тридцать человек, но этого, к несчастью, оказалось достаточно, чтобы погибли многие сотни и тысячи законников. Медленно двигался этот состав, останавливаясь на каждой станции: ведь все это были лагеря, лагеря, лагеря... Так добрались они до Индигирки, и здесь начальство решило избавиться от своих ставленников: уж слишком много они знали, обнаглели и чинили такой произвол, о которых лишь Бог да Берия с Кругловым знали. На индигирском прииске всю "бригаду" истребили воры-законники — с разрешения начальства. Так управлялось оно с заключенными, заставляя их убивать друг друга...

Другие старые лагерники рассказывали, что километрах в шестидесяти от нашего Эгейхая стоит поселок Костры, где находятся открытые карьеры урановых рудников. Уран добывают заключенные. Оттуда не возвращается никто. Говорили, что однажды заключенные подняли восстание. Во главе его стояли целевшие революционеры-троцкисты. Восстание было подавлено. Из многих и многих тысяч в живых остались 235 человек. Их вывели за зону, поставили под холмы. Завели тракторные моторы, чтобы не было слышно выстрелов. Могилу они рыли себе сами, а уж заровняли ее — бульдозерами.

Зимой того года Яна покрылась толстым льдом. Бульдозерами (быть может, теми же...) по льду проложили трассу. Из нашего барака отобрали 14 человек и повезли в сторону Верхоянска.

В лагерь мы прибыли в полночь. Машины стали, и нас вогнали в зону. Вопреки обыкновению никто из местных нас не встречал. Лагерь словно вымер, ни одной живой души...

Посоветовавшись, мы решили все же подойти к баракам. У порога высились кучи мусора, какие-то огрызки бревен. Стены были, как решето, — никакой шпаклевки, сквозняк, адский холод. Но даже несмотря на это "проветривание", в бараке стояла такая вонь, что спирало дыхание. Большинство спало на голых досках, лишь у нескольких были одеяла. Видимо, люди здесь опустили, отчаялись. Мы разговорились с теми, кто еще не утратил окончательно человеческого облика. Нам объяснили ситуацию. Начальство в зону заходить боится. Кормежка ужасная. Света в бараках нет. Ни стола, ни стульев... Лагерь прокаженных!

Всю ночь мы не сомкнули глаз. Мы, четырнадцать, решили не отходить друг от друга. На работу мы не вышли: утром, после завтрака, несколько наших пошли на вахту и предупредили дежурного — если начальник не придет с нами говорить, на работу никто не выйдет.

Часов в одиннадцать раздался крик:

— Выходите, начальник пришел!

Маленький человечек с глазами расщипавшего шакала буквально дрожал всем своим хилым тельцем от ненависти: еще бы, нарушили его покой — и кто? Каторжники...

Не успели мы приблизиться к нему, как он завизжал:

— Собирайтесь, бляди, на работу, иначе всех расстреляем за бунт!!

— Гражданин начальник, — сказал я, — пугать нас не стоит, мы не из пугливых. Хоть одного убьете — разнесем всю зону, а вас всех разорвем на клочки. И не только вас, но и ваших жен и детей.

... На следующее утро снова раздался вопль с вахты:

— Всем на работу!

Мы в очередной раз ответили свое. Прошел час. Опять крик: "Начальник пришел, хочет с вами говорить..."

Начальник ненавистно смотрел на нас:

— Ну, говорите, чего хотите, идиоты?!

Мы не реагировали на его "вежливость".

— Хотим от вас: четыре кирки, восемь лопат, списанные бушлаты или телогрейки. Уберем зону, стены законопатим. На кухню

чтоб привезли два чана воды, полы помыть и нары. Кабель электрический дайте, свет в бараки провести.

Начальник смотрел на нас злыми и коварными глазами. Видно было, что в его гнусной башке происходила непрерывная работа.

— Подождите, через десять минут дам ответ.

Не прошло и четверти часа, как он появился снова:

— Абрамов, получи под расписку кирки и лопаты...

За двое суток мы произвели в лагере генеральную уборку. В этой горячке решили еще малость надавить на начальника — пусть выдаст постельные принадлежности.

— Что?! — завопил карлик. — Да они свои постели и одежду давно в карты проиграли!

— Даем слово, что больше на казенное играть никто не будет. А старое давайте спишем...

Начальник усмехнулся:

— Ты, Абрамов, как еврей на базаре, торгуешься: сперва тебе кирки с лопатами дай, потом одеяла и матрацы, а теперь — сотни тысяч спиши. Настоящий еврей...

Послали за главным бухгалтером. Тот явно был согласен: видно, под шумок хотел списать покраденное у казны.

Третий день "переворота". Меня, огромного Юрку Корыто и еще двоих вызвали к начальству.

— Вот вам списки людей по бригадам. Будете бригадирами. За все отвечаете собственной головой.

После завтрака на вахту собралась вся зона.

Моя бригада состояла из отчаянных головорезов. Норма была — 12 "кубиков" в день на человека. При морозе в сорок пять (а бывало — и шестьдесят) градусов — дело нелегкое. Кое-кто сачковал. Витя Фильчушкин из Мордовии все норовил сесть у костра и песни петь, лишь бы не работать.

— Ты почему не работаешь? — допытывался я у него.

— Знаешь, Ази, этот лес не мой отец сажал, да и я его сажать не хотел, а уж пилить — и подавно.

— Ну, ладно, сиди, — отвечал я. Вор-законник не имеет права заставлять других работать. — Только в бригаде не болтай.

Начальник отправил Витю в карцер. Я выпросил его под свое слово. История повторилась. Пять раз сажали, пять раз я его выпрашивал. И в конце концов совесть его доняла. Стал он рубить и пилить тот лес, который ни его отец, ни он сам не сажали. Да еще как стал?! Голый по пояс, на жутком морозе, он выдавал

по две-три нормы, да еще на других покрикивал: “Сидите, жопы греете, а работать за вас — дядя будет?!”

Я спросил у него:

— Витя, что тебя заставило работать?

— Ази, сказать честно? Стыдно мне стало перед тобой: ты пять раз к начальнику ходил, меня из карцера вытаскивал. Вот я и дал себе слово. Но учти, это стоило мне больших усилий...

... Мороз все-таки прихватил Фильчушкина. Температура подпрыгнула до тридцати девяти, он весь горел. Мы повели его к “лепиле” (лагерному врачу). Лепила осмотрел его и... смазал живот йодом.

Фильчушкин заорал:

— Я тебя, гад, запорю — у меня жар, а ты меня йодом?!

Он бросился в барак — и вылетел оттуда с ножом. Я кое-как остановил его, предупредил, чтобы за ним приглядели, а сам отправился к врачу.

Он встретил меня вежливо:

— Давайте познакомимся; — и протянул мне руку. — Меня зовут Мухаммед Мухаммедович...

— Доктор, я только что спас вас от смерти. Так что предлагаю вам больше наших товарищей так не лечить...

— Меня не так-то легко заколоть! — и доктор вынул из-под халата два огромных ножа.

— Эх, доктор, да вы бы и достать их не успели, как он бы в вас вонзил шесть штырей, которые вашему желудку не переварить.

Доктор помолчал — и вдруг обнял меня в знак благодарности.

Так началась наша дружба. Мухаммед Мухаммедович был родом из Уфы, из богатой башкирской семьи, еще до революции окончил Казанский университет. В одну из зимних ночей 1937 года чекисты выволокли его из постели. В тюрьме, без предъявления обвинений, он просидел около года. Потом его швырнули в “столыпин” и повезли на какую-то станцию в Сибири. Отсюда этапу предстояло перевалить Яблоневый хребет, зимой. 11 тысяч заключенных выгрузили из вагонов. Первое, что они увидели, — гора автомобильных покрышек, наваленная наподобие шахтного террикона. Каждому было приказано взять по покрышке — и катить ее через горы к Верхоянску...

Представьте себе 11 тысяч человек, 11 тысяч новеньких автпокрышек, ледяные камни, пятидесятиградусный мороз...

Падающих убивали на месте, трупы не убирали — вокруг была

пустыня. До Верхоянска дошли восемьсот человек. После шести месяцев из этих восьмисот в живых остались пятьдесят. Остальные погибли — кто от болезней и голода, кого расстреляли. Так закончилась эта эпопея...

Только через несколько лет наш доктор узнал, что он осужден на 10 лет — по делу об “отравлении врачами великого пролетарского писателя Максима Горького”. В 1947 году, когда десятка подошла к концу, его вызвали и дали расписаться — еще за пять. А в 1952 году — еще на пять.

— А я этого Горького, — заключил свой рассказ Мухаммед Мухаммедович, — никогда в глаза не видел...

В одну из встреч я спросил его об истории с Фильчушкиным. Он сказал, глядя на меня в упор:

— Я не перевариваю русских, а уж советских — подавно. При царе у нас была своя земля, огромные стада лошадей и баранов. Мы платили царю дань, но он в нашу жизнь не вмешивался. Пришли коммунисты и все отняли. Ты мне про врачебную клятву не говори! Разве коммунисты придерживаются своих клятв или законов?

... Собираться приказано было с вещами. Это было делом нетрудным, но куда девать библиотеку?

Да, как-то незаметно для себя я начал собирать... книги.

Любовь к чтению пробудил во мне один из моих приятелей — Толя из Ленинграда. Однажды он навестил меня в моей палатке и принес с собой какую-то маленькую книжицу:

— На, зверина, почитай.

Я, понятно, и не думал ничего читать. Сунул книгу под подушку и забыл о ней. Но однажды после работы прилег и чувствую — что-то твердое под головой. Вытащил, от нечего делать начал листать — и зачитался. Рассказывалось там о разведчиках в немецком тылу.

Теперь, приходя с работы, я немедленно брался за книгу. Наконец прочитал ее, пришел к Толе и сказал:

— Знаешь что, — дай еще что-нибудь... Только не толстое.

Толя засмеялся, но книгу дал. Прочел я и эту. А потом дал мне “Спартак”. “Спартак” меня поразил. Иногда мне казалось, что это я там и все, о чем читаю, со мной происходит.

Так я стал азартным книгоцелем. Доставал или покупал книги

через надзирателей, бухгалтера, на разгрузке судов — через матросов. Собралась вполне приличная библиотека.

Жаль мне было с нею расставаться, но и тащить с собой — опасно. Нас предупредили, что двенадцать километров придется пройти пешком, поэтому я взял с собой только самое необходимое. И своих предупредил, чтобы тяжести оставили, как я, — в такой дороге и лишняя иголка плечи ломит.

Морозы стояли в 50—60 градусов.

Закутавшись с головы до ног во все имевшиеся у нас теплые тряпки, мы двинулись в путь. Уже через пять километров товарищи мои стали оставлять на снегу взятые с собой вещи. Из Нижнеянска мы вышли утром группой в 60 человек, а в поселок Когусты пришли к восьми вечера — вчетвером, те, кто не взял с собой вещей. В лагерь мы пришли без конвоя: охрана отлично понимала, что в такой мороз им опасаться нечего. Да и куда было бежать? Конвой останавливался, разводил костер, грели консервы, пили спирт “из горла”.

56 оставшихся каторжников плелись как могли: кто остался без ушей, кто без носа, кто без пальцев на руках. Тех, кто превратился в кусок замороженного мяса, привезли позднее на санях. Отогреть их не удалось.

В зону нас не впустили, так как там находились суки. Поселили в палатках. Через два дня привезли наши вещи. Мы начали их разбирать — у каждого чего-нибудь недоставало. Поднялся шум: требовали украденное обратно. Подскочил начлага капитан Конев:

— Вы!.. Бога благодарите, что хоть это получили, подлецы! Сказал — и ушел. Делать было нечего: сила — у них.

Как-то раз наш товарищ, великолепный профессиональный карманник, вытащил у надзирателя из кармана письмо, полученное им из дома от матери. Вот что она писала:

“Ты, сынок, пишишь, что водишь на работу 1200 заключенных врагов народа. Кого милуешь, кого убиваешь, если не слушаются. Это у тебя хорошая работа, сынок, и оклад ты хороший получаешь, а вот брат твой Еремей день и ночь работает, гнет спину, а прожить никак не может. Если можешь, сынок, поговори с начальством, устрой Ерему на работу хотя на ползарплаты, он тебе всю жизнь благодарен будет. У нас, как ты знаешь, таких работ в деревне нет, а в колхозе жить стало невозможно, живем все впроголодь. Ерема твое письмо прочел и просит, чтобы ты похлопотал за него...”

... В Когустах мы задержались недолго. Сорок человек, и среди них меня, посадили в машины и увезли вверх по Яне, в поселок Куйга.

В этом лагере жили одни “фашисты”, как называли политзаключенных. Были там и власовцы, и бандеровцы, словом — вся мировая политика.

Через пару дней я познакомился с обстановкой в лагере и решил проверить, сколько накопилось у меня за все годы заключения лишних заработанных дней. Прикинув свои “зачеты”, я обнаружил, что в лагере торчать еще 16 месяцев. Но если повкалывать, то можно освободиться значительно раньше.

Надоело мне на каторге порядком...

Вечером я отправился к бригадиру “фашистов”. Он назвался Борисом, я представился ему под настоящей своей фамилией.

— Ты еврей? — удивился он.

— Да.

— Тогда вот что, — тотчас сказал он. — Выходи завтра утром в мастерские. Я из тебя токаря сделаю — всю жизнь меня благодарить будешь...

Утром в мастерской бригадир позвал к себе какого-то парня:

— Миша, вот тебе новенький, учи его с самых азов, понятно?

— Пошли! — коротко сказал Миша.

Он сразу же принялся объяснять мне устройство станка. Эти “азы” я усвоил быстро.

— Ну, а теперь за работу!

Возле станка валялось несколько прутиков длиной примерно в три метра. Их нужно было разрезать на куски по метру длиной. Мы приподняли довольно увесистый прут, вложили через шпindel в патрон, зажали. Подошел бригадир, велел работать на малых оборотах. Как только он удалился, Миша переключил станок на высокую скорость и велел мне держать рукой прут.

Станок завертелся. Страшный удар обрушился на мой палец.

— Выключи, сука! — в ярости закричал я.

Станок остановился. Мой палец висел на жилке.

В медпункте палец ампутировали, сделали мне перевязку. После мне сказали, что все это было подстроено: так всегда “шутили” с новичками. Но мне было не до смеха.

Миша спасся тем, что попросил перевести его в другой лагерь.

Проработав три месяца учеником, я перешел на самостоятель-

ную работу. Кукля зажила, но на холоде я не снимал рукавицы — рану ломило...

Все шло отлично: на работе ко мне относились хорошо, свобода моя приближалась.

Но среди моих товарищей-воров обо мне пошла дурная молва.

Однажды мой приятель Коля Табаков сказал мне:

— Ты, Ази, отличаешься, вот начальство с тобой и возится. Да и на кухне ты забираешь для себя что получше — консервы и прочий дефицит...

Я почувствовал, что кровь отлила от моего лица:

— Ты от себя говоришь или так другие думают?

— Вся зона так говорит, Ази.

— И что, есть какое-то решение?

— Пока нет, но дело может кончиться плохо...

В воскресенье я отправился на кухню. Раздатчик, увидев меня, поблбднел. Я приблизился к стоявшему на плите противню, поднял крышку. Там жарилось мясо, нарезанное крупными ломтями, картофель, всяческие аппетитные приправы.

— Какому начальнику ты все это готовишь? Скажешь, свинья вонючая? Или я прямо здесь тебе кишки выпущу!

Мы были на кухне вдвоем, деться ему было некуда.

— Знаешь, — тихо проговорил он, — это заказали Володя Питерский и Володя Мазай...

Воры-законники! Я не поверил своим ушам.

— Я не вру. Вот увидишь, минут через десять они придут...

— И часто они так?

— Да.

— Чего ж ты молчал до сих пор?

— Боялся...

Положение казалось безвыходным. Разоблачить этих двоих — значило навлечь беду на всех законников в зоне. Не разоблачить...

— Ты вот что: скажешь, что для себя готовил. И для подручных. А назовешь их имена — будешь жариться вместе с мясом в котле, понял?

— Ты хочешь, чтоб меня убили?

— Не бойся, я этого не допущу. Самое худшее — из поваров вылетишь...

Увы, быть может, кому-нибудь это покажется отвратительным, но я вынужден сказать: воры-законники завидовали тем своим товарищам, которые вот-вот должны были освободиться. И эта

зависть порой толкала остающихся на всяческие мерзкие выходки и провокации: он, видите ли, уходит, а мы остаемся! Питерский и Мазай сознательно втянули меня в хитро задуманную интригу. Если б я в порыве гнева убил повара — стал бы вечным лагерником. Разоблачил бы их — меня убили бы на сходке воров.

Теперь я постоянно ждал, что они выкинут еще какую-нибудь гадость. Я находился в непрерывном напряжении. И в конце концов пришел из-за этого к роковому срыву.

Многие мои друзья кололись морфием. Меня к этому времени уже расконвоировали, так что я имел возможность доставать наркотики. Как-то перед праздником мой друг Хасан попросил меня достать ему несколько кубиков. Я выполнил его просьбу, но предупредил, чтобы он ни в коем случае не давал ничего Мазаю, с которым Хасан был дружен. Вечером того же дня я заглянул к ним в барак:

— Ну, как, Хасан, обещание помнишь?

Хасан органически не мог врать:

— Ты меня, Ази, извини, но я не мог ему отказать...

Бешенство овладело мной — я бросился на Хасана, схватил за горло, стал душить:

— Подхалим, подонок!..

Меня оторвали от полумертвого Хасана, отшвырнули на койку.

Всю ночь я лежал и думал о происшедшем. За попытку убить "своего" законники имели полное право отрубить мне голову. Для этого Хасану достаточно созвать сходку. Что делать?

Наутро работа у меня не клеилась. Вяло копошась у станка, я продолжал искать выход. И наконец пришел к выводу, который показался мне единственно возможным.

Вытащив из заначки припасенные на черный день готовые детали, я сдал их и отпросился из мастерской. Было десять утра.

Объект, где работал Хасан, был далеко. Я шел быстро, нервы были натянуты. Шел, зная, что это, возможно, мои последние минуты. Что ж, решение принято...

Когда я показался в дверях столярки, Хасан и мои товарищи посмотрели в мою сторону, но никто не издал и звука.

— Послушайте меня, — сказал я без предисловий. — Я пришел к вам, как к своим товарищам.

Те, к кому я обращался, окружили меня. Я стоял около здоровенной колодины, рядом, на верстаке, лежал столярный топор.

— Так вот, ребята. Мой вчерашний поступок с Хасаном достоин смерти. Я не хочу ссудки, — с этими словами я резко повернулся — и схватил топор. Окружающие невольно расступились. — Хасан! — позвал я. — Возьми этот топор. Отсеки мне голову — и баста!

Я положил топор на колоду, а сам стал рядом.

Все молчали...

— Что ж ты медлишь? Делай свое дело! Я заслужил смерть! Хасан первым нарушил молчание. Он подошел — и обнял меня за плечи:

— Ази, ты правильно поступил, что не дал собрать ссудку. Там бы я тебе точно голову отрубил. А теперь я тебя прощаю. Мы — друзья.

Он поцеловал меня, и голос его прервался. Мы обнялись — и зарыдали...

И вот наступил долгожданный день 26 марта 1956 года. В лагере поселка Куйга Верхоянского района мне вручили конверт с бумагой на освобождение. С этим конвертом я должен был отправиться в Управление Северных лагерей.

В этот день товарищи мои не пошли на работу. Мне устроили проводы. После обеда я вышел из лагеря...

В поселке меня уже ждали жившие там на ссылке ребята. Они тоже собрались, чтобы отметить день моего выхода на свободу.

И пошла гулянка по-сибирски! До четырех утра не смолкали гитарные струны, все поднимали бокалы за мое счастье, целовали меня, желали всего, что только друг может пожелать другу. И уже под утро спели мне на прощание мой любимый романс:

Ветер в роще листвою шумит,  
Пожелтевшей листвою осеннею.  
Вспоминаю о том, как прошли  
Молодые года без цветения...  
Как в каленых железных тисках,  
Сердце ноет, болит и страдает.  
Только мысль о родимых краях  
Его биться сильнее заставляет.  
Пусть повсюду осенняя грусть,  
Звезды гаснут и в иinee стынют,  
Я домой непременно вернусь  
И родные края меня примут!  
Пусть идут проливные дожди —  
Грязь я смою, а грубость — запрячу,  
И прижмусь к материнской груди,  
И тихонько от счастья заплачу...

## ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ "ДВАДЦАТЬ ДВА" НА 1983 ГОД

Условия годичной подписки: в Израиле 1100 шекелей (можно в два чека) с разрывом в месяц), за рубежом 35 долларов (с доставкой авиапочтой в Европу — 45, в США — 51 доллар). Заказы и чеки направлять по адресу: "22", P.O.B 7045, Рамат-Ган, Израиль.

### КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Наш журнал существует исключительно на ваши деньги. Инфляция ставит его существование под угрозу. Мы просим всех, заинтересованных в сохранении журнала, присылать пожертвования в "Фонд друзей журнала "22" в Израиле и на Западе". Любые пожертвования будут приняты с благодарностью.

В январе-феврале журнал поддержали своими пожертвованиями следующие лица: М. Рубина (Ришон-ле-Цион, 300 ш.), Е. Гендельман (Кирон, 200 ш.), М. Штейнберг (Кармиэль, 100 ш.), О. Горенштейн (Холон, 500 ш.), А. Кербель (Хайфа, 400 ш.), Л. Цукерман (США, 20 д.), С. Фрумкин (США, 25 д.), К. Юровская (США, 20 д.) и д-р Е. Аксельрод (Мюнхен, 25 д.). Редколлегия благодарит этих искренних друзей журнала.

---

В моей статье "О бывшем Юрьевецком протопопе Аввакуме Петровиче", опубликованной в 27-й книжке журнала "22", допущены грубые опечатки, искажающие смысл текста:

1) напечатано: "... коммунизм унижает его твердостью..." (стр. 173) следует читать: "... коммунизм унижает его **гордостью**..."

2) напечатано: "Никон не советовал воевать с поляками..." (стр. 180) следует читать: "Никон **же** советовал воевать с поляками..."

3) напечатано: "В ночь на 16 декабря 1654 г...." (стр. 181) следует читать: "В ночь на 16 декабря 1664 г...."

4) напечатано: "Хитро открытые цитаты..." (стр. 183) следует читать: "**Хитро скрытые цитаты**..."

Приношу свои извинения читателям.

*Юрий Милославский*

